

**Леонид  
Видгоф**

Книга-экскурсия

# «Но люблю мою курву-Москву»

## Осип Мандельштам: поэт и город



- Андрей Белый ▪ Анна Ахматова ▪ Лев Бруки ▪ Михаил Булгаков ▪ Эмма Герштейн ▪ Лев Гумилев ▪
- Сергей Клычков ▪ Борис Кузин ▪ Семен Липкин ▪ Владимир Нарбут ▪ Борис Пастернак ▪ Мария Петровых ▪
- Александр Осмеркин ▪ Еликонида Попова (Яхонтова) ▪ Арсений Тарковский ▪ Александр Тышлер ▪
- Марина Цветаева ▪ Виктор Шкловский ▪ Мария Юдина ▪ Владимир Яхонтов ▪



# Леонид Видгоф

## «Но люблю мою курву-Москву» Осип Мандельштам: поэт и город

*Посвящаю*

*Екатерине Сергеевне Петровых  
(Чердынцевой),*

*Нине Константиновне Бруни,*

*Людмиле Константиновне  
Корниловой (Наппельбаум),*

*Александру Александровичу  
Мандельштаму*

*и всем, кто рассказал о том, что  
знал и помнил.*

*Родненькая, я хожу по улицам  
московским и вспоминаю всю  
нашу милую трудную родную  
жизнь.*

*Язык булыжника мне голубя  
понятней...*

# Вступление

Эта книга о поэте и городе – о поэте-горожанине. Недавно закончился XX век, наше и его столетие. Время оглянуться назад.

XX век все еще уходит от нас; подобно поезду, набирающему скорость, он скользит вдоль перрона, утягиваясь в дождливую темноту вечности, и мы поднимаем руки в прощальном жесте, и печально улыбаемся, и вглядываемся в лица за окнами состава. XX век уходит по календарному расписанию, но он еще нас не покинул.

Это был век Города. Город, его дух, его культура, его власть определяли все. Урбанизм – вероятно, именно из этого слова, как ни из какого другого, можно вывести важнейшие особенности века, который еще так непривычно называть прошлым, закончившимся: логически вытянуть их одну за другой, подобно тому как фокусник вытаскивает нескончаемую ленту из своего цилиндра. В этом слове – «урбанизм», – как в сложенном веере, заключено готовое к развертыванию многослойное понятие «XX век».

И если завершившееся столетие прошло под знаком урбанизма, то, думается, одним из самых – если не самым – родственных веку поэтов был в нашей стране Осип Эмильевич Мандельштам. Он с полным правом заявил:

*Пора вам знать: я тоже  
современник...*

*И он, в сущности, не шутил,  
говоря:*

*Я человек эпохи Москвошвея...*

*«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето»*

Мандельштам совершенно органичен в своем урбанизме: он о нем и не думает, город – естественная среда обитания для него, и ему нет нужды демонстрировать свою приверженность городской вселенной. Как точно заметил в беседе с автором этих строк литературовед В. Г. Перельмутер, литература XIX века воспринимала горожанина по большей части как жертву неестественной, калечащей городской жизни; футуристы же, напротив, славили технизацию и урбанистический грядущий век. Мандельштам мало верил в социально-технические утопии и уж во всяком случае не видел места для себя в этом электрифицированном Эдеме:

В стеклянные дворцы на курьих ножках

Я даже тенью легкой не войду.

*«Сегодня можно снять декалькомани...»*

При этом поэт отнюдь не ощущает себя жертвой города-Молоха; улицы, площади, трамваи – здесь он чувствует себя как рыба в воде. Истый горожанин, Мандельштам не выпячивает, но сознает это свое качество и ценит его в любимых поэтах, от которых ведет свое родство: Данте, Вийоне, Батюшкове («Ты, горожанин и друг горожан», – обращается к нему Мандельштам). Восхищение, раздражение, тревогу, тоску, иронию, негодование, страх мы обнаруживаем в «московских» стихах и прозе Мандельштама; не найти в них только ровного, холодного равнодушия, безразличия или ленивого, безличного «интереса». Мандельштам великолепно чувствовал Москву, воспринимал ее как огромное живое существо со своим характером и статью. Он прижился в этом городе и

в определенной мере сделал его своим. Неслучайно в «Стансах» 1935 года он назвал Москву «сестрой»:

И ты, Москва, сестра моя, легка,  
Когда встречаешь в самолете брата  
До первого трамвайного звонка:  
Нежнее моря, путаней салата  
Из дерева, стекла и молока...

Автор книги выбрал для названия цитату из Мандельштама. Да, для поэта Москва была страшной и чуждой ему «курвой»; да, в другие минуты он любовался этим городом, тосковал по нему в воронежской ссылке, где нашел для Москвы ласковое «сестра моя». Попробуем, насколько это удастся, пойти именно таким путем. Попробуем увидеть Мандельштама в Москве, Москву его глазами, а его самого – понять через Москву. Постараемся быть точными – насколько сможем. Говоря о городе, Мандельштам любит и ценит точность (хотя иногда – причем по большей части сознательно – ее нарушает). Адреса, телефоны, номера трамваев – разве это противоречит поэзии? Вовсе нет.

Петербург! я еще не хочу умирать:  
У тебя телефонов моих номера.  
Петербург! У меня еще есть адреса [6] ,  
По которым найду мертвецов голоса.

*«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»*

А вот слова из московского очерка «Холодное лето»: «Тот не любит города, кто не ценит его рублища, его скромных и жалких адресов...» Исторический и городской фон [7] **1915 год 1916 год** В сравнении с данными на

начало войны к осени 1916 года цены на продукты первой необходимости выросли в среднем в три раза.

**1916: первая встреча с  
городом. Марина  
Цветаева. Кремль**



Итак, начнем с въезда в город.

*На розвальнях, уложенных  
соломой,*

*Едва прикрытые рогожей  
роковой,*

*От Воробьевых гор до церковки  
знакомой*

*Мы ехали огромною Москвой.*

*А в Угличе играют дети в бабки*

*И пахнет хлеб, оставленный в  
печи.*

*По улицам меня везут без  
шапки,*

*И теплятся в часовне три свечи.*

*Не три свечи горели, а три  
встречи —*

*Одну из них сам Бог  
благословил,*

*Четвертой не бывать, а Рим  
далече —*

*И никогда он Рима не любил.*

*Ныряли сани в черные ухабы,*

*И возвращался с гульбища  
народ.*

*Худые мужики и злые бабы*

*Переминались у ворот.*

*Сырая даль от птичьих стай  
чернела,*

*И связанные руки затекли;*

*Царевича везут, немеет  
страшно тело —  
И рыжую солому подожгли.*

*1916*

Так в ранних, первых московских стихах обозначено знакомство поэта с Москвой, «погружение» его в густую жизнь Москвы. И НИКОГДА он РИМа не любИл.

НырЯли сАни в черные ухАбы, (произносим: «черныИ»)

И возвращАлся с гульБИща народ.

Худые мужИки И злые БАБЫ (сплошные «ы» — «и» в стихе!)

ПереминаАлись у ворот. (вариант: «ЛуЩИли семя у ворот»)

СырАя дАль от пТИчьИх стАй чернела... (произносим: «чИрнела»)

И наконец, последний стих:

И рыжую солому подожгли.

Как это объяснить? Думается, что, во-первых, звук «ы» мог быть вызван восприятием Москвы как города «скифского», «варварского», противоположного по духу европейской культуре, восходящей в своих корнях к античному Средиземноморью. В повести «Египетская марка» (1928) автор говорит о певшей в пятидесятых годах XIX века на петербургской сцене итальянской певице Анджолине Бозио: «И наконец, Россия... Защекочут ей маленькие уши: “Крещатик”, “щастие” и “щавель”. Будет ей рот раздирать до ушей небывалый, невозможный звук “ы”». Московский булыжник

В третьем четверостишии ситуация продолжает осложняться: горящие свечи уподоблены трем встречам, причем «четвертой не бывать». Неизбежно приходит на память «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать», да о Риме тут же сказано четко и недвусмысленно. Если ранее герой говорил от первого лица, то в этом, центральном месте стихотворения (и по расположению, и по значению) мы смотрим на него со стороны – «никогда он Рима не любил». Автор так о себе, о неизменной не любви к Риму, очевидно, сказать не может: совсем недавно Мандельштам прошел через увлечение католичеством. (Предположение, что «он» в данном случае обозначает Бога, не кажется нам убедительным: все в этих стихах «привязано» к единому центру – герою, чьими глазами показано происходящее; но в заявлении о не любви к Риму автор стихотворения на мгновение отделяет себя от своего персонажа.) Речь идет о серьезном, обязывающем выборе, о приятии Москвы, признании ее значения, причем со всеми связанными с понятием «Москва» славянофильскими и мистическими коннотациями. Чрезвычайно важно при этом иметь в виду, что это приятие Москвы, представление о ней сопровождаются мотивами смерти и страха. Эта связь у Мандельштама закрепится. Свечи горят по покойнику, «народ», «худые мужики и злые бабы», не обнаруживают никакого сочувствия к тем, кого везут по «черным ухабам» в розвальнях, «уложенных соломой». Последний кадр: горящая, подожженная солома. Натянутая ткань напряжения прорывается – разгорается пламя. Что происходит? Враждебная толпа народа набрасывается на седоков и поджигает солому? Стихи вроде бы не оставляют нам никакой другой возможности истолкования, и все же такое самоуправство толпы по отношению к царевичу, которого,

очевидно, пленила и которым распоряжается некая власть, представляется чрезмерным буйством. (О том, что везут именно царевича, мы узнаем только в предпоследнем стихе.) Известна финальная черновая строка стихотворения: «Сжигает масленица корабли» [8] . (В строке нашло отражение, думается, известное выражение «сжечь корабли»: отречение от Рима ради Москвы бесповоротно.) Конец Масленицы был в 1916 году 20 февраля; «черные ухабы» начинавшего оседать снега вошли в стихи. Черновая строка объясняет происходящее, однако Мандельштам предпочел ей завершающий образ, удерживающий читателя в напряжении сомнения и не дающий однозначного решения. Точно так же только в конце стихотворения мы узнаем о том, кого везут, – везут связанного царевича, но это ставит перед нами новый вопрос: кто конкретно имеется в виду? Осип Мандельштам. 1914

Оставим пока этот вопрос без ответа, как оставляет нас без ответа поэт. Остановимся на том, что царевич принимает Москву вопреки ее неблагообразию, грязи, страху и самым мрачным, судя по всему, личным перспективам – принимает роль жертвы. Эта составляющая в отношениях Мандельштама с Москвой сохранится навсегда, то уходя в тень, на периферию образа, то снова выходя на передний план. Через много лет, в 1933 году, в стихотворении «Квартира тиха, как бумага...» Мандельштам напишет: «И вместо ключа Ипокрены / Давнишнего страха струя / Ворвется в халтурные стены / Московского злого жилья». Ледоход на Москве-реке

Мандельштам приезжал в Москву к Марине Цветаевой, и «На розвальнях...» посвящено ей. Познакомились они в 1915 году (встретились у М. Волошина в Коктебеле), а затем виделись в начале 1916 года в Петрограде.

«Когда 20 января Цветаева вернулась домой, Мандельштам поехал за ней и пробыл в Москве около двух недель» (В.А. Швейцер) [12] . (Ранее 18 января выехать из Петрограда было невозможно: пассажирские поезда между новой и старой столицей не ходили в течение недели.) Начавшийся роман был недолгим (с января по июнь), но бурным. Мандельштам приезжал в Москву, уезжал обратно в Северную столицу, возвращался. Позднее Цветаева писала, имея в виду мандельштамовские любовные стихи той поры: «...весь тот период... мой, чудесные дни с февраля по июнь 1916 года, дни, когда я Мандельштаму дарила Москву. Не так много мне в жизни писали хороших стихов, а главное: не так часто поэт вдохновляется поэтом...» [13] Цветаева знакомила Мандельштама с Москвой и олицетворяла для него Москву. Вспомним, въезд в Москву в выше цитированных стихах – это спуск в низину, низину сырую, с тающими черными сугробами, влажной весенней далью... Это погружение в пучину, приобщение к стихии, стихии воды и цветаевской страсти, противостоящей и угрожающей строгой выверенности камня, архитектуры. «Камень» – чрезвычайно важное понятие для Мандельштама, и не только в то время, о котором идет речь. Строгость и выверенность архитектуры в качестве образца, установка на классичность, благородную сдержанность выражения (при возможном драматизме содержания) – важные черты поэтического мира раннего Мандельштама. В Москве поэт увидел и почувствовал нечто совершенно иное. Низина – пучина – стихия – Марина... Имя Цветаевой проглядывает в звучании стихотворения «На розвальнях...», оно слышится именно в той строке, где заявлено отречение героя от Рима: «И никогда он Рима не любил». «Рима не» – «Марине»! Не утверждаем, что в данном случае имя вплетено в ткань

стихотворения сознательно, но это не меняет дела. О чем можно говорить с полной уверенностью, так это о том, что в поэзии Мандельштама звук играет важнейшую роль, и о том, что он вводил имена в скрытом виде в свои стихи (в этом нам еще предстоит убедиться). Так или иначе, и само морское, водное имя Цветаевой, и знакомство с ней именно на «большой воде», и ее стихийный характер – не сомневаемся, что всё это окрасило первоначальное восприятие Москвы Осипом Мандельштамом. В мартовских стихах 1916 года Цветаева с присущей ей широтой дарит Мандельштаму свой город:

Из рук моих – нерукотворный град  
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.  
По церковке – все сорок сороков  
И реющих над ними голубков;  
И Спасские – с цветами – ворота,  
Где шапка православного снята;  
Часовню звездную – приют от зол —  
Где вытертый – от поцелуев – пол;  
Пятисоборный несравненный круг  
Прими, мой древний, вдохновенный друг.  
К Нечаянная Радости в саду  
Я гостя чужеземного сведу.  
Червонные возблещут купола,  
Бессонные взгремят колокола,  
И на тебя с багряных облаков  
Уронит Богородица покров,

И встанешь ты, исполнен дивных сил...

– Ты не расскажешь, что ты меня любил.

*31 марта 1916 [14]*

«Часовня звездная» здесь – Иверская часовня у Красной площади, «пятисоборный несравненный круг» – конечно, Соборная площадь Кремля; «Нечаянная Радость» – речь также о Кремле, о церкви, стоявшей в кремлевском саду, у одной из башен. О ней – чуть ниже. Иверская часовня. Открытка

Каким виделся Марине Цветаевой приезжавший к ней петербуржец? Об этом говорят в первую очередь ее стихи. «Странный... прекрасный брат», «древний, вдохновенный друг», «чужеземный» гость с высоко поднятой головой, «царевич». «Брат» по русской поэзии, еврей-«чужеземец» (даром что вырос в Петербурге), за которым уходящие в глубь веков поколения кочевников, пастухов древней Иудеи, купцов, книжников и раввинов – он был для Цветаевой притягателен. Брат-поэт с душой странника: фамилия Мандельштам значит «миндальный ствол» – можно отождествить его с посохом; неоседлой цветаевской натуре подходил такой товарищ. Его притягивало к ней русское, московское; ее влекло к нему еврейское, библейское (и петербургское, конечно). Внешность Мандельштама в описании Цветаевой – вполне экзотическая: «У Мандельштама глаза всегда опущены: робость? величие? тяжесть век? веков? Глаза опущены, а голова отброшена. Учítывая длину шеи – головная посадка верблюда. <...> Распахнутые глаза у Мандельштама – звезды, с завитками ресниц, доходящими до бровей» [15] .

*Ты запрокидываешь голову —*

*Затем, что ты гордец и враль.*

*Какого спутника веселого*

*Привел мне нынешний*

*февраль!*

*Позвякивая карбованцами*

*И медленно пуская дым,*

*Торжественными*

*чужестранцами*

*Проходим городом родным.*

*Чьи руки бережные нежили*

*Твои ресницы, красота,*

*И по каким терновалежиям*

*Лавровая твоя верста... —*

*Не спрашиваю. Дух мой*

*алчущий*

*Переборол уже мечту.*

*В тебе божественного мальчика*

*—*

*Десятилетнего я чту.*

*Помедлим у реки, полощущей*

*Цветные бусы фонарей.*

*Я доведу тебя до площади,*

*Видавшей отроков-царей...*

*Мальчишескую боль*

*высвистывай*

*И сердце зажимай в горсти...*

*— Мой хладнокровный, мой*

*неистовый*

*18 февраля 1916 [16]*

Рядом с возлюбленным-«чужеземцем» и сама героиня этих стихов чувствует себя иностранкой. «Позвякивая карбованцами...» – звон монет в этой строке нельзя не услышать, а «карбованцами» звучит как «пиастрами» или «рупиями». («Карбованец» в словаре Даля – «серебряный рубль, целковый: звонкая монета».) Так они и бродили по городу, который Цветаева знала отлично, «каждый камень» (по свидетельству Э.Л. Миндлина). В это же день Цветаева пишет другое стихотворение, исполненное удивленной нежности к «певцу захожему»:

Откуда такая нежность?  
Не первые эти кудри  
Разглаживаю и губы  
Знавала темней твоих.  
Всходили и гасли звезды —  
Откуда такая нежность? —  
Всходили и гасли очи  
У самых моих очей.  
Еще не такие гимны  
Я слушала ночью темной,  
Венчаемая – о нежность! —  
На самой груди певца.  
Откуда такая нежность,  
И что с нею делать, отрок  
Лукавый, певец захожий,

С ресницами – нет длинней?

*18 февраля 1916 [17]*

И на этого «вдохновенного друга» Цветаева смотрела в определенном смысле снизу вверх. Она безошибочно услышала мощь и торжественность в его поэтическом голосе, почувствовала, что это дыхание не короткое, силы хватит на многие годы. Незадолго до встречи с Цветаевой в Северной столице было отпечатано второе издание его сборника стихов «Камень». Книга вышла в декабре 1915 года (хотя на титуле указан 1916-й); в январе Мандельштам делает дарственную надпись на экземпляре, который дарит Цветаевой: «Марине Цветаевой – камень-памятка. Осип Мандельштам. Петербург, 10 января 1916». Стихов такого уровня, такой глубины и красоты, какие она могла обнаружить в подаренной книге, сама Цветаева ко времени ее встречи с Мандельштамом еще не писала. Для впечатления, которое произвели на нее стихи Мандельштама, Цветаева нашла очень весомые слова: «молодой Державин». Так она обращается к Мандельштаму в стихотворении, написанном в связи с его первым отъездом из Москвы, первым их московским расставанием. (Потом, как уже было сказано, он будет не раз возвращаться и снова уезжать к себе, в Питер.) Цветаева благословляет Мандельштама на долгую и славную дорогу:

Никто ничего не отнял!

Мне сладостно, что мы врозь.

Целую Вас – через сотни

Разъединяющих верст.

Я знаю, наш дар – неравен.

Мой голос впервые – тих.  
Что Вам, молодой Державин,  
Мой невоспитанный стих!  
На страшный полет крещу Вас:  
Лети, молодой орел!  
Ты солнце стерпел, не щурясь, —  
Юный ли взгляд мой тяжел?  
Нежней и бесповоротней  
Никто не глядел Вам вслед...  
Целую Вас – через сотни  
Разъединяющих лет.

*12 февраля 1916 [18]*

В цветаевских стихах 1916 года, имеющих отношение к Мандельштаму, нарисован портрет поэта в момент поэтического забытья в романтическом и потенциально опасном соседстве с орлами:

Приключилась с ним странная хворь,  
И сладчайшая на него нашла оторопь.  
Все стоит и смотрит ввысь,  
И не видит ни звезд, ни зорь  
Зорким оком своим – отрок.  
А задремлет – к нему орлы  
Шумнокрылые слетаются с клетотом  
И ведут о нем дивный спор.  
И один – властелин скалы —

Клювом кудри ему треплет.  
Но, дремучие очи сомкнув,  
Но уста полураскрыв – спит себе.  
И не слышит ночных гостей,  
И не видит, как зоркий клюв  
Златоокая вострит птица.

*20 марта 1916 [19]*

И еще одна важная черта образа – «мальчик», «отрок», «лебеденок» (несмотря на то что ему двадцать пять, а ей двадцать три). Это объяснимо: во-первых, любовный опыт Цветаевой был к 1916 году более богатым, чем у Мандельштама, и в их любви она была, думается, «старшей». С 1912 года она была замужем за С.Я. Эфроном, в этом же году родила дочь. Любовные отношения Цветаевой с поэтессой С.Я. Парнок продолжались с 1914 по 1916 год; прекратились они как раз в начале романа с Мандельштамом, в феврале 1916-го. Любовь к Мандельштаму не мешала кратковременному увлечению поэтом Тихоном Чурилиным, «вороненком» в ее стихах. «Был ли между ними роман в настоящем смысле слова? Да, и для Мандельштама эти отношения значили больше, чем для Цветаевой, – пишет автор книги “Быт и бытие Марины Цветаевой” В.А. Швейцер. – “Божественный мальчик” и “прекрасный брат” в Мандельштаме были для нее важнее возлюбленного, хотя встреча с ним поставила окончательную точку в разрыве с Парнок. Надежда Мандельштам писала, что именно Цветаева научила Мандельштама любить» [20]. Кроме того, «материнское» чувство Цветаевой в ее отношении к возлюбленному объясняется и тем, что она остро чувствовала хрупкость, уязвимость этого «захожего певца» с высоко поднятой головой. От-

сюда – боязнь за него, предчувствие высокого, но уж никак не беспечального его будущего. Цветаева «прочитала» ждавшую Мандельштама трагическую судьбу.

Гибель от женщины. Вóт зна́к

На ладони твоей, юноша.

Долу глаза! Молись! Берегись! Враг

Бдит в полночи.

Не спасет ни песен

Небесный дар, ни надменной вырез губ.

Тем ты и люб,

Что небесен.

Ах, запрокинута твоя голова,

Полузакрты глаза – что? – знача.

Ах, запрокинется твоя голова —

Иначе.

Голыми руками возьмут – ретив! упрямя! —

Криком твоим всю ночь будет край звонок!

Растреплют крылья твои по всем четверем ветрам,

Серафим! – Орленок!

*17 марта 1916 [21]*

Предсказание «гибели от женщины» кажется ошибочным, но наше знание о том, что привело Мандельштама к смерти, о причинах и поводах двух его арестов не настолько велико, чтобы мы могли трактовать поэтическое пророчество Цветаевой как несостоятельное. Еще одна важная особенность московского романа Мандельштама. Цветаева была увлечена яркими личностями Ма-

рины Мнишек и Лжедмитрия, которых она воспеваает в эти же дни 1916 года в стихотворении «Димитрий! Марина! В мире...». В стихах, посвященных этой паре, проводится мысль о том, что Самозванец был, вероятно, не лже-, а подлинным царевичем. Уместно в связи с этим принять во внимание, что у Мандельштама в стихотворении «На розвальнях...» в потоке сознания его героя вспыхивает воспоминание об Угличе – таким образом, у читателя появляется возможность предположить, что речь идет о подлинном, не погибшем сыне Ивана Грозного. Стихотворение Цветаевой написано в конце марта, и мандельштамовское «На розвальнях...» – вероятно, тоже мартовские стихи (два известных автографа помечены «март 1916») [22]. К Марине Мнишек Цветаева обращается так: «Славное твое имя / Славно ношу»:

Димитрий! Марина! В мире

Согласнее нету ваших

Единой волною вскинутых,

Единой волною смытых

Судеб! Имен!

.....

Марина! Димитрий! С миром,

Мятежники, спите, милые.

Над нежной гробницей ангельской

За вас в соборе Архангельском

Большая свеча горит.

*«Димитрий! Марина! В мире...», 29–30 марта 1916*

[23]

В романе с Цветаевой Мандельштаму выпадала, таким образом, как бы роль Димитрия. Но на эту авантюрно-героическую роль он не годился. Образы «певца захожего», «странного брата», «отрока»-царевича, «мальчика» были более органичными. А.И. Цветаева, вспоминая Мандельштама той поры, говорила, что он был похож на принца в изгнании и одновременно на птенца, выпавшего из гнезда. Думается, что в стихотворении имеется и некая подспудная, непроявленная связь с библейским Иосифом, тезкой автора стихов. Мандельштам получил при рождении имя Иосиф; Ося – домашнее имя, Осипом Мандельштамом он навсегда останется в литературе. Примем во внимание, что Мандельштам уже обращался к образу Иосифа, говоря о себе:

Отравлен хлеб, и воздух выпит.

Как трудно раны врачевать!

Иосиф, проданный в Египет,

Не мог сильнее тосковать!

*«Отравлен хлеб, и воздух выпит...», 1913*

Подобно Иосифу, пленным, со связанными руками въезжает герой стихотворения «На розвальнях...» в новый Египет, претендующий на звание Рима, – в Москву, город, в котором он хочет и нудит себя увидеть новый Рим и которого боится, город, с которым Мандельштам со временем сроднится и срастется накрепко и который он хоть и не безоглядно, но полюбит. Розвальни движутся по Москве «от Воробьевых гор до церковки знакомой» – какая церковь имеется в виду, сказать трудно. Может быть, Иверская часовня, упомянутая в цветаевских стихах («приют от зол»). Во всяком случае, это проезд к московскому центру. (О том, что Мандельштам был не-

обыкновенно чуток к речевому звучанию вообще, к звучанию имен в частности, что он многократно обыгрывал звучание и собственного имени, и других имен в своих стихах, – об этом говорить почти не надо, это неоднократно показано многочисленными исследователями. Мандельштам-акмеист называет свой сборник «Камень», используя и преобразуя и звук, и смысл слова «акмэ» (острая оконечность камня, вершина, расцвет); узнав о том, что Ахматова была у Булгаковых (уже в 1930-е годы), Мандельштам повторяет: «Как оторвать Ахматову от МХАТа!», – как бы пробуя на вкус созвучие «Ахматова – МХАТ»; свое собственное имя он соотносит не только с библейским Иосифом, но также с осью и осами – таких примеров множество.)

В разноголосице девического хора  
Все церкви нежные поют на голос свой,  
И в дугах каменных Успенского собора  
Мне брови чудятся, высокие, дугой.  
И с укрепленного архангелами вала  
Я город озираю на чудной высоте.  
В стенах акрополя печаль меня снедала  
По русском имени и русской красоте.  
Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,  
Где реют голуби в горячей синеве,  
Что православные крюки поет черница:  
Успенье нежное – Флоренция в Москве.  
И пятиглавые московские соборы  
С их итальянской и русской душой

Напоминают мне – явление Авроры,  
Но с русским именем и в шубке меховой.

*1916*

Все в этом кремлевском пейзаже говорит о любимой женщине. Просвечивающий сквозь церковную архитектуру женский облик («НЕЖные», «НЕЖное»: ЖЕНское) дополняется просвечивающим именем: «Флоренция», то есть «цветущая», прямо соотносится с фамилией «Цветаева» (отмечено В.М. Борисовым). (Но и фамилия строителя Успенского собора, Аристотеля Фиораванти, также происходит от итальянского слова «цветок» – «фиоре»!) Таким образом, цветение поименовано трижды (причем два имени – в подтексте): Цветаева – Флоренция – Фиораванти. Введение имен в ткань стиха, еще раз скажем (но в сокровенном, не торчащем виде), являлось сознательной установкой для Мандельштама, об этом свидетельствует его собственное «признание»:

Трижды блажен, кто введет в песнь имя;  
Украшенная названьем песнь  
Дольше живет среди других...

*«Нашедший подкову», 1923*

Величавая строка «Напоминают мне – явление Авроры...» представляется отголоском пушкинского: «Напоминают мне оне / Другую жизнь и берег дальный» («Не пой, красавица, при мне...»). Ведь и московские соборы напоминают «другую жизнь и берег дальный». Поэт поднимается на Боровицкий холм, смотрит на город «с укрепленного архангелами вала» (конечно, имеются в виду архангелы Гавриил и Михаил: Архангельский и Благовещенский соборы, фланкирующие вход на Соборную

площадь, стоят неподалеку от крутого ската холма, высоко поднимающегося в этом месте над кремлевской стеной и Москвой-рекой). «Печаль меня снедала...» Печаль оттого, что он не русский, не причастен полностью, «кровно» русской судьбе? Видимо, так. Однако, не будучи «родным» сыном, он как свою судьбу принимает Москву и Россию с ее катастрофическим, кровавым и великим путем. Ведь он уже пророчески писал:

Россия, ты, на камне и крови,  
Участвовать в твоей железной каре  
Хоть тяжестью меня благослови!

*«Заснула чернь! Зияет площадь аркой...», 1913*

Еще недавно, в статье «Петр Чаадаев» (1914), Мандельштам так интерпретировал взгляды своего героя: «...понимание Чаадаевым истории исключает возможность всякого вступления на исторический путь. В духе этого понимания, на историческом пути можно находиться только ранее всякого начала. История – это лестница Иакова, по которой ангелы сходят с неба на землю. Священной должна она называться на основании преемственности духа благодати, который в ней живет. Поэтому Чаадаев и словом не обмолвился о “Москве – третьем Риме”. В этой идее он мог увидеть только чахлую выдумку киевских монахов». Народам уготованы – изначально – разные судьбы, и Москва не может быть Римом, ей это не суждено. «Лучший цветок» русской земли – по той же статье Мандельштама – нравственная свобода, свобода свободного выбора своей жизненной судьбы. С европейской четкостью, выработанностью социальных и культурных форм России не тягаться; единственное преимущество русского культурного человека, менее прикрепленного к определенной традиции, менее, так сказать, осед-

лого в культурном смысле, – это необходимость и свобода самостроительства, включая и свободу отречения от культурного и религиозного наследия (или по крайней мере критического пересмотра его): русского наследия, как понимает Мандельштам чаадаевский путь, или иудейского – в случае самого поэта. Русский человек, по Мандельштаму, – человек без гнезда, скиталец, и в этом его преимущество. И еще одно мандельштамовское стихотворение о Кремле той поры:

О, этот воздух, смутой пьяный  
На черной площади Кремля!  
Качают шаткий мир смутьяны,  
Тревожно пахнут тополя.  
Соборов восковые лики,  
Колоколов дремучий лес,  
Как бы разбойник безъязыкий  
В стропилах каменных исчез.  
А в запечатанных соборах,  
Где и прохладно, и темно,  
Как в нежных глиняных амфорах,  
Играет русское вино.  
Успенский, дивно округленный,  
Весь удивленье райских дуг,  
И Благовещенский, зеленый  
И, мнится, заворкует вдруг.  
Архангельский и Воскресенья  
Просвечивают, как ладонь, —

Повсюду скрытое горенье,  
В кувшинах спрятанный огонь...

*1916*

Кремлевские соборы, созданные итальянскими и русскими зодчими, – амфоры, в которых хранится вино иудейско-христианской культуры, ставшее русским вином, голубятни, где воркует дух Божий? – так это видится поэту. В этом же мандельштамовском стихотворении вызывает интерес еще одна деталь: упоминание о немоте главной московской колокольни – Ивана Великого:

Как бы разбойник безъязыкий

В стропилах каменных исчез.

В черновых вариантах к этому стихотворению: «Все шире праздник безъязыкий / Иль вор на колокольню влез / Ему сродни разбоя крики / И перекладин черный лес»; «Соборов восковые лики / Спят; и разбойничать привык / Без голоса Иван Великий / Как виселица прям и дик...»; «Без голоса Иван Великий – / Колоколов дремучий лес / Спит, и разбойник безъязыкий...». Благовещенская церковь в Кремле («Нечаянная Радость»). Открытка

(Вышесказанное не означает, конечно, что образ молчащей колокольни, которую Мандельштам настойчиво сравнивает с разбойником, не имеет отношения к истории углического колокола. Толпа в Угличе, оповещенная колокольным звоном о смерти царевича, расправилась с предполагаемыми убийцами. Набатному колоколу, известившему горожан о гибели мальчика, отрубили одно ухо, вырвали язык и сослали. Поступили, как с разбойником, но смуту это не предотвратило, и в лице Дмитрия Самозванца – «вора», как его называли, – смута явилась в Кремль мстить Годунову. Безусловно, молчавший Иван

Великий мог вызвать в памяти Мандельштама эту историю.) В мандельштамовском стихотворении Благовещенский собор «зеленый», и однозначного объяснения этой цветовой характеристике у нас нет. Возможно, в апрельском стихотворении отразились впечатления от Вербного воскресенья (в 1916 году Вербное воскресенье было 3 апреля; въезжавшего в Иерусалим Иисуса, по преданию, народ встречал с пальмовыми ветвями в руках; верба в России заменяет пальмовую ветвь и символизирует, наряду с прочим, пробуждение природы, приход весны); может быть, надо принять во внимание, что зеленый – цвет возрождающейся жизни – символический цвет Святого Духа; добавим, что, согласно западной живописной традиции, сообщающий Марии благую весть архангел Гавриил изображается с цветущей ветвью: или «райской», или оливковой, или ветвью с цветущими лилиями. 3 апреля – Вербное воскресенье, 10 апреля – первый день Пасхи, весна, ледоход... Цветаева заканчивает свое стихотворение «Канун Благовещения...» (24–25 марта 1916) так:

Я же весело  
Как волны валкие  
Народ расталкиваю.  
Бегу к Москвѣ-реке  
Смотреть, как лед идет [32] .

Не воплощены ли все эти детали и обстоятельства в эпитете «зеленый»? Вернемся к цветаевскому стихотворению «Из рук моих нерукотворный град...»:

К Нечаянныя Радости в саду  
Я гостя чужеземного сведу.

Под этим именем была широко известна Благовещенская церковь в Нижнем саду Кремля (не путать с Благовещенским собором!). Церковь была пристроена к Благовещенской башне. В ней находилась очень почитаемая икона Нечаянная Радость. По иконе и сама церковь часто именовалась так. В начале века была отпечатана открытка с ее изображением и надписью: «Церковь Нечаянная Радость в Кремле». В книге И.К. Кондратьева «Московский Кремль: святыни и достопримечательности» (М., 1910) сообщается об этой иконе: «В древнее время к башне, возле которой находится церковь, примыкал житный царский двор, где ссыпался в житницы хлеб для царского двора. В той же башне содержали и преступников. По преданию, в башне был заключен один воевода в царствование Иоанна Грозного и проводил все время заключения в молитве. В одну ночь явилась к нему Пресвятая Богородица и приказала просить царя о свободе, после чего он и решился ходатайствовать перед царем об освобождении и был прощен. Когда посланные за ним пришли, то на стене башни увидели икону, и сказали об этом царю, и тогда при образе была устроена деревянная часовня. <...> В 1730 году императрица Анна Иоанновна приказала устроить при часовне каменную церковь во имя Благовещения так, чтобы стена башни, на которой явилась икона, находилась внутри церкви» [33]. Он чувствовал хрупкость, непрочность этого эллинско-италийского наследия на северных равнинах Евразии. «Аврора в шубке меховой» – это «золотой покров», «покров, накинутый над бездной», говоря словами любимого Мандельштамом Тютчева. Думается, что с мыслями такого свойства связан устойчивый мотив кремлевских стихов Мандельштама, как тень появляющийся и следующий за первым («соборы – амфоры священного вина»), – мотив

смуты, разбоя, разбойной власти и мятежа. «О, этот воздух, смутой пьяный...» – в первой же строке выше приведенного стихотворения звучит эта нота; Иван Великий вызывает устойчивое сравнение с разбойником.

И еще один подход к теме в варианте этого же стихотворения:

*О государстве слишком раннем*

*Еще печалится земля...*

Государство «слишком раннее», непрочное, бунтовщики-смутьяны «качают шаткий мир» («мир» здесь в значении «община», «общество» – «мір»).

Всем знакома великолепная панорама Кремля. Она растиражирована во множестве картин, гравюр, рекламных и прочих фотографий; по этой причине вид Кремля покрыт в нашем восприятии неким открыточным глянцем. Приехавший из Петербурга Мандельштам увидел в этих стройных островерхих башнях, в прямом и безыскусном, при всей его архитектурной значимости, Иване Великом ту средневековую крутую нравом и грозную Москву, которая, «слезам не веря», тяжелой десницей усмиряла княжества и племена, собирая их под власть самодержавного государя («царя» – наследника, как мыслилось, римских цезарей, монарха Третьего Рима). Суровая, часто несправедливая власть и, как ее дополнение, смута...

Очевидно, этот мотив кремлевских стихов Мандельштама связан с темами пушкинского «Бориса Годунова». Слово «смута» на это указывает прямо. Вероятно, основа для восприятия Кремля была заложена у Мандельштама отроческим чтением «Бориса Годунова», и на эту основу уже позднее накладывались и знакомство с реальным Кремлем, и отношения с Цветаевой (по схеме «Марина –

Димитрий»). Еще в 1906 году ученик Тенишевского училища в Петербурге Осип Мандельштам писал в сочинении «Преступление и наказание в "Борисе Годунове"»: «Крик отвратительной, слепой ненависти, который вырывается у мужика на амвоне: "вязать Борисова щенка!" – заставляет нас окончательно разувериться в какой бы то ни было нравственной миссии народа» [34] .

Позднее Мандельштам перефразирует этот крик из пушкинской пьесы, который стал для него символом слепой народной ярости, в стихотворении ноября 1917 года, посвященном Керенскому:

*Как будто слышу я в  
октябрьский тусклый день:  
Вязать его, щенка Петрова!*

*«Когда октябрьский нам готовил временщик...»*

Вполне понятно, почему встреча с реальным Кремлем вызвала у Мандельштама именно «годуновские» ассоциации. Могло ли этого не быть? Представим себе: Мандельштам и Цветаева входят в Кремль. Надо всем в Кремле вознесена глава Ивана Великого с трехъярусной надписью под куполом, сообщающей о том, что верхняя часть колокольни возведена по повелению царя Бориса Годунова и его сына Федора Борисовича. Имена царя-душегуба, царя-убийцы (по версии пушкинского «Бориса Годунова») и убиенного царевича Федора (еще одного царевича-жертвы) парят над Кремлем. Надпись на Иване Великом напоминает о разбойной власти и разбойном народе, и это объясняет настойчивое отождествление колокольни в мандельштамовских стихах с разбойником. А. Зельманова. Портрет Осипа Мандельштама. 1913(?)



М.И. Цветаева

Среди «эротических» стихов Мандельштама упомянуто Каблуковым в дневнике и стихотворение «Не веря воскресенья чуду...», адресованное Цветаевой.

Не веря воскресенья чуду,  
На кладбище гуляли мы.  
– Ты знаешь, мне земля повсюду  
Напоминает те холмы

.....

.....

Где обрывается Россия  
Над морем черным и глухим.

От монастырских косогоров  
Широкий убегают луг.  
Мне от владимирских просторов  
Так не хотелось на юг,  
Но в этой темной, деревянной  
И юродивой слободе  
С такой монашкой туманной  
Остаться – значит, быть беде.  
Целую локоть загорелый  
И лба кусочек восковой,  
Я знаю: он остался белый  
Под смуглой прядью золотой.  
Целую кисть, где от браслета  
Еще белеет полоса.  
Тавриды пламенное лето  
Творит такие чудеса.  
Как скоро ты смуглянкой стала  
И к Спасу бедному пришла,  
Не отрываясь целовала,  
А гордою в Москве была.  
Нам остается только имя:  
Чудесный звук, на долгий срок.  
Прими ж ладонями моими  
Пересыпаемый песок.

1916

В стихотворении нашел отражение финал романа – встреча в Александрове (Владимирской губернии); там Мандельштам гостил у Цветаевой в конце мая – начале июня. Цветаева только что побывала в Коктебеле; Мандельштам отправился туда после встречи с ней (он приехал в Коктебель 7 июня 1916 года). Стихотворение написано уже в Коктебеле. Две не вошедшие в стихи строки, пятая и шестая, – возможно, сочиненные по просьбе Мандельштама кем-то другим, может быть, М. Лозинским: «Я через овиди степные / Тянулся в каменистый Крым». «Овидь», согласно словарю Даля, – горизонт, кругозор. «Не отрываясь целовала» – как пояснила Цветаева, речь идет о распятии [37]. «Нам остается только имя...» Остались не только имена, в одном из которых слышится море и цветение, а в другом – странник Иосиф с миндальным посохом; остались не засыпанные песком времени стихи. Борисоглебский переулок. Дом, где жила М. Цветаева

Где останавливался, приезжая в Москву в 1916 году, Осип Мандельштам, остается неизвестным – может быть, в гостинице «Селект» на Большой Лубянке. Так предполагал булгаковед Б.С. Мягков, однако подтверждений этому не обнаружено. (Подробнее об этих и других упоминаемых адресах – в прилагаемом «Списке адресов и других памятных мест мандельштамовской Москвы».) В 1918 году поэт вновь оказывается в Москве – об этом времени его жизни речь пойдет в основном ниже. Здесь же нельзя не сказать о стихотворении, которое возникло под впечатлением от новой встречи с Москвой и Кремлем – «Все чуждо нам в столице непотребной...».

Все чуждо нам в столице непотребной —

Ее сухая черствая земля,  
И буйный торг на Сухаревке хлебной,  
И страшный вид разбойного Кремля.  
Она, дремучая, всем миром правит.  
Мильонами скрипучих арб она  
Качнулась в путь – и полвселенной давит  
Ее базаров бабья ширина.  
Ее церковей благоуханных соты —  
Как дикий мед, заброшенный в леса,  
И птичьих стай густые перелеты  
Угрюмые волнуют небеса.  
Она в торговле хитрая лисица,  
А перед князем – жалкая раба.  
Удельной речки мутная водица  
Течет, как встарь, в сухие желоба.

*1918 [44]*

Мы узнаем здесь устойчивые детали, восходящие к стихам 1916 года, включая зловеще парящих в небе бесчисленных птиц, – сравним со стихотворением «На розвальнях, уложенных соломой...»: «Сырая даль от птичьих стай чернела...». Образы стихов 1916 года сплавляются воедино в лаконичном стихе:

И страшный вид разбойного Кремля.

Очарование, которым в 1916 году наделила Москву любимая женщина, в 1918-м отсутствовало, а новая жесткая власть заставила вспомнить о средневековых самодержцах. Представление о базарах, торговле – с одной

стороны, и буйстве и разбое – с другой не может не сопровождаться мыслью о людской разноголосой толпе. Важную роль в звуковом выражении этого образа играют в мандельштамовских стихах звуки «у» и «а». Приведем текст московского стихотворения 1918 года, выделив на этот раз определенные звуковые точки в его фонетической ткани.

Все чУждо [46] нАм в столице непотребной:

Ее сУхАя черствая земля,

И бУйный торг на СУхаревке хлебной,

И стрАшный вид разбойного Кремля.

Она, дремУчая, всем миром прАвит.

Мильонами скрипУчих Арб она

КачнУлась в пУть – и полвселенной дАвит

Ее базАров бАбья ширина.

Ее церковей благоУхАнных соты —

КАк дикий мед, заброшенный в лесА,

И птичьих стАй гУстые перелеты

УгрЮмые волнУют небесА.

Она в торговле – хитрая лисица,

А перед князем – жалкая раба.

Удельной речки мУтная водица

Течет, как встАрь, в сУхие желоба [47] .

(Схожую роль звук «у» исполняет в первом четверостишии пушкинского стихотворения «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»: «Брожу ли я вдоль улиц шумных, / Вхожу ль во многолюдный храм, / Сижу ль меж юношей

безумных, / Я предаюсь моим мечтам...». «Гудение» людского говора сходит на нет, когда Пушкин переходит от характеристики окружения к душевному состоянию лирического героя.) Это прежде всего автоцитирование. Несомненна связь очерка о крестьянской конференции со стихотворением о Париже «Язык булыжника мне голубя понятней...» (опубликовано в журнале «Огонек» в апреле того же, 1923 года):

Язык булыжника мне голубя понятней,  
Здесь камни – голуби, дома – как голубятни,  
И светлым ручейком течет рассказ подков  
По звучным мостовым прабабки городов.  
Здесь толпы детские – событий попрошайки,  
Парижских воробьев испуганные стайки —  
Клевали наскоро крупу свинцовых крох,  
Фригийской бабушкой рассыпанный горох...  
И в воздухе плывет забытая коринка,  
И в памяти живет плетеная корзинка,  
И тесные дома – зубов молочных ряд  
На деснах старческих – как близнецы стоят.  
Здесь клички месяцам давали, как котят,  
А молоко и кровь давали нежным львьятам,  
А подрастут они – то разве года два  
Держалась на плечах большая голова!  
Большеголовые – там руки поднимали  
И клятвой на песке как яблоком играли.

Мне трудно говорить: не видел ничего,  
Но все-таки скажу: я помню одного;  
Он лапу поднимал, как огненную розу,  
И как ребенок, всем показывал занозу.  
Его не слушали: смеялись кучера,  
И грызла яблоки, с шарманкой, детвора,  
Афиши клеили, и ставили капканы,  
И пели песенки, и жарили каштаны,  
И светлой улицей, как просекой прямой,  
Летели лошади из зелени густой!

Париж, веселый, легкомысленный, загорающийся от газетных строк (ключущий «крупку свинцовых крох»), эгоистичный, обаятельный, прекрасный... «Председатель Вуазей», который «словно с галереи Парижской коммуны сошел», напоминает автору очерка, таким образом, не только деятелей Коммуны, но видится в перспективе всей богатой революционной традиции Франции.

Продолжим наше знакомство с работой крестьянского съезда. «На трибуне Наркомзем Теодорович. Он говорит с жаром молодого ученого перед мировым университетом. Чудесная, ясная лекция по крестьянскому вопросу в России, от Болотникова и Пугачева до наших дней, выпуклая, насыщенная исторической правдой» («Международная крестьянская конференция»). Теодорович И.А. (1875–1937) – большевик, партийный деятель. В октябре 1917 года – нарком по делам продовольствия. В 1920–1928 годах – член коллегии Наркомзема, заместитель наркома земледелия (наркомом земледелия был в период проведения крестьянской конференции А.П.

Смирнов). В 1928–1930 годах И. Теодорович – генеральный секретарь Международного крестьянского совета (Крестинтерн). В 1930-е годы – редактор журнала «Ка-торга и ссылка». В 1937-м репрессирован и расстрелян.

На крестьянской конференции Теодорович выступил 12 октября с докладом «Результаты аграрной революции в России». Сравним впечатление Мандельштама от речи Теодоровича с отчетом в «Правде» (№ 232 от 13 октября 1923 года, с. 3): «В обстоятельном красочном докладе оратор развертывает картину крестьянских движений в России, начиная с пугачевского, и иллюстрируя свои положения целым рядом данных, разъясняет механизм эксплуатации крестьянства самодержавием» [50] .

«Известия», № 234 (1971) от 13 октября 1923 года, с. 3, о докладе Теодоровича: «Оратор дает крайне содержательный исторический очерк положения русского крестьянства».

Есть все основания полагать, что Мандельштам был на заседании Международной крестьянской конференции 12 октября 1923 года: именно в этот день выступил со своей речью И.А. Теодорович и проходили также упоминаемые Мандельштамом прения по сделанному накануне докладу Е. Варги.

Сделаем еще один скачок во времени. С конца 1928 года Мандельштам живет по большей части в Москве. Город, в который его герой-царевич некогда въезжал со страхом и тоской, не перестал пугать и грозить, но все же стал ближе и яснее. Поэт «притерпелся» к Москве, она уже была ему привычна. И появляются стихи, в которых Москва предстает не экзотическим для петербуржца древним церковным градом и не чуждой «столицей непотребной», а как город, свой для поэта и ему знакомый,

город, о котором он, глядя на Кремль из-за Москвы-реки, и говорит «по-свойски». Мандельштам не отказывается от образов ранних стихов, но звучит в его голосе и несомненная теплота:

*Сегодня можно снять  
декалькомани,  
Мизинец окунув в Москву-реку,  
С разбойника-Кремля. Какая  
прелесть  
Фисташковые эти голубятни:  
Хоть проса им насыпать, хоть  
овса...  
А в недорослях кто? Иван  
Великий —  
Великовозрастная колокольня.  
Стоит себе еще болван  
болваном  
Который век. Его бы за  
границу,  
Чтоб доучился. Да куда там!  
стыдно!  
Река Москва в четырехтрубном  
дыме,  
И перед нами весь раскрытый  
город —  
Купальщички-заводы и сады  
Замоскворецкие. Не так ли,  
Откинув палисандровую  
крышку  
Огромного концертного рояля,*

*Мы проникаем в звучное нутро?  
Белогвардейцы, вы его видали?  
Рояль Москвы слышали?  
Гули-гули!..  
Мне кажется, как всякое  
другое,  
Ты, время, незаконно! Как  
мальчишка  
За взрослыми в морщинистую  
воду,  
Я, кажется, в грядущее вхожу,  
И, кажется, его я не увижу...  
Уж я не выйду в ногу с  
молодежью  
На разлинованные стадионы,  
Разбуженный повесткой  
мотоцикла,  
Я на рассвете не вскочу с  
постели,  
В стеклянные дворцы на курьих  
ножках  
Я даже тенью легкой не войду...  
Мне с каждым днем дышать все  
тяжелее,  
А между тем нельзя  
повременить...  
И рождены для наслажденья  
бегом  
Лишь сердце человека и коня.*

*И Фауста бес, сухой и  
моложавый,  
Вновь старику кидается в ребро  
И подбивает взять почасно  
ялик,  
Или махнуть на Воробьевы  
горы,  
Иль на трамвае охлестнуть  
Москву.  
Ей некогда – она сегодня в  
няньках,  
Все мечется – на сорок тысяч  
люлек  
Она одна – и пряжа на руках...  
Какое лето! Молодых рабочих  
Татарские сверкающие спины  
С девической полоской на  
хребтах,  
Таинственные узкие лопатки  
И детские ключицы...  
Здравствуй, здравствуй,  
Могучий некрещеный  
позвоночник,  
С которым проживем не век, не  
два!..*

*25 июня 1931*

Соборы-«голубятни» вызывают восхищенное восклицание; «недоросль» Иван Великий, простоватый в сравнении с готикой, и «татарские» спины «молодых рабочих» свидетельствуют о молодости страны, ее по-

тенциале, о «языческой» наивности и силе, о возможностях развития. Антибелогвардейский выпад сочетается при этом с иронией по отношению к «хрустальным дворцам» будущего. «Дворцы» отсылают, несомненно, к снам Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать?», но также указывают на возводившийся на Мясницкой дом Ле Корбюзье (дом Центросоюза строился в 1929–1936 годах, первоначально его опоры были открытыми, дом стоял на сваях, «на курьих ножках»). Не случайно в этих стихах появляется вид на Кремль из Замоскворечья: Мандельштамы недолгое время жили в период «созревания» стихотворения за Москвой-рекой, в квартире юриста Цезаря Рысса (см. «Список адресов...»), в двух шагах от Водоотводного канала и неподалеку от дома, где проживал друг поэта Борис Кузин – о нем будет сказано ниже. Дышалось все тяжелее, сгущалась ночь 1930-х годов. Уже в конце 1920-х Мандельштаму померещился Вий у стен Кремля: «Вий читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки. Дайте Цека...» («Четвертая проза»). Разбойничья власть не ушла из Кремля, она сидела там, как встарь. По свидетельству Надежды Мандельштам, в раннем варианте знаменитого стихотворения о Сталине это было прямо заявлено:

Только слышно кремлевского горца —

Душегубца и мужикоборца [51] .

Душегубец – так и называют разбойников, бандитов. И если потом были минуты слабости, сомнения, отчаяния, если потом делались попытки заставить себя поверить в правду неправды и оправдать то, что невозможно оправдать, это ничего не меняет: дело было сделано – слово сказано. И в Воронеже, в ссылке, Мандельштам

заявлял о своей неотъемлемой свободе – и эти слова нацелены на Москву:

Лишив меня морей, разбега и разлета  
И дав стопе упор насильственной земли,  
Чего добились вы? Блестящего расчета —  
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

*1935*

Обращаясь в стихах 1931 года к русскому языку, а следовательно, и к стране, Мандельштам написал:

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и  
дыма,

За смолу кругового терпенья, за совестный деготь  
труда...

Действительно, его речь стала неотъемлемой и драгоценной частью российской словесности. Навсегда останется в русской поэзии и мандельштамовский Кремль. Исторический и городской фон 1917 год 1918 год 1919 год **1 января** . В Москве начали продавать новый «кофе» – смесь цикория и свеклы.

# «В разрушенной Москве». 1918–1919



В 1917 году произошло то, что предчувствовали все, кто могли что-либо чувствовать, чего ждали, боялись,

что призывали и проклинали с почти религиозным восторгом и страхом, – в феврале в России разразилась революция. Она расколола людей на сказавших ей «да» и сказавших «нет» – несмотря на сложность и мучительность выбора, приходилось выбирать. Для Мандельштама, с его разночинской закваской, с его почти физическим ощущением косности и пошлости эпохи до 1905 года, с юношеским увлечением системностью и логической стройностью марксизма – «Разве Каутский – Тютчев? Разве дано ему вызывать космические ощущения (“и паутинки тонкий волос дрожит на праздной борозде”)? А представьте, что для известного возраста и мгновенья Каутский (я называю его, конечно, к примеру; не он, так Маркс, Плеханов с гораздо большим правом) – тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущения, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной» («Шум времени»), – для Мандельштама, который видел эсеровских боевиков, готовых умереть за то, что им представлялось Правдой, и хотел быть с ними (в «бомбисты» он не попал – а вполне могло быть такое), – для Мандельштама невозможно было предать Революцию, хотя к 1917 году он был уже далеко не тем юношей, который зачитывался когда-то Эрфуртской программой социал-демократии и брошюрами эсеров.

Октябрьский переворот и последующие события вызвали у поэта сначала определенно негативную реакцию.

*Когда октябрьский нам готовил  
временщик*

*Ярмо насилия и злобы,*

*И ощетинился  
убийца-броневик,  
И пулеметчик низколобый —  
Керенского распять потребовал  
солдат,  
И злая чернь рукоплескала, —  
Нам сердце на штыки позволил  
взять Пилат,  
Чтоб сердце биться перестало!*

*«Когда октябрьский нам готовил временщик...»,  
1917*

И в стихотворении, обращенном к Анне Ахматовой:

И в декабре семнадцатого года

Все потеряли мы, любя:

Один ограблен волею народа,

Другой ограбил сам себя...

*«Кассандре», 1917*

Позднее, отвечая на вопрос следователя после первого ареста, в мае 1934 года («Как складывались и как развивались ваши политические воззрения?»), Мандельштам вспоминал о своем тогдашнем отношении к происходившему: «Октябрьский переворот воспринимаю резко отрицательно. На советское правительство смотрю как на правительство захватчиков, и это находит свое выражение в моем опубликованном в “Воле народа” стихотворении “Керенский”. В этом стихотворении обнаруживается рецидив эсеровщины: я идеализирую Керенского, называя его птенцом Петра, а Ленина называю временщиком» [52]. Характерная оговорка Мандельштама: в процитированном выше стихотворении «Когда октябрьский нам го-

товил временщик...» упомянут не птенец, а щенок: «Вязать его, щенка Петрова!». Стихотворная строка указывает на «Бориса Годунова» («вязать Борисова щенка»), но содержит и отсылку к известной пушкинской формуле из «Полтавы»: «сии птенцы гнезда Петрова». Керенский – из петровского «гнезда»: сторонник европейски-ориентированной России. Осип Мандельштам. 1919

Народ, по мнению поэта, ограбил сам себя. Он отверг непонятные ему западные идеалы гражданской свободы, законности, парламентарной демократии и пошел своим катастрофическим путем. Тонкая пленка европейской культуры была прорвана таившейся под ней и разбушевавшейся народной стихией. Наступил хаос, выход из которого – это было очевидно – мог быть только в диктатуре, левой или правой. Реальная власть была у большевиков, и народ очень быстро почувствовал привычную и понятную тяжесть их власти. Что должен был делать поэт, который не хотел погибнуть от голода и для которого, при всей его внешней богемности, слова «гражданский долг» и «воля народа» никак не были пустым звуком? Речь шла о великой мечте нового мира, о более близкой и насущной задаче цивилизовать стихию, о культурной работе. «Примерно через месяц я делаю резкий поворот к советским делам и людям, – продолжает в том же ответе следователю Мандельштам, – что находит выражение в моем включении в работу Наркомпро-са по созданию новой школы» [53] . Позднее в статье об Александре Блоке – «А. Блок (7 августа 1921 г. – 7 августа 1922 г.)», 1922 – Мандельштам писал: «Душевный строй поэта располагает к катастрофе. Культ же и культура предполагают скрытый и защищенный источник энергии, равномерное и целесообразное движение: “лю-

бовь, которая движет солнцем и остальными светилами”. Поэтическая культура возникает из стремления предотвратить катастрофу, поставить ее в зависимость от центрального солнца всей системы, будь то любовь, о которой сказал Дант, или музыка, к которой в конце концов пришел Блок». Гостиница «Метрополь». 1917

Итак, Мандельштам живет в еще отмеченном следами от пуль и снарядов «Метрополе» (в 1917 году красногвардейцы выбивали отсюда юнкеров) – Втором доме Советов, как его тогда называли. Позднее он вспомнит об этом времени, соединив прошлые впечатления с настоящими, так: «Когда из пыльного урочища “Метрополя” – мировой гостиницы, где под стеклянным шатром я блуждал в коридорах улиц внутреннего города, изредка останавливаясь перед зеркальной засадой или отдыхая на спокойной лужайке с плетеной бамбуковой мебелью, я выхожу на площадь, еще слепой, глотая солнечный свет, мне ударяет в глаза величавая явь Революции и большая ария для сильного голоса покрывает гудки автомобильных сирен» («Холодное лето»). Живя в «Метрополе», Мандельштам мог видеть, как ночью, после разыгранного представления, выходят зрители из театра и идут по темной, несытой, бестранспортной (только редкие извозчики) Москве, мимо лавок Охотного ряда – и Москва, погруженная в безмолвную ночь, предстает в его стихах пустынно-торжественной и архаически далекой, подобной отрытым из лавы Везувия языческим городам Древнего Рима:

Когда в теплой ночи замирает  
Лихорадочный Форум Москвы  
И театров широкие зевы

Возвращают толпу площадям —  
Протекает по улицам пышным  
Оживленье ночных похорон:  
Льются мрачно-веселые толпы  
Из каких-то божественных недр.  
Это солнце ночное хоронит  
Возбужденная играми чернь,  
Возвращаясь с полночного пира  
Под глухие удары копыт.  
И как новый встает Геркуланум  
Спящий город в сиянье луны:  
И убогого рынка лачуги,  
И могучий дорический ствол.

*1918* «Когда в теплой ночи замирает...» Автограф

«Дорический ствол» – так откликнулась у поэта колоннада Большого театра, «убогого рынка лачуги» – рынок в Охотном ряду. Стихи звучат торжественно-размеренно, протяжные «о» («Это сОлнце нОчное хорОнит...») падают подобно ударам погребального колокола и вызывают в сознании звуковой образ приглушенных ночью и в то же время отчетливо слышных шагов и копыт – Мандельштам ведет речь о похоронах прежней культуры, о конце эпохи. В пришедшем новом, однако, проглядывает дохристианская древность: революция поднимала древние пласты времени. В Москве 1918 года можно неожиданно увидеть как бы возвращение языческой античности: «И как новый встает Геркуланум...» (курсив мой. – Л. В.). В статье «Скрябин и христианство» (вероятно, конец

1916 – начало 1917 года) Мандельштам использует аналогичный образ похорон солнца: «Я вспомнил картину пушкинских похорон, чтобы вызвать в вашей памяти образ ночного Солнца, образ поздней греческой трагедии, созданный Еврипидом, видение несчастной Федры». В стихотворении 1915 года «Как этих покрывал и этого убора...» у Мандельштама появился образ черного солнца Федры, героини Еврипида и Расина, – солнца «страсти дикой»: «Любовью черною я солнцу запятнала...» «Черное солнце» в этом стихотворении – пылающее солнце греха, вины и позора. Россия, на долю которой неслучайно выпали испытания и страдания Первой мировой войны и революции, видится Мандельштамом в образе Федры – в той же статье «Скрябин и христианство» это заявлено прямо: «Федра – Россия». Но в сознании и переживании греха есть залог спасения. Образ ночного солнца, контрастный и противоположный по значению «черному солнцу», олицетворяющий непреходящие и способные к возрождению ценности культуры и жизни, «золотой запас» ее, находится в тесной связи с «черным солнцем»: черное солнце вины способно превратиться, преобразоваться в ночное солнце искупления и надежды. В свою очередь, эти образы отсылают в творчестве Мандельштама этого периода к образу Анны Ахматовой. В стихотворении «Ахматова» (1914) Мандельштам увидел в ее облике нечто общее с Федрой:

Вполоборота – о печаль! —

На равнодушных поглядела.

Спадая с плеч, окаменела

Ложноклассическая шаль.

Зловещий голос – горький хмель —

Души расковыивает недра:

Так – негодующая Федра —

Стояла некогда Рашель.

А в статье «О современной поэзии (К выходу "Альманаха Муз")» (написана не позднее февраля 1917 года) об Ахматовой сказано: «Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России». Ахматова, таким образом, олицетворяет Россию. Голос отречения – голос строгости и покаяния. Как представляется, образы черного солнца и ночного солнца, выражающие мандельштамовское представление о современной России, и образ Ахматовой – «Кассандры»-пророчицы и «Федры» – находятся в одном смысловом узле. Полночные похороны и тьма на Театральной площади упомянуты и в другом московском стихотворении, загадочном стихотворении «Телефон», в котором возникает тема самоубийства.

На этом диком, страшном свете

Ты, друг полночных похорон,

В высоком строгом кабинете

Самоубийцы – телефон!

Асфальта черные озера

Изрыты яростью копыт,

И скоро будет солнце – скоро

Безумный петел прокричит.

А там дубовая Валгалла

И старый пиршественный сон;

Судьба велела, ночь решала,  
Когда проснулся телефон.  
Весь воздух выпили тяжелые портьеры,  
На театральной площади темно.  
Звонок – и закружились сферы:  
Самоубийство решено.  
Куда бежать от жизни гулкой,  
От этой каменной уйти?  
Молчи, проклятая шкатулка!  
На дне морском цветет: прости!  
И только голос, голос-птица  
Летит на пиршественный сон.  
Ты – избавленье и зарница  
Самоубийства, телефон!

*Июнь 1918*

Ахматова назвала это стихотворение «таинственным». Действительно, реалии, отразившиеся в этих стихах, пока не известны. О.А. Лекманов предполагает, что прототипом «самоубийцы» мог быть комиссар, о котором сообщала газета «Раннее утро», где Мандельштам – видимо, не случайно – хотел напечатать это стихотворение. «Единственным сообщением о самоубийстве государственного чиновника, опубликованным в “Раннем утре” в мае – июне 1918 года, является следующая краткая заметка под заголовком “Самоубийство комиссара”, напечатанная в номере от 28 мая», – пишет О. Лекманов и приводит газетный текст: «В доме № 8, по Ермолаевскому переулку, выстрелом из револьвера в висок покон-

чил с собой на своей квартире комиссар по перевозке войск Р.Л. Чиркунов. Мотивы самоубийства не выяснены» [56] . Но в каких отношениях находился Мандельштам с этим человеком (если прототипом героя «Телефона» был он) и были ли они вообще знакомы, встречались ли они в «Метрополе» (Втором Доме Советов), где мог быть служебный кабинет комиссара, или были связаны как-то иначе – все это остается непроясненным. 1918 год. Наступали, казалось, «последние» времена, предвиденные Владимиром Соловьевым и Константином Леонтьевым. Еще в ноябре 1917-го Мандельштам написал стихи, в которых соседствуют упавшая на страну «ночь» и «разрушенная Москва»:

Кто знает, может быть, не хватит мне свечи,  
И среди бела дня останусь я в ночи,  
И, зернами дыша рассыпанного мака,  
На голову надену митру мрака,  
Как поздний патриарх в разрушенной Москве,  
Неосвященный мир неся на голове,  
Чреватый слепотой и муками раздора,  
Как Тихон – ставленник последнего собора!

Патриарх Тихон был избран 5 (18) ноября 1917 года. Революционные бои в Москве продолжались неделю, с 25 октября (7 ноября) по 2 (15) ноября 1917-го. Город сильно пострадал в результате боев, имелись многочисленные разрушения, в частности в Кремле. Живя в Москве, Мандельштам печатает в 1918 году в левозэсеровской газете «Знамя труда» два своих поэтических шедевра – «Сумерки свободы» (в номере от 11 (24) мая

1918 года) и «Золотистого меда струя из бутылки тек-  
ла...» (26 мая (8 июня) 1918 года).

Прославим, братья, сумерки свободы,  
Великий сумеречный год!  
В кипящие ночные воды  
Опущен грузный лес тенет.  
Восходишь ты в глухие годы —  
О, солнце, судия, народ!  
Прославим роковое бремя,  
Которое в слезах народный вождь берет.  
Прославим власти сумрачное бремя,  
Ее невыносимый гнет.  
В ком сердце есть — тот должен слышать, время,  
Как твой корабль ко дну идет.  
Мы в легионы боевые  
Связали ласточек — и вот  
Не видно солнца; вся стихия  
Щебечет, движется, живет;  
Сквозь сети — сумерки густые —  
Не видно солнца и земля плышет.  
Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,  
Скрипучий поворот руля.  
Земля плышет. Мужайтесь, мужи.  
Как плугом океан деля,  
Мы будем помнить и в летейской стуже,

Что десяти небес нам стоила земля.

В «Знамени труда» стихи датированы: «Москва, май 1918». Вообразить какую-либо цельную и непротиворечивую картину на основе описанного нелегко. Вероятно, можно увидеть происходящее так: плывущие на корабле времени пытаются с помощью связанных «в легионы боевые» ласточек извлечь солнце из воды, причем именно это солнце способно в качестве двигателя повести корабль дальше, в противном случае он утонет. Рискованный маневр удастся: солнце, почти скрытое бесчисленными ласточками («сумерки»), поднимается, тянет за собой корабль; корабль начинает движение («земля плывет») к непредсказуемому будущему.

Ласточки, как видится автору книги, олицетворяют в данном случае творчество и жизнь, и в таком значении эта быстрая легкая птичка выступает у Мандельштама не только в «Сумерках свободы». «Мы», поднимающие солнце-народ при помощи ласточек, – люди творческие (в широком смысле), носители «слова». Это те же «мы», что в стихах 1918 года («все чуждо нам в столице непотребной...») и 1933-го («Мы живем, под собою не чуя страны...»).

Одической интонации стихотворения соответствует и звукопись: «Сумерки свободы» прошиты торжественно звучащими в рифмующихся словах ударными «о», в которых, кажется, слышен сам твердый, суровый голос эпохи (при этом в первой строфе, задающей тональность произведения, ударение в рифмовке падает только на «о»). Ударное «о» сходит на нет в завершающей части, и это оправданно: в ней действие вступает в новую фазу – корабль двинулся, и на первый план выходят шипящие звуки, в которых, в свою очередь, передаются и напря-

жение мускулов при повороте громоздкого руля, и затрудненный ход судна, преодолевающего сопротивление тяжелой воды. Вторжение шипящих в звуковую ткань стихотворения начинается, однако, уже в предпоследней строфе, где роение снующих птиц в воздухе представлено так: «вся стихия / Щебечет, движется, живет».

*В ком сердце есть – тот должен  
слышать, время,*

*Как твой корабль ко дну идет,*  
—

говорит поэт. Время идет ко дну. Кончается историческое время европейско-христианского мира. Представляется несомненным, что эти строки связаны с Апокалипсисом: «времени уже не будет» («Откровение Иоанна Богослова», 10:6). (Подтекст отмечен в цитированном выше комментарии М. Гаспарова и О. Ронена.) Кажется также вероятной связь стихотворения Мандельштама с названием и тональностью книги стихов Е. Боратынского «Сумерки», проникнутой чувством конца.

Корабль времени тонет и может потонуть совсем. Но Мандельштам говорит и о надежде, о новой жизни. Пришло новое, неизведанное, грозное время. Народ, который безмолвствовал и покорялся, начал говорить и творить.

Об этом необыкновенном времени Мандельштам писал позднее (черновой вариант стихотворения «За гремящую доблесть грядущих веков...», 1931):

*Золотились чернила московской  
грязцы,*

*И пыхтел грузовик у ворот,*

*И по улицам шел на дворцы и  
морцы*

*Самопишущий черный народ.*

*шли труда чернецы,*

*Как шкодливые дети вперед*

(Что такое «морцы» – непонятно: может быть, тюрьмы – от глагола «морить»?) Народ стал «самопишущим» и пошел «на дворцы». Он был готов и судить. У читателя русской поэзии слово «судия» из «Сумерек свободы» должно было вызывать в памяти в первую очередь лермонтовское «есть грозный судия» из стихотворения на смерть Пушкина. Стих из «Сумерек свободы» даже как бы рифмуется со строкой из «Смерти поэта»: «О, солнце, судия, народ» (Мандельштам) – «Есть грозный судия: он ждет» (Лермонтов). В мандельштамовское время вариант «Есть грозный судия: он ждет» воспринимался как вполне адекватный, несмотря на то что теперь многие специалисты рассматривают в качестве основного другой вариант лермонтовского стиха. «Лермонтовская энциклопедия» сообщает на этот счет: «По традиции, идущей от П.А. Ефремова (ссылавшегося на А. Меринского), стих 66 в нек-рых изданиях печатался в варианте: "Есть грозный судия: он ждет". Ныне на основании дошедших списков принят др. вариант ("есть грозный суд"), в пользу кот-го высказывается И. Андроников и др. исследователи» [59] .

В автобиографической прозе «Шум времени» Мандельштам описывает Лермонтова из домашнего, родительского «книжного шкапа» так: «У Лермонтова переплет был зелено-голубой и какой-то военный, недаром он был гусар». Вряд ли можно точно установить, какое именно издание имеет в виду Мандельштам. К сожалению, оно утрачено, хотя еще в 1938 году, в последний

год жизни поэта, «детский» Лермонтов Мандельштама существовал. Н.Я. Мандельштам вспоминала: «На нижней полке [60] стояли детские книги О.М. – Пушкин “в никакой ряске”, Лермонтов, Гоголь, “Илиада”... Они описаны в “Шуме времени” и случайно сохранились у отца О.М. Большинство из них пропало в Калининe, когда я бежала от немцев» [61]. Среди многочисленных изданий Лермонтова 1870–1890-х годов встречаются и книги с зеленым и зеленовато-синеватым переплетом. Например: Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова в двух томах. Под ред. В.В. Чуйко (оба тома в одной книге). СПб.; М.: Издательство товарищества М.О. Вольф, 1893. Книга представляет собой солидный толстый том, обложка зеленая, с узором. Или шестое издание «Сочинений М.Ю. Лермонтова» (в 2 т.), СПб., 1887 (издание «книгопродавца Глазунова», под редакцией П.А. Ефремова). Обложка зеленоватая (не темно-зеленая, а с синеватостью), с узором, напоминает шинельное сукно. В обоих случаях (как и в явном большинстве других изданий) в интересующем нас стихе Лермонтова мы встречаем слово «судия» (в «глазуновских» «Сочинениях» оно начинается со строчной буквы, а у Вольфа – с прописной).

Народ пришел судить, и судия этот будет «грозный». Здесь, в «Сумерках свободы», очевидно, в латентном виде звучит тема возмездия, неизбежной «кары», о которой Мандельштам написал пять лет назад, также в мае, в год трехсотлетия династии Романовых: «Курантов бой и тени государей... / Россия, ты, на камне и крови, / Участвовать в твоей железной каре / Хоть тяжестью меня благослови!» («Заснула чернь. Зияет площадь аркой...»)

В 1932 году в стихотворении «Дайте Тютчеву стрекóзу...» Мандельштам признается:

«А еще над нами волен / Лермонтов, мучитель наш...» Выскажем осторожное предположение, что и начало «Сумерек свободы» может представлять собой своего рода ответ юношескому «Предсказанию» (1830) Лермонтова – ср.: «Настанет год, России черный год / Когда царей корона упадет...» и мандельштамовское: «Прославим, братья, сумерки свободы, / Великий сумеречный год!» (курсив мой. – Л.В.).

Есть в «Сумерках свободы», думается, переключка не только с Лермонтовым, но и с еще одним из самых значимых для Мандельштама поэтов – Тютчевым. Так, тютчевские строки отозвались в первой части стихотворения:

*Над этой темною толпой  
Непробужденного народа  
Взойдешь ли ты когда, Свобода,  
Блеснет ли луч твой золотой?..  
[62]*

*«Над этой темною толпой...»*

Тютчев задается вопросом о том, может ли взойти солнце свободы над темным (ср. у Мандельштама: «сумерки») народом. У Мандельштама иначе: поднимается сам народ (он же «солнце» и «судия») со своим представлением о свободе, а вот сохранение общественных свобод в их привычном, европейском смысле, как выше было отмечено, проблематично. Два голоса

1

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,  
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!  
Над вами светила молчат в вышине,

Под вами могилы – молчат и оне.

Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:

Бессмертье их чуждо труда и тревоги;

Тревога и труд лишь для смертных сердец...

Для них нет победы, для них есть конец.

2

Мужайтесь, боритесь, о храбрые друзья,

Как бой ни жесток, ни упорна борьба!

Над вами безмолвные звездные круги,

Под вами немые, глухие гроба.

Пускай олимпийцы завистливым оком

Глядят на борьбу непреклонных сердец.

Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,

Тот вырвал из рук их победный венец [63] .

Равнодушие холодных звезд к человеческому уделу – один из сквозных мотивов Мандельштама. Тютчевские «Два голоса» предвосхищают как этот мотив вообще, так и завершающее «Сумерки свободы» заявление, что, несмотря на человеческую смертность, борьба за преобразование земли стоит «десяти небес». Мандельштам призывает к мужеству и верности земле с полным сознанием того, что будущее отнюдь не будет безмятежным, а каждый человек мал и смертен. Снос памятника Александру III. 1918

В эпоху трагических перемен, ожесточения и раздора Мандельштам призывает не причитать и не проклинать; он провозглашает мужественное приятие эпохи, которая, будучи эпохой суровой власти, одновременно яв-

ляется временем свободы: ведь кончилось привычное существование, кончился во многом сам быт, обнажилась глубина жизни – человек был отброшен к одинокой, страшной и величественной свободе, каждый оказался перед выбором, и было бы пошлостью и малодушием отвернуться от этой свободы и оказаться недостойным ее. Позже Мандельштам писал об Октябрьской революции: «Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту...» («Поэт о себе», 1928). Время было голодное, страшное – и необыкновенное. Трагедия перестала быть литературным жанром и стала жизнью. Это чувство избавления от привычного устоявшегося существования, чувство «перевернутой страницы» и сознание прихода чего-то пусть угрожающего, но небывалого и очистительного были свойственны в те революционные годы многим; они выражены, например, в написанном в 1921 году стихотворении Анны Ахматовой:

Все расхищено, предано, продано,  
Черной смерти мелькало крыло,  
Все голодной тоскою изглодано,  
Отчего же нам стало светло?  
Днем дыханьями веет вишневыми  
Небывалый под городом лес,  
Ночью блещет созвездьями новыми  
Глубь прозрачных июльских небес, —  
И так близко подходит чудесное  
К развалившимся грязным домам...  
Никому, никому неизвестное,

Но от века желанное нам [64] .

Мандельштам виделся с Ахматовой в Москве 1918 года. Встретиться они могли не ранее 15 августа – в этот день Ахматова с мужем, востоковедом В.К. Шилейко, поселились в доме № 3 по Третьему Зачатьевскому переулку вблизи Остоженки, приехав из Петрограда [65] . Наркомпрос, в котором служил Мандельштам, располагался тогда в бывшем Катковском лицее (Остоженка, 53) – в десяти минутах ходьбы от их дома. Третий Зачатьевский переулок, д. 3. Здесь в 1918 г. жила Анна Ахматова. Фото автора

В записной книжке, которую Ахматова заполняла с весны 1961 по осень 1963 года (отдельные записи добавлялись в 1964-м), содержится план задуманной ею книги «Мои полвека» (1910–1960). План состоит из 20 пунктов. Пункты 12 и 18 фиксируют пребывание в Москве в 1918 году: «Москва в 1918 (3-й Зачатьевский)»; «Москва в 1914. (С вокзала на вокзал через Кремль. Накануне войны 1914.) В 1918 – Третий Зачатьевский. Голодная Москва» [67] . В дополнениях к «Листкам из дневника» Ахматова кратко упомянула встречу с Мандельштамом в 1918 году: «О.М. в 3-ем Зачатьевском» [68] , а в «Листках из дневника» сказано: «Мандельштам одним из первых стал писать стихи на гражданские темы. Революция была для него огромным событием, и слово народ не случайно фигурирует в его стихах» [69] . Очевидно, это отсылка к «Сумеркам свободы», с которыми Мандельштам несомненно познакомил Ахматову. Мандельштам был увлечен, захвачен трагическим величием происходящего. При полном сознании масштабности перемен Ахматова, думается, была настроена менее патетично. Еще в дни «революции Керенского» она говорила Б. Анрепу: «Будет то же самое, что было во Франции во время Вели-

кой революции, будет, может быть, хуже» [70] . Не исключено, что тогда же, в 1918 году, Ахматова могла узнать приведенное выше, в первой главе книги, стихотворение «Все чуждо нам в столице непотребной...». И, может быть, в ахматовских «Стансах» 1940 года («Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь...») отозвался «страшный вид разбойного Кремля» из этих мандельштамовских стихов:

«В Кремле не можно жить», – Преображенец прав.

Там зверства древнего еще кишат микробы:

Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы

И Самозванца спесь – взамен народных прав [71] .

Фигура «народного вождя» в мандельштамовских «Сумерках свободы» вызывает естественный вопрос – кто, собственно, имеется в виду? Высказывались различные мнения на этот счет. При всем уважении к одному из самых авторитетных знатоков жизни и творчества Мандельштама А.А. Морозову мы не можем согласиться с тем, что прообразом «вождя» был Николай II. Стихотворение, проникнутое пафосом будущего и преображения жизни, никак не вяжется с образом отрешенного от власти монарха. Керенский, которым Мандельштам был очень, хотя и недолго, увлечен, к маю 1918 года также был уже политически в прошлом, хотя его, пожалуй, можно увидеть берущим власть «в слезах»; присуща была ему и мечта о новой, преображенной России. Ленин, конечно, был народным вождем, который вел российский корабль в небывалое будущее, но его как раз представить берущим власть в слезах очень трудно. Наиболее обоснованным кажется мнение, что трагическая фигура «народного вождя» ближе всего к новоизбранному патриарху Тихону (мнение А.Г. Меца). «Как представляется,

– пишет А. Мец, – нам удалось найти точный источник этого образа. Это речь патриарха Тихона, произнесенная им сразу по избрании в патриархи на Всероссийском поместном соборе духовенства и мирян 5 (18) ноября 1917 года. В исторический момент восстановления патриаршества вновь избранный патриарх произнес краткую речь: “Ваша весть об избрании меня в патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано «Плач и стон и горе», каковой свиток должен был съесть пророк Иезекииль. Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении... Подобно древнему вождю еврейского народа Моисею, и мне придется говорить Господу: «Зачем мучаешь раба Твоего и почему Ты возложил на меня бремя всего народа...»”. Из двух библейских цитат в речи патриарха текстуально складывается образ “народного вождя, в слезах берущего бремя власти”» [72] . Речь патриарха Тихона – это, очевидно, прямой источник мандельштамовского образа. (Выскажем предположение, что дополнительным источником мог в данном случае послужить все тот же важнейший для московской темы у Мандельштама 1916–1918 годов подтекст – пушкинский «Борис Годунов». Борис говорит боярам, принимая власть, что примет ее «со страхом и смиреньем», и добавляет: «Сколь тяжела обязанность моя!») Но, несомненно, правы и М.Л. Гаспаров, и О. Ронен, утверждая что народный вождь – образ обобщающий: «...прославления достоин всякий, кто в смутное время принимает ответственность за власть революционного народа» [73] . Это власть, неизбежно пришедшая вслед за послефевральской легкостью и легкомыслием, когда «стояло лето Керенского и заседало лимонадное правительство» и доверие к «исчезнувшему, уснувшему, как окунь, государству» («Египетская

марка», 1928) уменьшалось стремительно. Отметим, что образы «Сумерек свободы» отзовутся у Мандельштама в его позднейшем переводе стихотворения Огюста Барбье «1793» (опубликован в 1924 году):

Когда корабль столетний государства  
Устал катать горох народной смуты,  
Открытый всем, как решето дырявый,  
В кромешный мрак, в барашковое море —  
Террора ветер в парусах раздутых —  
Он наудачу вышел за свободой...

Немногое известно о конкретной деятельности Мандельштама в период его работы в Наркомпросе. Вероятно, эта деятельность и не была слишком обширной. Уйдя в отпуск в начале июля 1918-го, он уехал в Петроград, а появился на службе только в августе, за что подвергся порицанию. Но, во всяком случае, Мандельштам думал тогда о введении в школе ритмического воспитания. Культура противостоит и обязана противостоять хаосу, и ритмическое воспитание, как видится Мандельштаму, — это один из способов организовать и гуманизировать новую жизнь, привить ей эллинскую гармоничность, превратить хаос в космос. В статье «Государство и ритм» (1918) поэт писал: «Организовывая общество, поднимая его из хаоса до стройного органического бытия, мы склонны забывать, что личность должна быть организована прежде всего. Аморфный, бесформенный человек, неорганизованная личность, есть величайший враг общества. <...> В настоящую минуту мы видим перед собой воспитателей-ритмистов, пока еще слабых и одиноких, предлагающих государству могущественное средство, завещанное им гармоническими веками, — ритм как орудие

социального воспитания. <...> Что общего между государством и женщинами и детьми, исполняющими ритмические упражнения, между суровыми преградами, которые ставит нам грубая жизнь, и той шелковой веревочкой, которая протягивается во время этих грациозных упражнений? Здесь готовят победителей – вот в чем заключается эта связь. <...> Над нами варварское небо, и все-таки мы эллины». (Описывая упражнения по ритмике, Мандельштам имел в виду в первую очередь популярную в то время систему Ж. Далькроза.) В другом стихотворении, опубликованном в «Знамени труда», – «Золотистого меда струя из бутылки текла...» (написано еще в 1917 году в Крыму) – все дышит любовью к вечной прелести эллинизма, к домашнему очагу, и говорится о недосяжимости «золотого руна»:

Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,  
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке,  
В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот  
Золотых десятин благородные ржавые грядки.  
Ну а в комнате белой – как прялка, стоит тишина,  
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.

Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена —  
Не Елена – другая – как долго она вышивала?  
Золотое руно, где же ты, золотое руно?  
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,  
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,  
Одиссей возвратился, пространством и временем  
полный.

Одиссей, как известно, в поход за золотым руном не ходил. Но Мандельштам относится к историческому и культурному наследию как к доставшемуся ему в наследство хозяйству и создает, в случае надобности, свою историю или свою мифологию. Такой подход был заявлен уже в 1914 году:

Я получил блаженное наследство —  
Чужих певцов блуждающие сны;  
Свое родство и скучное соседство  
Мы презирать заведомо вольны.  
И не одно сокровище, быть может,  
Минуя внуков, к правнукам уйдет,  
И снова скальд чужую песню сложит  
И как свою ее произнесет.

*«Я не слыхал рассказов Оссиана...»*

Обращаясь к «блуждающим снам» других писателей и художников, к историческим эпизодам и даже, в некоторых случаях, к топографии, Мандельштам относится к этому набору как к материалу, с которым он волен работать так, как требуют его творческие задачи. В случае необходимости можно соединить элементы различных мифов, как в только что процитированных стихах 1917 года, или создать обобщающую фигуру царевича-жертвы, как в стихотворении «На розвальнях, уложенных соломой...». «Эллинизм – это печной горшок, ухват, крынка с молоком, это домашняя утварь, посуда, все окружение тела; эллинизм – это тепло очага, ощущаемое как священное, всякая собственность, приобщающая часть внешнего мира к человеку, всякая одежда, возлагаемая

на плечи любим и с тем же самым чувством священной дрожи, с каким —

Как мерзла быстрая река  
И зимни вихри бушевали,  
Пушистой кожей прикрывали  
Они святого старика [77] .

Эллинизм – это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечение окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом. Эллинизм – это всякая печка, около которой сидит человек и ценит ее тепло как родственное его внутреннему теплу». Следы октябрьских боев 1917 г. в Москве. Дом у Никитских ворот

Согласно показаниям арестованного в связи с левозеровским мятежом Петра Зайцева (от 10 июля 1918 года), он встретил Блюмкина в самом начале июля у гостиницы, где проживали тогда Блюмкин и Николай Андреев, второй будущий участник убийства Мирбаха. Зайцев встретил его у гостиницы «Эллит» (имеется в виду «Элит-отель», находившийся в Петровских линиях; позднее, в 1919 году, Блюмкин жил в том же Втором Доме Советов, бывшей гостинице «Метрополь», где в 1918 – начале 1919 года квартировал Мандельштам). Рядом с Блюмкиным Зайцев увидел двоих. Один из них, анархист Юрий Дубман, был Зайцеву знаком, другой нет. «Мне его представил Блюмкин поэтом Мандельштамом. <...> Завязался общий разговор. Между прочим Блюмкин отозвал в сторону анархиста Юрия и стал ему что-то говорить. Я расслышал только следующие слова: “Мандельштам может проболтаться – он дурак, скажи ему...”» «Никакого

комментария к сказанному Зайцев, увы, не сделал», – сообщает публикатор показаний Зайцева, автор статьи о Блюмкине и Мандельштаме Я. Леонтьев [82] .

Могла ли идти речь о будущем покушении? Я. Леонтьев в этом сомневается, мотивируя свою точку зрения тем, что, по позднему рассказу Блюмкина, тот узнал о решении ЦК левых эсеров совершить убийство германского посла только 4 июля, причем ЦК наметил в качестве исполнителей не Андреева и Блюмкина, а других членов партии (Блюмкин предложил в террористы себя и Андреева). Но ведь в этом же рассказе на собрании исторической секции Дома печати Блюмкин сообщил, что 4 июля на заседании ЦК левых социалистов-революционеров от него потребовали сведений о германском посольстве, и в статье Леонтьева приводятся данные, подтверждающие, что такое наблюдение Блюмкин действительно вел. Решение о теракте вполне могло стать известным Блюмкину лишь 4 июля, но ведь что-то явно назревало вокруг посольства Германии и ранее, и Блюмкин, любитель произвести впечатление и придать себе значительности, мог нечто на эту тему сообщить. Впрочем, здесь можно только гадать.

История самого столкновения поэта и чекиста отразилась в «Петербургских зимах» поэта Георгия Иванова, в мемуарах Н.Я. Мандельштам, в показаниях Ф. Дзержинского. Детали разнятся, но в главном сюжет события ясен: в одном из московских поэтических кафе (или в каком-то ином месте, где собирались поэты и «поклонники») Блюмкин, будучи в подпитии, стал показывать собеседникам то ли ордера на арест, то ли списки арестованных с объяснениями, кого из этих людей стоило бы «пустить в расход», «шлепнуть», а кого, может быть, и пощадить. Блюмкин, насколько можно судить об этом эпи-

зоде, никакой особой кровожадности не проявлял – он просто показывал, что жизнь многих людей находится в его руках: как он решит, так и будет. (Я. Леонтьев указывает, что эту демонстрацию надо считать, вероятно, «очередным блефом Блюмкина», поскольку его тогдашняя должность в ЧК «не имела прямого отношения к расстрелам» [83] . Блюмкин занимался в ВЧК организацией контрразведки в целях борьбы с противниками режима.) В частности, Блюмкин упомянул о литераторе Пусловском. Мандельштам, хотя, предположительно, он не был знаком ни с Пусловским, ни с другими людьми, о власти над которыми заявил Блюмкин, выхватил, не думая о последствиях, – а они могли быть для него, очевидно, очень нелегкими – бумаги из рук чекиста и порвал их. На этом поэт не успокоился, а при помощи своей знакомой, писательницы Ларисы Рейснер, обратился к ее тогдашнему мужу, известному большевику Федору Раскольникову (впоследствии эмигранту и автору резко обличительного письма Сталину), и они поставили Дзержинского в известность насчет хмельных излияний работника его учреждения. Уже после подавления выступления левых эсеров Ф. Дзержинский давал показания в связи с обстоятельствами убийства германского посла: «За несколько дней, может быть, за неделю до покушения я получил от Раскольникова и Мандельштама (в Петрограде работает у Луначарского) сведения, что этот тип [84] в разговорах позволяет себе говорить такие вещи: “Жизнь людей в моих руках, подпишу бумажку – через два часа нет человеческой жизни. Вот у меня сидит гражданин Пусловский, поэт, большая культурная ценность, подпишу ему смертный приговор”, – но если собеседнику нужна эта жизнь, он ее “оставит” и т. д. Когда Мандельштам, возмущенный, запротестовал, Блюмкин стал ему угрожать, что, ес-

ли он кому-нибудь скажет о нем, он будет мстить всеми силами. Эти сведения я тотчас же передал Александровичу [85] , чтобы он взял от ЦК [86] объяснение и сведения о Блюмкине, чтобы предать его суду. В тот же день на собрании комиссии было решено по моему предложению нашу контрразведку распустить и Блюмкина пока оставить без должности» [87] . Вероятно, это было первое посещение Мандельштамом пресловутого ведомства на Лубянке, которое через двадцать лет убило его.

Как пишет в «Воспоминаниях» Надежда Мандельштам, поэт позднее вспоминал о том, что «Раскольников с Ларисой жили в голодной Москве по-настоящему роскошно – особняк, слуги, великолепно сервированный стол...» [88] . Но так или иначе, вмешательство Раскольникова и Рейснер помогло, может быть, Мандельштаму спасти людей от гибели. Пускай «прямого отношения к расстрелам» должность Блюмкина в ЧК не имела, но косвенные возможности такого рода у работника этого ведомства, вероятно, были. И в любом случае Мандельштам вряд ли разбирался в структуре карательного органа и конкретных обязанностях его служащих – он узнал о людях, которым грозила гибель, и постарался их спасти.

Кто такой загадочный Пусловский, упомянутый, по словам Дзержинского, Блюмкиным? Автору книги известно об этом незаурядном человеке следующее. Францишек Ксаверий Пусловский – польский аристократ, офицер, поэт, любитель искусства. Родился в 1875 году под Парижем. Был подданным России, но в восемнадцать лет сменил российское гражданство на австрийское. Служил в австрийской кавалерии, затем изучал право, штудировал в Берлине философию и историю искусств. Первая мировая война застала его в родном имении. Там у него базировались легионеры Ю. Пилсудского, сторонники от-

деления Польши от России и образования независимого польского государства. Имение было занято российскими войсками, Пусловского арестовали и через некоторое время привезли в Москву, где он был интернирован до конца войны. Живя в Москве, был, в частности, секретарем консула США и главой художественной комиссии польского театра. Общался с польскими деятелями науки и культуры, был знаком с князем Феликсом Юсуповым, одним из убийц Г. Распутина. В 1918-м был арестован, приговорен к смертной казни. Освобожден Ф. Дзержинским по настоянию наркоминдела Г. Чичерина. В этом же году вернулся в Польшу, служил, был видным общественным деятелем, прожил еще пятьдесят лет и умер девяностотрехлетним в Кракове в 1968 году [89] .

Из газеты «Заря России» (№ 54 за 1918 год) мы узнаем, что арестован был Пусловский примерно в середине июня в той самой гостинице «Элит», где располагались незадолго до убийства Мирбаха Блюмкин и его подельник Н. Андреев; сидел арестованный Пусловский в Бутырках. Что могло связывать Блюмкина с Пусловским и связывало ли их что-либо, остается неясным. Вероятно, все было просто: Блюмкин занимался организацией контрразведки; попавший ему на глаза польский граф австрийского подданства мог показаться подозрительным, и Блюмкин арестовал «аристократа».

Таким образом, вполне вероятно, что вмешательство Мандельштама могло сыграть свою роль в деле Пусловского и способствовать его освобождению. Узнал ли поэт Пусловский, что, когда ему грозил расстрел на Лубянке, о нем хлопотал некий поэт Мандельштам? Видимо, это осталось ему неизвестным; впрочем, кто знает –

может быть, ему об этом и было сообщено (тем же Дзержинским, например).

Где произошло столкновение поэта и чекиста? Н.Я. Мандельштам указывает, что «место действия – московское “Кафе поэтов”». Но какое? Футуристическое кафе поэтов вблизи Тверской (Настасьинский переулок, д. 1/52) закрылось уже в апреле 1918 года [90]. Может быть, дело происходило в поэтическом кафе, которое помещалось в доме на углу Петровки и Кузнецкого моста («Музыкальная табакерка», было открыто в марте 1918-го; называлось еще, по устраивавшимся выступлениям литераторов, «Живые альманахи»)? Возможно также, что имеется в виду «Бом» на Тверской улице – позднее там откроется кафе «Стойло Пегаса», штаб-квартира имажинистов. (Его содержал до революции М.А. Станевский – популярный клоун Бом; кстати, клоунов Бима и Бома упоминает Мандельштам в московских стихах 1931 года – «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...».) Немалой популярностью у поэтов и их поклонников пользовалось кафе «Питтореск» (Кузнецкий мост, 13; в октябре 1919 года оно стало называться «Красный петух»). О том, что Мандельштам выступал – читал свои стихи «в кафе на Кузнецком Мосту», вспоминала актриса Х.Ф. Бояджиева (речь идет о 1918-м или начале 1919 года).

Мог ли Мандельштам порвать бумаги Блюмкина в кафе «Домино»? Позднее, с января 1919 года, в этом кафе была эстрада, а после этого – клуб Всероссийского союза поэтов (СОПО), почему его и называли «Кафе поэтов».

Это было наиболее известное кафе такого рода. Известно, что позднее в «Кафе поэтов» Мандельштам бывал, как, впрочем, и в «Стойле Пегаса». Блюмкин также

нередко посещал «Кафе поэтов», бывшее «Домино», – это мы знаем, в частности, из мемуаров В. Шершеневича. Находилось кафе «Домино» неподалеку от гостиницы «Метрополь» – в несохранившемся доме 18 на Тверской (дом этот стоял напротив нынешнего Центрального телеграфа, на противоположной стороне улицы; телеграф тогда еще не был построен – на его месте располагалось старинное обширное здание бывшего Университетского благородного пансиона, где некогда, в частности, учился Лермонтов). Наконец, при самой гостинице «Элит» в Петровских линиях, у которой мы встречаем Блюмкина и Мандельштама в показаниях П. Зайцева, также было тогда литературное кафе (с таким же названием).

Мандельштам поступил вопреки очевидной житейской логике. Он сделал то, что никому из присутствовавших и в голову не могло прийти. Но он не мог поступить иначе. Этот поступок, как нам видится, был продиктован самой сутью его природы, во всем противоположной насилию и смерти. В поступке, очевидно, не было никакой обдуманности – была немедленная реакция на то, чего он просто не мог терпеть. Мандельштаму, в каждом человеке видевшему неповторимое, уникальное творение («Не сравнивай: живущий несравним», – пишет он в 1937 году), особенно отвратительно и нетерпимо было это отношение власти к человеку, к конкретному человеку, как к объекту, к предмету, которым можно манипулировать и который можно просто уничтожить «за ненадобностью». Позднее он напишет: «Власть отвратительна, как руки брадобрея» («Ариост», 1933). Холодные, равнодушные пальцы парикмахера, которые бесцеремонно поворачивают вашу голову, наклоняют ее направо и налево, держа при этом бритву у вашего горла, – необыкновенно точный образ бесчеловечной власти. Все, что писал Ман-

дельштам, одушевлено естественным, как дыхание, чувством свободы, не уживающейся ни с каким опредмечиванием. Но и в жизни Мандельштам был свободен, часто непредсказуем, не вписывался в расчерченные и понятные всем правила игры и жизненные схемы. Поступок в московском кафе 1918 года и стихи о Сталине 1933-го демонстрируют то единство жизненного поведения и слова, которое встречается редко и характеризует подвижников и юродивых. Действительно, есть в этом выхватывании страшных бумаг и разрывании их какая-то сверхлогичная и в то же время детская прямота и правда. Лидия Гинзбург однажды заметила: «Мандельштам слывет сумасшедшим и действительно кажется сумасшедшим среди людей, привыкших скрывать или подтасовывать свои импульсы. Для него, вероятно, не существует расстояния между импульсом и поступком. А.А. [91] говорит: “Осип – это ящик с сюрпризами”» [92]. На Руси никогда не переводились юродивые, и Мандельштам в определенные минуты своей жизни поднимался до праведности блаженных, о которых сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

Случился конфликт с чекистом до или уже после той встречи у гостиницы «Элит», о которой рассказал в своих показаниях Петр Зайцев? Теоретически нельзя исключить и первого варианта. Блюмкин был позер, любитель поиграть револьвером, но мог, в силу своей общей импульсивности и «широты», пойти и на примирение с поэтом. Поэзию он любил, в поэтах видел людей особых, из толпы выделенных (как революционеры). Какого рода бумаги порвал Мандельштам, неизвестно. Возможно, они и не были столь важны для Блюмкина. В пользу этой версии говорят вроде бы и слова Блюмкина о «болтливости» Мандельштама («может разболтать» – побежал же «жа-

ловаться» к Дзержинскому). А может быть, столкновение в кафе случилось уже после разговора у гостиницы. И это кажется более правдоподобным: вряд ли все же разъяренный Блюмкин и боявшийся его Мандельштам наладили бы отношения так быстро. В силу своей импульсивности Мандельштам был способен совершить безрассудно-смелый поступок. Но вслед за дерзостью могли последовать нервное потрясение или панический страх. Именно так и произошло в данном случае. И как-то трудно себе представить столь быстрое примирение и переход к нормальному общению с тем, кто угрожал поэту расправой. Зайцев показывал, что встреча у гостиницы состоялась «за 2–3 дня до съезда» [93] , а Пятый Всероссийский съезд Советов начал работу 4 июля 1918 года. При этом, согласно показаниям Дзержинского, он «предложил коллегии ВЧК в начале июля контрразведку распустить и Блюмкина оставить без должности, что и было сделано» [94] . Но ведь Дзержинский сообщал, что предложил отрешить Блюмкина от должности «в тот же день», когда к нему явились Мандельштам и Раскольников. Таким образом, эпизод в кафе надо, видимо, датировать началом июля или самым концом июня, то есть дело было буквально в самые последние дни перед левоэсеровским выступлением.

От Блюмкина можно было ждать чего угодно, и Мандельштам имел все основания опасаться его мести. Он старается не попадаться Блюмкину на глаза и в начале июля исчезает из Москвы, получив отпуск, который, как было сказано выше, самовольно продлил.

После мятежа Блюмкин также бежит из Москвы, скрывается, продолжает революционную деятельность на Украине; в 1919 году он был амнистирован по делу об участии в событиях 6 июля 1918-го. Мандельштам и

Блюмкин встречались, причем Блюмкин снова угрожал поэту, но револьвер так в ход и не пустил. Видимо, ему нравилось пугать людей. В московском «Кафе поэтов» он, например, однажды из-за пустяка направил свой браунинг на актера Игоря Ильинского (об этом эпизоде пишет в своих мемуарах Анатолий Мариенгоф). В середине 1920-х годов, согласно воспоминаниям Надежды Мандельштам, конфликт поэта с революционером закончился: Блюмкин при встрече протянул Мандельштаму руку.

Один из ярких персонажей эпохи революционного хмеля, Яков Блюмкин прожил жизнь, полную приключений и авантур. Он стал большевиком, был близок к Троцкому, выполнял тайные миссии на Востоке и был расстрелян в Москве в 1929 году.

«Как нетрудно догадаться, – пишет А. Мариенгоф, – при первом удобном случае Сталин расстрелял Блюмкина... под пение, вернее, хрипение “Интернационала”».

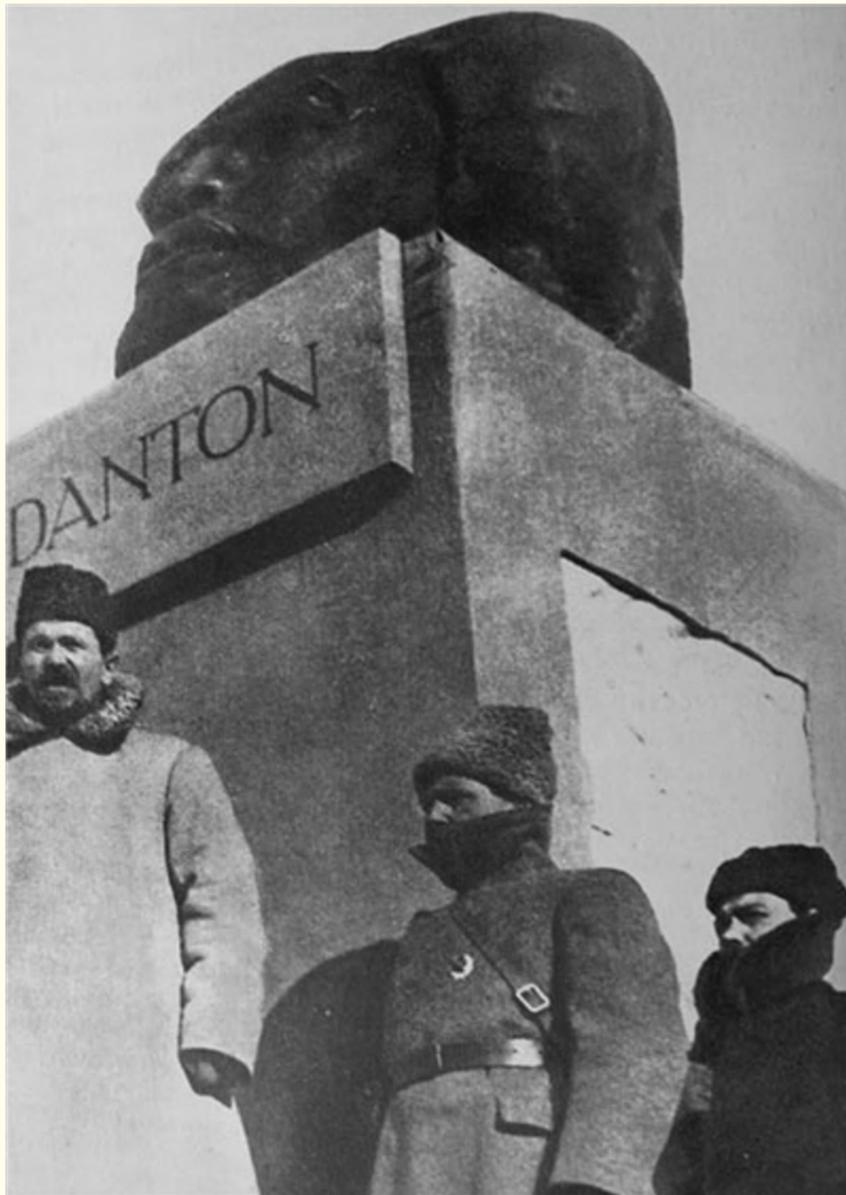
*Вставай, проклятьем  
заклейменный,*

*Весь мир голодных и рабов! —*

только и успел прокричать наш романтик.

Это мне рассказывал член коллегии ВЧК Агранов, впоследствии тоже расстрелянный» [95] .

Эту фамилию запомним: Я. Агранов подписал ордер на арест Мандельштама в 1934 году.



### Открытие памятника Дантону. 1918

В августе 1918-го Мандельштам снова в Москве, работает в своем отделе Наркомпроса, выступает с докладом и предложениями по организации ритмического воспитания. Но в Москве не задерживается: незадолго до серьезного преследования левых эсеров, в газете которых, как уже было сказано, Мандельштам печатался, он в середине февраля 1919 года выезжает на юг – в Харьков. А 2 февраля 1919-го неподалеку от «Метрополя», между

площадями Театральной и Революции, был открыт памятник Дантону работы Н.А. Андреева – массивная голова на постаменте. Увидев раз эту голову, забыть ее было трудно. Вероятно, впечатление от этого памятника могло позднее отразиться в процитированных в первой главе стихотворении о Великой Французской революции «Язык булыжника мне голубя понятней...» и очерке о международной крестьянской конференции: «большеголовые», «настоящий "большеголовый"». Весной Мандельштам уже в Киеве, где знакомится с Надеждой Хазиной, которая станет его спутницей навсегда. В год знакомства Мандельштам писал ей: «Я радуюсь и Бога благодарю за то, что он дал мне тебя. Мне с тобой ничего не будет страшно, ничего не тяжело...» (письмо от 5 декабря 1919 года из Феодосии). Эти слова были оправданы всей дальнейшей их жизнью. Ему было тогда, в 1919 году, двадцать восемь, ей – около девятнадцати лет. Исторический и городской фон 1922 год 1923 год **21 декабря** . Малый Совнарком РСФСР принимает решение о временном ограничении въезда в Москву на постоянное жительство (за исключением граждан, призываемых на постоянную работу).

**При Доме Герцена.  
Тверской бульвар, 25.  
1922–1923**



В 1920 году исполнилось пятьдесят лет со дня смерти А.И. Герцена. Совнарком принял решение отдать старинную усадьбу Яковлевых, где началась жизнь автора «Былого и дум», в распоряжение писателей. (Герцен появился на свет в доме своего дяди, Александра Алексеевича Яковлева.) У ворот во двор на массивном пилоне была установлена мемориальная доска работы скульптора Н. Андреева с профилем Герцена и датами: «1812. 1870. 1920» (годы рождения, смерти и установки доски). В настоящее время мемориальная доска на пилоне отсутствует. Привычного ныне памятника Герцену во дворе тогда не было – он появился только в 1959 году (работа скульптора М. Мильбергера).

В 1920 же году во флигелях были устроены писательские общежития (в общей сложности в двух зданиях под жильем было отведено тогда не более десяти комнат). Жили только в первом этаже. В главном здании до 1923 года писатели располагали лишь двумя залами вместимостью в общей сложности до 150 человек. В конце марта или в апреле 1922-го во флигеле, где в настоящее время находится приемная Литинститута (левый флигель от ворот во двор, если стоять на Тверском бульваре, лицом к главному зданию), получает жилье Осип Мандельштам. Ныне этот флигель отмечен со стороны бульвара мемориальной доской (открыта в год 100-летия Мандельштама, в 1991-м; автор – скульптор Д.М. Шаховской). До этого, приехав в Москву из Киева, где был зарегистрирован их брак, Мандельштам с женой жили некоторое время у филолога Н.К. Гудзия (см. «Список адресов»).



Мемориальная доска на флигеле Дома Герцена.  
Скульптор Д. Шаховской

Писатели получили в свое распоряжение весь главный дом усадьбы, как было сказано, не сразу. Не так легко было выселить из дома «Рауспирт» – районное управление государственными заводами винокуренной промышленности. Кроме того, в усадьбе помещалось также издательство товарищества «Братья А. и И. Гранат», выпускавшее известный энциклопедический словарь. Но тем не менее постепенно в Доме Герцена обосновались объединения писателей пролетарских и крестьянских, Всероссийский союз писателей («попутчики») и Всерос-

сийский союз поэтов, объединения «Кузница», «Перевал», «Литературный особняк» и другие. Флигель Дома Герцена. Здесь Мандельштамы жили в 1922–1923 гг.

Николай Чуковский, который был у Мандельштама летом 1922 года, упоминает большую комнату на втором этаже. История его появления у Мандельштама, по словам Чуковского, такова. Восемнадцатилетний Н. Чуковский издал сборник молодых поэтов «Ушкуйники» (в котором были помещены и его собственные стихи). В Петрограде пристроить все экземпляры сборника в книжные магазины не удалось, и Чуковский поехал, следуя совету, в Москву, где до этого никогда не бывал. Никто в Москве книгу не брал, есть было нечего и ночевать негде. Он лег спать на скамейке Тверского бульвара как раз напротив Дома Герцена. Утром он проснулся. Мы начали прямо со стихов – все остальное нам казалось менее важным. Мандельштам читал много. Я тогда впервые услышал его стихотворение, которое начиналось:

Я по лесенке приставной...

Потом он попросил читать меня. <...> Через сорок лет, в 1964 году, Лев Горнунг написал стихи, в которых вспоминал этот приход к поэту:

Сегодня я твою припомнил келью,  
Мольберт жены, этюды на столе,  
Простой матрац, служивший вам постелью,  
Год двадцать третий, звавший к новоселью,  
И доброе твое письмо ко мне [102] .

Итак, если Н. Чуковский не путает, Мандельштамы поселились, видимо, сначала в комнате на втором этаже (если помещение, куда Мандельштам привел Чуковского,

было действительно той комнатой, в которой Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна тогда жили), но, очевидно, вскоре перебрались на первый. Осип Мандельштам. Москва, 1923

Мандельштам не был человеком злопамятным. Он считал Хлебникова выдающимся поэтом и старался, как мог, помочь товарищу. А ведь в 1913 году в Петербурге он вызывал Хлебникова на дуэль, и по весьма чувствительному для Мандельштама поводу: его возмутила антисемитская позиция Хлебникова в отношении к делу Бейлиса. Дуэль не состоялась – конфликт уладил художник Павел Филонов. Хлебников же, по слухам, был автором достаточно злого, хотя и по-своему выразительно-точного прозвища, которое «прилипло» к Мандельштаму: Мраморная Муха. (По другой версии, прозвище придумал поэт В. Гнедов.) Но в голодной Москве начала 1920-х годов Мандельштам хлопотал о Хлебникове и делился с ним тем, чем мог. Надежда Мандельштам. Москва, 1923

А в 1922–1923 годах в пустой комнате левого флигеля Дома Герцена Мандельштам работал, рядом на кухне шумели писательские жены, это его раздражало, и он жаловался коменданту – Свирскому. Московский дождик

Он подает куда как скупо  
Свой воробьиный холодок —  
Немного нам, немного купам,  
Немного вишням на лоток.  
И в темноте растет кипенье —  
Чайнок легкая возня, —  
Как бы воздушный муравейник

Пирует в темных зеленях;  
И свежих капель виноградник  
Зашевелился в мураве —  
Как будто холода рассадник  
Открылся в лапчатой Москве!

*1922*

В стихотворении отразилось, вероятно, впечатление от Тверского бульвара – в другом варианте имеются еще четыре строки, фиксирующие начало дождя:

Бульварной Пропилеи шорох —  
Лети, зеленая лапта  
Во рту булавок свежий ворох,  
Дробями дождь залепетал.

Москва – «лапчатая», большая, дородная, как гусыня, как индюшка. Очерк «Холодное лето» перекликается со стихотворением «Московский дождик»: «Словно мешок со льдом, – пишет Мандельштам о прохладном московском ливне, – который никак не может растаять, спрятан в густой зелени Нескучного, и оттуда ползет холодок по всей лапчатой Москве...» И в другом очерке того же года, «Сухаревка», старинная башня, один из символов Москвы, напоминает писателю крупную домашнюю птицу (а рядом с башней – приведенная на рынок в «большую деревню» чья-то Зорька или Милка): «Под самой Сухаревой башней, под башней-барыней, из нежного и розового кирпича, под башней-индюшкой, дородной, как сорока-пятiletняя государыня [109] , к чахлomu деревцу привязана холмогорская корова». «Дом Нирнзее». Большой Гнездниковский переулок

Вернемся к Москве 1922–1923 годов. Мандельштам бывает в многочисленных редакциях, в частности в московской редакции берлинской «сменовеховской» газеты «Накануне». «Накануне», просоветская эмигрантская газета, ориентировавшая своих читателей на признание большевистской власти и возвращение на родину, имела представительство в Москве. Из Москвы произведения писателей, живущих в советской России, отправлялись в Германию и публиковались на страницах газеты (у «Накануне» было и литературное приложение). Московская контора «Накануне» с марта 1922 года располагалась на первом этаже знаменитого в ту пору московского «небоскреба» – дома Нирнзее, который так называли по дореволюционному владельцу-архитектору. Дом этот и сейчас стоит в Большом Гнездниковском переулке у Тверской, совсем близко от Дома Герцена (см. «Список адресов»). Полированное дерево перегородок и затянутый серым сукном пол редакции смотрелись уютно и солидно. В этом издании был напечатан ряд произведений Мандельштама, в частности такие программные вещи, как стихотворения «Нашедший подкову», «Грифельная ода» (оба – 1923), статьи «Пшеница человеческая» (1922) и «Гуманизм и современность» (1923). На крыше огромного десятиэтажного дома показывали кинофильмы. На верху дома располагалось и кафе. С крыши дома Нирнзее, с самой высокой тогда точки Москвы, открывался великолепный вид на город, там была устроена смотровая площадка [115]. Очевидно, Мандельштам поднимался туда, подобно многим, чтобы увидеть Москву с высоты. В статье «Литературная Москва» он, перечисляя приметы московской жизни, не забыл упомянуть и такую: «...здесь на плоской крыше небольшого небоскреба показывают ночью американскую сыщицкую драму».

О публикациях Мандельштама в «Накануне» пишет в своих мемуарах «Необыкновенные собеседники» Эмилий Миндлин, который в начале 1920-х годов был сотрудником московской редакции газеты. Он же оставил яркое описание чтения Мандельштамом своего стихотворения «Нашедший подкову» во флигеле Дома Герцена.

«Мандельштам тут же попросил жену переписать для меня “Нашедшего подкову”... Но еще прежде, чем она взяла в руки перо, он стал возле меня, держа левую руку, как обычно, в пиджачном кармане, а правой уже приготовился дирижировать. Он прислонился боком к спинке моего стула, словно не был уверен, что устоит. Сначала голос его зазвучал сдержанно и без дрожи. Он словно только набирал силы.

Это было начало как бы спокойно эпического повествования в прозе:

*Глядим на лес и говорим:*

*– Вот лес корабельный,  
мачтовый,*

*Розовые сосны,*

*До самой верхушки свободные  
от мохнатой ноши,*

*Им бы поскрипывать в бурю,*

*Одинокими пиниями,*

*В разъяренном безлесном  
воздухе...*

Но вот все напряженнее, все туже паруса, вздутые ветром. Полупустая комната с крашеным дощатым полом наполняется глухими раскатами органа. Напряжение передается мне так, словно это не он, а я читаю. <...>

Я слушаю, вжав голову в плечи. Кажется, читая, он выпивает весь воздух комнаты. Никогда прежде я не видел Мандельштама таким. Лицо его бело, глаза сухи и словно испуганны. Даже всегда дрожащая при чтении стихов нижняя губа его не дрожит...

В его легких уже не хватает воздуха. Задыхаясь, он произносит последние строки:

*Время срезает меня, как  
монету,*

*И мне уже не хватает меня  
самого...*

Будь еще хоть одна строка, он уже не сумел бы произнести ее.



Благовещенский переулоч, д. 3. Здесь в начале 1920-х помещалась редакция журнала «Огонек»

Он замолкает. Некоторое время держится за спинку моего стула. Кровь постепенно приливает к его лицу, выпяченная губа слегка увлажняется. В глазах появляется улыбка. Мандельштам приходит в себя. Он доволен. Потом он опускается на край железной кровати и искренне удивляется, что Надя до сих пор не переписала для меня “Нашедшего подкову”. Спроси его, он не скажет сейчас, сколько длилось его отсутствие» [116] . «Нашедший подкову» – стихи о том, что всевластное время все превращает в окаменелость; эпоха уходит («хрупкое летосчисление нашей эры подходит к концу»), оставляя по себе следы, которые будут мало понятны или вовсе не понятны потомкам, даже если те будут их хранить, – новые поколения не смогут воскресить, почувствовать то время, когда эти «ископаемые» были живой трепетной жизнью. Однако так – и, может быть, только так – сохраняется от эпохи хоть что-то.

Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.

Конь лежит в пыли и храпит в мыле,

Но крутой поворот его шеи

Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными ногами —

Когда их было не четыре,

А по числу камней дороги,

Обновляемых в четыре смены,

По числу отталкиваний от земли пышущего жаром иноходца.

Так  
Нашедший подкову  
Сдувает с нее пыль  
И растирает ее шерстью, пока она не заблестит.  
Тогда  
Он вешает ее на пороге,  
Чтобы она отдохнула,  
И больше ей уже не придется высекать искры из  
кремня.

Человеческие губы, которым больше нечего сказать,  
Сохраняют форму последнего сказанного слова,  
И в руке остается ощущение тяжести,  
Хотя кувшин наполовину расплескался, пока его  
несли домой.

То, что я сейчас говорю, говорю не я,  
А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой  
пшеницы.

Слова, завершающие стихотворение «Нашедший подкову», – о том, что время срезает человека, «как монету», – откликаются на более ранние, с грустной усмешкой, стихи, где также звучит мотив бегущего неостановимого и невозвратимого времени:

Холодок щекочет темя,  
И нельзя признаться вдруг,  
И меня срезает время,  
Как скосило твой каблук.

Жизнь себя перемогает,  
Понемногу тает звук,  
Все чего-то не хватает,  
Что-то вспомнить недосуг.  
А ведь раньше лучше было,  
И, пожалуй, не сравнишь,  
Как ты прежде шелестила,  
Кровь, как нынче шелестишь.  
Видно, даром не проходит  
Шевеленье этих губ,  
И вершина колобродит,  
Обреченная на сруб.

*1922*

Мандельштам вошел в пору зрелости и хорошо знал цену времени. Его творческая активность в этот период была очень высокой. Он пишет целый ряд стихотворений, в том числе «Европа» («С розовой пеной усталости у мягких губ...»), «Холодок щекочет темя...», «Я не знаю, с каких пор...», «Я по лесенке приставной...», «Ветер нам утешенье принес...», «Московский дождик», «Век», «Нашедший подкову», «Грифельная ода» (одно из сложнейших мандельштамовских стихотворений, в котором тема взаимоотношений художника и всепоглощающего времени также нашла свое выражение); он печатается в московских изданиях «Россия», «Москва», «Возрождение», «Гостиница для путешествующих в прекрасном», «Известия», «Красная новь», «Огонек» и других. В «Огоньке» появляются московские очерки «Холодное лето» и «Сухаревка», в «Трудовой копейке» – очерк «Пивные», в «Ра-

бочей газете» – «Генеральская» (все – в 1923 году). «Огонек» же печатает мандельштамовские очерки «Международная крестьянская конференция» и «Ньюэн Ай-Как. В гостях у коминтернщика» (о них шла речь выше); в журнале «Россия» публикуются статьи «А. Блок (7 августа 1921 г. – 7 августа 1922 г.)», «Литературная Москва» и «Литературная Москва. Рождение фабулы», а также «Борис Пастернак»; в «Русском искусстве» – «Vulgata (заметки о поэзии)»; в «Красной нови» – рецензия «Андрей Белый. Записки чудака». Статьи «Девятнадцатый век» и «Конец романа» появляются на страницах журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном» и альманаха «Паруса». В «Накануне» помещается ряд стихотворений и печатаются статьи «Пшеница человеческая» и «Гуманизм и современность». Летом 1922 года в русском издательстве "Petropolis" в Берлине выходит сборник стихов Мандельштама "Tristia", которым поэт не был удовлетворен; составил сборник и дал ему название Михаил Кузмин. Авторский вариант второго поэтического собрания под названием «Вторая книга» издается в конце мая 1923 года московским издательством «Круг». 11 мая 1922 года Мандельштам заключает с Госиздатом договор на издание сборника «Аониды» (не вышел). В июле 1923-го Госиздат выпускает третье издание «Камня». «Пушкинская кровь» действительно струится в жилах поэзии Мандельштама. Причем обращение к пушкинским мотивам всегда серьезно мотивировано; Мандельштам не прибегает к Пушкину по незначительным поводам. В качестве примера можно привести одну из двух известных концовок стихотворения «О, как мы любим лицемерить...» (написано в мае 1932 года, в другой период жизни при Доме Герцена – см. об этом времени ниже).

О, как мы любим лицемерить

И забываем без труда  
То, что мы в детстве ближе к смерти,  
Чем в наши зрелые года.  
Еще обиду тянет с блюдца  
Невыспавшееся дитя,  
А мне уж не на кого дуться,  
И я один на всех путях.  
Но не хочу уснуть, как рыба  
В глубоком обмороке вод,  
И дорог мне свободный выбор  
Моих страданий и забот.

Стихотворение об одиночестве и свободе; говоря об этом, поэт обращается в финальной части к Пушкину – сравним: «Но не хочу, о други, умирать. / Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» Но в футуризме, в Крученых, в Хлебникове есть и соблазн – соблазн зауми, соблазн слова, отказавшегося от ясности, от смысла, некое лингвистическое буйство. В 1922 году Мандельштам написал два стихотворения, в первой публикации объединенные общим названием «Сеновал»; в этих стихах автор говорит об отношениях поэта с миром, о соотношении поэтического языка и мира.

Я не знаю, с каких пор  
Эта песенка началась —  
Не по ней ли шуршит вор,  
Комариный звенит князь?  
Я хотел бы ни о чем

Еще раз поговорить,  
Прошуршать спичкой, плечом  
Растолкать ночь – разбудить.  
Раскидать бы за стогом стог  
Шапку воздуха, что томит.  
Распороть, разорвать мешок,  
В котором тмин зашит.  
Чтобы розовой крови связь,  
Этих сухоньких трав звон,  
Уворованная, нашлась  
Через век, сеновал, сон.

Второе стихотворение «двойчатки» (мандельштамовское словцо):

Я по лесенке приставной  
Лез на включенный сеновал, —  
Я дышал звезд млечных трухой,  
Колтуном пространства дышал.  
И подумал: зачем будить  
Удлиненных звучаний рой,  
В этой вечной склоке ловить  
Эолийский чудесный строй?  
Звезд в ковше Медведицы семь.  
Добрых чувств на земле пять.  
Набухает, звенит темь,  
И растет, и звенит опять.

Распряженный огромный воз  
Поперек вселенной торчит.  
Сеновала древний хаос  
Защекочет, запорошит...  
Не своей чешуей шуршим,  
Против шерсти мира поем,  
Лиру строим, словно спешим  
Обрасти косматым руном.  
Из гнезда упавших щеглов  
Косари приносят назад —  
Из горящих вырвусь рядов  
И вернусь в родной звукоряд.  
Чтобы розовой крови связь  
И травы сухорукий звон  
Распростились: одна – скрепясь,  
А другая – в заумный сон.

В «Сеновале» противопоставляются хаос мироздания, олицетворенный во «всклоченном» стоге сена (он представляет собой картину жизни – звезды в стихотворении «Я по лесенке приставной...» именуются «млечной трухой»), и человек, поэт, который должен как-то определить свою позицию в мире. Вступая в диалог со стихотворением Б. Пастернака «Степь» (как показал К.Ф. Тарановский), автор «Сеновала», вероятно, мог держать в памяти и стихи Фета «На стоге сена ночью южной...» [122] , в концовке которых отчетливо звучит тревожная нота: «И с замираньем и смятеньем / Я взором мерил глубину, / В которой с каждым я мгновеньем / Все невоз-

вратнее тону» [123] . Однако отношения лирического героя Мандельштама с окружающей его стихией мира имеют более напряженный, конфликтный характер. «Сеновала древний хаос» внеразумен, иррационален. Очевидно, что в стихах «Сеновала» звучит, наряду с другими нотами, и тютчевский мотив: «О, страшных песен сих не пой / Про древний хаос, про родимый! / Как жадно мир души ночной / Внимает повести любимой! // Из смертной рвется он груди, / Он с беспредельным жаждет слиться!.. / О, бурь заснувших не буди – / Под ними хаос шевелится!» («О чем ты воешь, ветер ночной?») [124] Как воспринимал Мандельштам происходившее в стране и мире? Европа, только что пережившая страшную войну, должна, по его мнению, извлечь урок из случившегося: осознать свое единство, похоронить узкий национализм, обратить все силы на устройство более человеческой жизни, более справедливого общества. «Ныне трижды благословенно все, что не есть политика в старом значении слова, благословенна экономика с ее пафосом всемирной домашности, благословен кремневый топор классовой борьбы, все, что поглощено великой заботой об устройении мирового хозяйства, всяческая домовитость и хозяйственность, всяческая тревога за вселенский очаг. Добро в значении этическом и добро в значении хозяйственном, то есть совокупности утвари, орудий производства, горбом тысячелетий нажитого вселенского скарба, сейчас одно и то же. <...> Стыд вчерашнего мессианизма еще горит на лице европейских народов, и я не знаю более жгучего стыда после всего, что совершилось. Всякая национальная идея в современной Европе обречена на ничтожество, пока Европа не обретет себя как целое, не ощутит себя как нравственную личность. <...> В нынешней Европе нет и не должно быть никакого величия, ни тиар, ни корон, ни

величественных идей, похожих на массивные тиары. Куда все это делось – вся масса литого золота исторических форм и идей; вернулась в состояние сплава, в жидкую золотую магму, не пропала, а то, что выдает себя за величие, – подмена, бутафория, папье-маше» («Пшеница человеческая»). В своем гимне переустройству жизни на новых началах Мандельштам доходит и до прославления «кремневого топора классово́й борьбы» – «социалистов великая ересь» (Маяковский. «Революция. Поэтохроника») никак не была ему чужда. Шел 1922 год; какой невиданной несвободой обернется новое время, какой лес пойдет под этот топор – еще никто не осознавал в полной мере.

Чувство культурного братства Европы – очень важная составляющая мандельштамовского видения мира. В одной из своих лекций В.Б. Микушевич назвал Мандельштама «певцом европейского единства», и это точная характеристика. Неслучайно поэт подчеркивает, что символисты вывели русскую поэзию из доморощенного состояния; неслучайно Мандельштам, говоря об акмеизме, дал свое известное определение: «тоска по мировой культуре». Место России – в этой семье европейских народов, а не в изоляции, под каким бы флагом эта изоляция ни утверждалась. Наступила новая эпоха, и Европа увлекаема в будущее, непредсказуемое и тревожное:

*С розовой пеной усталости у  
мягких губ*

*Яростно волны зеленые роет  
бык,*

*Фыркает, гребли не любит –  
женолюб,*

*Ноша хребту непривычна, и  
труд велик.*

*Изредка выскочит дельфина  
колесо*

*Да повстречается морской  
колючий еж.*

*Нежные руки Европы, берите  
все!*

*Где ты для выи желанней ярмо  
найдешь?*

*Горько внимает Европа могучий  
плеск,*

*Тучное море кругом закипает в  
ключ,*

*Видно, страшит ее вод  
маслянистый блеск*

*И соскользнуть бы хотелось с  
шершавых круч.*

*О, сколько раз ей милее  
уключин скрип,*

*Лоном широкая палуба, гурт  
овец*

*И за высокой кормою  
мельканье рыб!*

*С нею безвёсельный дальше  
плывет гребец.*

*1922*

Согласно античному мифу, Зевс, влюбившись, похитил финикиянку Европу, приняв облик быка. Стихотворение Мандельштама приводит на память также известную картину Валентина Серова. «В жилах нашего столетия те-

чет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть может, египетской и ассирийской:

Ветер нам утешенье принес,  
И в лазури почуяли мы  
Ассирийские крылья стрекоз,  
Переборы коленчатой тьмы.

В отношении к этому новому веку, огромному и жестоковейному, мы являемся колонизаторами. Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть его теологическим теплом – вот задача потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк» («Девятнадцатый век», 1922). Мандельштам цитирует в статье первое четверостишие собственного стихотворения 1922 года «Ветер нам утешенье принес...», в котором стрекозы приводят на память боевые летающие машины. Продолжение стихотворения таково:

И военной грозой потемнел  
Нижний слой помраченных небес,  
Шестируких летающих тел  
Слюдяной перепончатый лес.  
Есть в лазури слепой уголок,  
И в блаженные полдни всегда,  
Как сгустившейся ночи намек,  
Роковая трепещет звезда.  
И, с трудом пробираясь вперед,  
В чешуе искалеченных крыл,

Под высокую руку берет

Побежденную твердь Азраил.

Военная гроза темнит небо, и ангел смерти Азраил берет его «под высокую руку». Агитационная скульптура «Пролетарий, строй воздушный флот!»

В следующем, 1923 году курс на всемерное развитие советской авиации был обозначен еще более определенно. В начале февраля проходит первая Неделя авиации под девизом: «Пролетарий, создавай воздушный флот!»; 9 февраля появляется Совет по гражданской авиации; в феврале же «Троцкий предлагает создать Общество друзей воздушного флота (ОДВФ), и это предложение утверждается Революционным военным советом СССР» [129]. 1 марта началась новая Неделя воздушного флота. В завершение агитационной недели, 8 марта, и создается в Москве ОДВФ. В руководящий совет общества входят, в частности, Антонов-Овсеенко, Дзержинский, Сталин, Молотов, Красин, Луначарский, Фрунзе. «Председателем общества был назначен А.И. Рыков, возглавлявший в то время Совнарком» [130]. Выдвигается лозунг «Трудовой народ, строй воздушный флот!» В «Известиях» было опубликовано объявление о приеме добровольных взносов на строительство самолетов. «К концу 1923 ОДВФ насчитывало 580 тыс. членов. В ноябре 1923 вышел первый номер печатного органа ОДВФ – журнала “Самолет”» [131]. Благодаря активной «добровольно-принудительной» кампании Общество аккумулирует немалые денежные средства. (За 1923–1924 годы было собрано около шести миллионов рублей.) 29 июня ОДВФ передает военным летчикам два самолета – «Известия ВЦИК» и «Московский большевик». В ответ на ультиматум Керзона создается эскадрилья «Ультиматум» (9 само-

летов, 11 ноября они были торжественно переданы авиаторам). В первой половине 1924 года Общество построило самолеты эскадрильи «Ленин». В 1923 году московское издательство «Красная новь» выпустило сборник «авио-стихов» (именно так) «Лёт». В книге, вышедшей под редакцией Николая Асеева, представлены стихи двадцати восьми поэтов, в том числе самого редактора, В. Брюсова, С. Городецкого, В. Каменского, В. Кириллова, О. Мандельштама, В. Маяковского, М. Светлова, Н. Тихонова и др. В «Лёт» включены, помимо стихов, фотоработы А. Родченко: парящие в небе аэропланы и дирижабли. Сборник вышел под грифом «ОДВФ» – «Общества друзей воздушного флота». Четыре отдельных стихотворения Мандельштама, помещенные в этой книге, позднее были объединены в одно целое под заголовком «А небо будущим беременно...»:

Опять войны разногласица  
На древних плоскогорьях мира,  
И лопастью пропеллер лоснится,  
Как кость точеная тапира.  
Крыла и смерти уравнение,  
С алгебраических пирушек  
Слетев, он помнит измерение  
Других эбеновых игрушек,  
Врагиню-ночь, рассадник вражеский  
Существ коротких, ластиногих,  
И молодую силу тяжести:  
Так начиналась власть немногих...

Итак, готовьтесь жить во времени,  
Где нет ни волка, ни тапира,  
А небо будущим беременно —  
Пшеницей сытого эфира.  
А то сегодня победители  
Кладбища лёта обходили,  
Ломали крылья стрекозиные  
И молоточками казнили.  
Давайте слушать грома проповедь,  
Как внуки Себастьяна Баха,  
И на востоке и на западе  
Органные поставим крылья!  
Давайте бросим бури яблоко  
На стол пирующим землянам  
И на стеклянном блюде облако  
Поставим яств посередине.  
Давайте все покроем заново  
Камчатной скатертью пространства,  
Переговариваясь, радуясь,  
Друг другу подавая брашна.  
На круговом, на мирном судьбище  
Зарею кровь оледенится,  
В беременном глубоком будущем  
Жужжит большая медуница.

А вам, в безвременьи летающим  
Под хлыст войны за власть немногих, —  
Хотя бы честь млекопитающих,  
Хотя бы совесть – ластиногих.  
И тем печальнее, тем горше нам,  
Что люди-птицы хуже зверя  
И что стервятникам и коршунам  
Мы поневоле больше верим.  
Как шапка холода альпийского,  
Из года в год, в жару и лето,  
На лбу высоком человечества  
Войны холодные ладони.  
А ты, глубокое и сытое,  
Забременевшее лазурью,  
Как чешуя, многоочитое,  
И альфа и омега бури, —  
Тебе – чужое и безбровое —  
Из поколенья в поколение  
Всегда высокое и новое  
Передается удивление.

*1923; 1929*

«Медуница» в этих стихах – пчела; «...победители / Кладбища лета обходили...» – речь идет, по всей вероятности, об уничтожении военной авиации поверженной в Первой мировой войне Германии. Надежде на мирное будущее единого человечества сопутствует опасливое от-

ношение к машинам, воплотившим в себе последние достижения технической мысли и в то же время заставляющим вспомнить о доисторических летающих ящерах. «Крыла и смерти уравнение» в руках людей, которые «хуже зверя», способно причинить зло в масштабах, не сравнимых с разрушениями войн прошлого. Небо «беременно будущим», но в том, что плод этой беременности будет благотворен, нет полной уверенности. Как воспринимал Мандельштам происходившее в стране? С осторожной надеждой. Прошлое прошло, гражданская война закончилась, и Мандельштаму хотелось поладить с новым временем. Как в 1918-м в «Сумерках свободы» он сказал: «Ну что ж, попробуем...» – так теперь он повторяет с такой же неуверенной интонацией:

Ну что же, если нам не выковать другого,

Давайте с веком вековать.

*«Нет, никогда, ничей я не был современник...», 1924*

Но себя поэт ощущал связанным во многом с миром ушедшим. Он и сам был – и признавал себя – одним из тех «потерпевших крушение выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк», о которых писал в статье «Девятнадцатый век». Век

Век мой, зверь мой, кто сумеет

Заглянуть в твои зрачки

И своею кровью склеит

Двух столетий позвонки?

Кровь-строительница хлещет

Горлом из земных вещей,

Захребетник лишь трепещет  
На пороге новых дней.  
Тварь, покуда жизнь хватает,  
Донести хребет должна,  
И невидимым играет  
Позвоночником волна.  
Словно нежный хрящ ребенка  
Век младенческий земли.  
Снова в жертву, как ягненка,  
Темя жизни принесли.  
Чтобы вырвать век из плена,  
Чтобы новый мир начать,  
Узловатых дней колена  
Нужно флейтою связать.  
Это век волну колышет  
Человеческой тоской,  
И в траве гадюка дышит  
Мерой века золотой.  
И еще набухнут почки,  
Брызнет зелени побег,  
Но разбит твой позвоночник,  
Мой прекрасный жалкий век!  
И с бессмысленной улыбкой  
Вспять глядишь, жесток и слаб,

Словно зверь, когда-то гибкий,

На следы своих же лап.

*1922*

Залечить перелом, срастить два века, восстановить нарушенную связь – к этому призван художник («флейтою связать» – здесь несомненно перефразируется «флейта-позвоночник» Маяковского, а на более глубоком уровне присутствует отсылка к словам Гамлета о том, что «время вышло из сустава» и требуется его вправить: “The time is out of joint: O cursed spite, / That ever I was born to set it right!”). Отметим, что к этому же образу – позвоночника – обращается Мандельштам, когда пишет о произошедшем преодолении разрыва между старой и новой поэзией: выше приводились слова из статьи «Буря и натиск», где Мандельштам назвал это преодоление «сращением позвоночника двух поэтических систем». Тут, в «Веке», звучит и никогда не покидавшая Мандельштама тема жертвы поэта: «склеить» две эпохи придется, как сказано, «своею кровью». Поэт не хотел быть «захребетником» в новом мире, но некоторые черты становящегося общества его не могли радовать. Эпоха вызвала определенные сомнения в ее творческой новизне (несмотря на всю «футуристическую» яркость) и нравственной полноценности. Вопрос о том, не скрывается ли за революционной маской – как бы ни относиться к революции – парадоксальный возврат назад, к допетровским временам, к ориентации на Восток, не раз поднимается в стихах и прозе Мандельштама. Большевицкая Россия ушла из европейской семьи народов, и перенос столицы в Москву был не просто переездом правительства; в этом акте нельзя было не различить и символический знак. Положение усугублялось тем, что новая Московия была

нехристианской, более того – антихристианской (говоря шире – отказалась от всего «авраамического», иудейско-христианского наследства). Произошел радикальный поворот, который можно было воспринять как поворот к Востоку. Живя в Москве, Мандельштам осознает это. Неслучайно, отталкиваясь, очевидно, от названия «Китай-город», он сравнивает Москву с Пекином: Сухаревский рынок. 1920-е

Дикое зрелище – базар посредине города: здесь могут разорвать человека за украденный пирог и будут швыряться им, как резиновой куклой, – до кровавой пены; здесь люди – тесто, а дрожжи – вещи, и хочешь не хочешь, а будут тебя месить чьи-то заgreбистые руки. < ...> 1 января 1924

Кто время целовал в измученное темя —

С сыновней нежностью потом

Он будет вспоминать, как спать ложилось время

В сугроб пшеничный за окном.

Кто веку поднимал болезненные веки —

Два сонных яблока больших, —

Он слышит вечно шум, когда взревели реки

Времен обманных и глухих.

Два сонных яблока у века-властелина

И глиняный прекрасный рот,

Но к млеющей руке стареющего сына

Он, умирая, припадет.

Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,

Еще немного – оборвут

Простую песенку о глиняных обидах  
И губы оловом зальют.  
О, глиняная жизнь! О, умиранье века!  
Боюсь, лишь тот поймет тебя,  
В ком беспомощная улыбка человека,  
Который потерял себя.  
Какая боль – искать потерянное слово,  
Больные веки поднимать  
И, с известью в крови, для племени чужого  
Ночные травы собирать.  
Век. Известковый слой в крови больного сына  
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,  
И некуда бежать от века-властелина...  
Снег пахнет яблоком, как встарь.  
Мне хочется бежать от моего порога,  
Куда? На улице темно,  
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,  
Белеет совесть предо мной.  
По переулочкам, скворешням и застрехам,  
Недалеко, собравшись как-нибудь,  
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,  
Все силюсь полость застегнуть.  
Мелькает улица, другая,  
И яблоком хрустит саней морозный звук,

Не поддается петелька тугая,  
Все время валится из рук.  
Каким железным, скобяным товаром  
Ночь зимняя гремит по улицам Москвы,  
То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром  
Из чайных розовых, как серебром плотвы.  
Москва – опять Москва. Я говорю ей: «Здравствуй!  
Не обессудь, теперь уж не беда,  
По старине я уважаю братство  
Мороза крепкого и щучьего суда».  
Пылает на снегу аптечная малина,  
И где-то щелкнул ундервуд;  
Спина извозчика и снег на пол-аршина:  
Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.  
Зима-красавица, и в звездах небо козье  
Рассыпалось и молоком горит,  
И конским волосом о мерзлые полозья  
Вся полость трется и звенит.  
А переулочки коптели керосинкой,  
Глотали снег, малину, лед,  
Все шелушится им советской сонатинкой,  
Двадцатый вспоминая год.  
Ужели я предам позорному злословью —  
Вновь пахнет яблоком мороз —

Присягу чудную четвертому сословью  
И клятвы крупные до слез?  
Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?  
Какую выдумаешь ложь?  
То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш —  
И щучью косточку найдешь;  
И известковый слой в крови больного сына  
Растает, и блаженный брызнет смех...  
Но пишущих машин простая сонатина —  
Лишь тень сонат могучих тех.

*1924*

Стихотворение создавалось в Киеве – там Осип и Надежда Мандельштам были в гостях у родителей Надежды Яковлевны. Но работа над стихами была, видимо, продолжена, когда Мандельштамы вернулись в Москву в середине января 1924 года, – продолжена после смерти В.И. Ленина (Ленин скончался 21 января). Новогодние стихи говорят о выборе и рубеже. В конце 1923 года приближался не только новый год, но и день рождения поэта – он родился 3 января (по новому стилю – 15-го) 1891 года: позднее в «Стихах о неизвестном солдате» Мандельштам написал: «Я рожден в ночь с второго на третье / Января в девяносто одном / Ненадежном году...» 3 (15) января 1924-го Мандельштаму исполнялось тридцать три года – возраст знаковый. Герой стихотворения совершенно один, никаких других лиц мы не видим, другие люди представлены только «спиной извозчика». Мир в стихотворении «рыбий», то есть немой: неслучайно помянуты и «рыбий мех», и «мерзлая рыба», и «серебро плот-

вы», не говоря уже о «щучьем суде» и «щучьей косточке». Лишен голоса и герой, потерявший слово. Стихи перекликаются с лермонтовским «Выхожу один я на дорогу...»: самую начальную строку стихотворения Лермонтова Мандельштам зарифмовал – «Мне хочется бежать от моего порога...»; во встающей в сознании героя блестящей от соли «мощеной дороге» отозвалась строка «Сквозь туман кремнистый путь блестит»; лермонтовские небеса, где «торжественно и чудно» и «звезда с звездой говорит», отзываются и опять же рифмуются с мандельштамовским пассажем: «в звездах небо козье / Рассыпалось и молоком горит». Небо названо «козьим» потому, что звезды в ночном небе напоминают освещенные луной камни «кремнистого пути» у Лермонтова – Млечный Путь подобен земному горному кавказскому каменистому пути; горные тропы – козьи тропы («1 января 1924» перекликается с написанным ранее, в 1923 году, стихотворением «Грифельная ода», в котором представлен горный пейзаж, каменные кручи получают название «крутые козьи города» и обозначенные детали лермонтовского подтекста приводят за собой к читателю лермонтовский вопрос, подспудно звучащий в стихах Мандельштама – и в «Грифельной оде», и в «1 января 1924»: «Что же мне так больно и так трудно?»). Не раз отмечалось, что в этом месте стихотворения речь идет о нереализованной возможности эмиграции (О. Ронен и др.). Предки поэта жили в местечке Жагоры (Ковенская губерния; Ковно – современный Каунас), и посол независимой Литвы, поэт Юргис Балтрушайтис мог посодействовать Мандельштаму в получении литовского гражданства. Но Мандельштам отвергает эмигрантский шанс. Это решение было продиктовано рядом причин. Мандельштаму казалось предательством по отношению к погибшим и замученным социали-

стам и революционерам прошлого, в первую очередь разночинцам-народникам, с которыми он всегда чувствовал свое родство, подвергать сомнению доброкачественность «нового мира»: «Ужели я предам позорному злословью – / Вновь пахнет яблоком мороз – / Присягу чудную четвертому сословью / И клятвы крупные до слез?» Присяга четвертому сословью – присяга пролетариату и всем трудящимся. Ведь эти дни звали и приближали народники и марксисты, социалисты всех направлений; ведь сам поэт в юности был эсеровским пропагандистом в рабочем кружке. «Мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары: то был вопрос влюбленности и чести», – пишет Мандельштам в «Шуме времени». Уехать теперь, когда наступило ожидаемое, было для Мандельштама неприемлемым выбором. Другая важная причина, связанная с первой: в советской России происходили невиданные события, совершались самые важные в мире перемены, здесь звучала трагическая и величественная музыка истории, и Мандельштам не мог оставить страну в такую эпоху. С. Стратановский сформулировал эту позицию очень точно, заметив, что поэт ищет не где лучше, а где глубже. Для Мандельштама была характерна (не только в этот период) установка на героически-жертвенное приятие жизни, и решение остаться было избрано с полным сознанием вероятных нелегких последствий. Подобно Анне Ахматовой, написавшей:

Мне голос был. Он звал утешно,  
Он говорил: «Иди сюда,  
Оставь свой край глухой и грешный,  
Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук твоих отмою,  
Из сердца выну черный стыд,  
Я новым именем покрою  
Боль поражений и обид». —  
Но равнодушно и спокойно  
Руками я замкнула слух,  
Чтоб этой речью недостойной  
Не осквернился скорбный дух. —

*«Когда в тоске самоубийства...» [142]*

Мандельштам сам выбрал свою судьбу. Конечно, играла свою роль и связь с русским языком, непредставимость выхода из стихии живой и бурно обновляющейся речи в иноязычное (а в случае эмигрантского русского языка – как минимум разреженное и обедненное) языковое пространство. А в первой половине 1920-х еще можно было уговаривать самого себя и надеяться:

Спина извозчика и снег на пол-аршина:

Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.

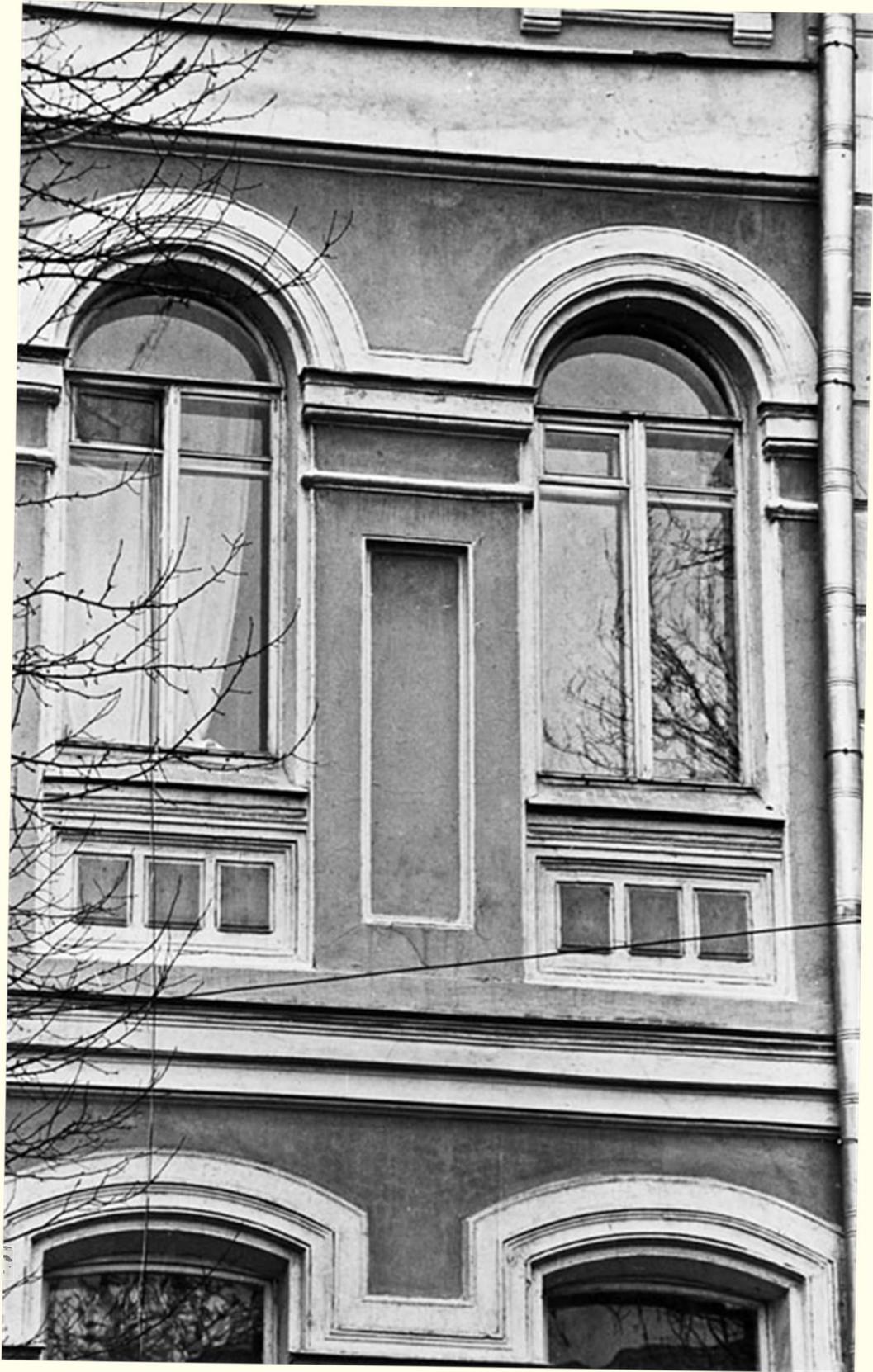
*«1 января 1924»*

Тяжелое впечатление произвело на Мандельштама и изъятие во время голода в Поволжье церковных ценностей в храме неподалеку от Дома Герцена. Н. Мандельштам вспоминала: «Где-то в Богословском переулке – недалеко от нашего дома – стояла церквушка». Имеется в виду, очевидно, церковь Иоанна Богослова, которая и сейчас хорошо видна с Тверского бульвара рядом с Драматическим театром им. Пушкина. Исторический и городской фон 1929 год **Московская частушка:**

Синячище во все тело,  
На всем боке ссадина.  
На трамвае я висела,  
Словно виноградина.

**10 июля** . Начало конфликта из-за КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога). Советские работники КВЖД подвергаются аресту, дорогу берут в свои руки китайские власти. (В ноябре 1929 года Особая Дальневосточная армия освобождает КВЖД. В декабре советский контроль над дорогой был официально восстановлен, т. е. подтвержден статус дороги как совместного предприятия.) 1930 год 1931 год **5 декабря** . Взрыв храма Христа Спасителя.

**У «брата Шуры».  
Старосадский переулок,  
д. 10, кв. 3. Конец 1920-х  
– 1931**



Недалеко от Варварской (потом – Ногина, теперь – Славянская) площади, на углу улицы Забелина (в мандельштамовское время – Большой Ивановский переулок) и Старосадского переулка, стоит примечательное здание. Оно достаточно поместительно, выстроено «покоем». Такие солидные доходные дома появились в Москве во множестве во второй половине XIX – начале XX века. Здесь, в доме 10 по Старосадскому переулку, поселился Александр Эмильевич Мандельштам, средний из братьев Мандельштамов, вскоре после того как в 1927 году женился на художнице Элеоноре Гурвич. Тут, у «брата Шуры», многократно бывал, жил и работал Осип Мандельштам. Старосадский переулок, дом 10, – одно из важнейших мест мандельштамовской Москвы. В квартире «Шуры» написаны прекрасные стихи, шла работа и над прозой.

Дом находится в одном из живописных, сохранивших очарование московской старины мест города. Старосадский – это название советского времени; ранее переулок именовался Космодамианским (в просторечии Козьмодемьянским) по расположенной вблизи Маросейки церкви Космы и Дамиана. Напротив дома – церковь Святого Владимира в Старых Садах (XVI–XVII вв.), совсем рядом и Ивановский монастырь. Церковь в конце 1920-х – начале 1930-х годов выглядела запущенной и сиротливой, о судьбе монастыря речь еще будет. Купол главного храма монастыря, вариация купола собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции (архитектор М.Д. Быковский, 1879 год), мог напомнить Мандельштаму о всегда любимой Италии: еще одна «Флоренция в Москве».

Дом 10 имеет некороткую историю. По данным архива московского Музея архитектуры, еще в начале XIX века здесь было владение кн. М.А. Шаховской. Начиная с

1839 года усадьба принадлежала разным купцам. В 1879-м официальной хозяйкой участка стала жена купца первой гильдии Акулина Васильевна Красногорова. При ней в 1880–1881 годах были выстроены, в своей основе, корпуса ныне существующего здания. Но застройка была ниже современной: к началу XX века, когда хозяином участка был купец Иван Никифорович Блинов (Блиновым это угловое владение принадлежало до 1911 года), на данном месте находились двухэтажные каменные корпуса. В 1900 году, при Блинове, начинается перестройка владения, появляется третий этаж. Со временем дом приобретает современный вид (верхний этаж возведен в 1933 году). Непосредственно перед революцией 1917 года здание принадлежало Михаилу (Менделю) Даниловичу Броду [151] .

Дом находится неподалеку от московской хоральной синагоги, и это обстоятельство сыграло определенную роль в его истории. Из воспоминаний Раисы Леоновны Сегал: «Мандельштама я видела всего один раз, в 1931 году. Мы жили тогда по адресу Москва, Старосадский переулок, 10, квартира 3. Это была коммунальная квартира; очень большая; до революции наш дом принадлежал какому-то богатому еврею. Часть квартир он сдавал внаем, а наша была его собственной, поэтому она отличалась от остальных: там были итальянские цветные окна, широченный коридор, две кухни (в одной стирали, в другой готовили), и было девять комнат, в которых жило девять семей. На кухне гудело шестнадцать примусов» [152] .

Р.Л. Сегал (родилась в 1920 году) жила в квартире 3 с 1924 по 1932 годы, но и потом постоянно бывала там. В устной беседе Раиса Леоновна назвала запомнившихся ей жильцов квартиры. Сама Раиса Леоновна была доче-

рию Леона Исааковича Гольдмана, видного бундовца и меньшевика (партийная кличка Аким). Один из лидеров меньшевиков Либер (Михаил Гольдман) – его родной брат (расстрелян в 1937-м). Отец Раисы Леоновны был арестован в 1938-м и расстрелян в 1939-м. Жила в коммуналке семья Цирловых, молодая семья. Иосиф Павлович Цирлов был арестован во второй половине 1930-х годов, а семью выслали. Вспоминает Раиса Сегал семью Рабкиных. Глава семьи работал в еврейской газете (на идише) «Дер Эмес» («Правда»). Проживали в квартире сестры Змеёвы (одна из них была художницей), братья Беккерманы (о них ниже). Две большие комнаты занимали «коммунисты», как сказала Раиса Леоновна, Айзенштадты. На противоположной стороне, через коридор, – три семьи: братья Гольдберги (один из них был душевнобольным, он много говорил по телефону, уверяя, что разговаривал с Луначарским; братья переехали в другую квартиру в этом же доме); семья Толокновых (муж, видимо, работал в «органах»; его жена, Вера Павловна, была, по словам Р. Сегал, милая женщина и известная портниха; у них была дочь Инна); третью комнату по этой стороне занимала Сарра Хашеватская с сыном Марком – разведенная жена известного еврейского поэта Моисея Хашеватского (поэт погиб на фронте в 1943 году).



План квартиры 3 (Старосадский переулок, 10). По рисунку А.А. Мандельштама

Состав жильцов и планировка квартиры со временем менялись. (Согласно плану, нарисованному племянником поэта, сыном А.Э. Мандельштама Александром Александровичем Мандельштамом, который родился в 1931 году, в квартире проживало десять семей [153] . Ряд имен на его плане совпадают с названными Р. Сегал,

но появились и новые жильцы.) Двор дома в Старосадском переулке

Если Мандельштам шел со Старосадского переулка, то входил во двор (таким он был и тогда – пустым, без деревьев), проходил одноэтажное строение у дома слева, дворницкую (по воспоминаниям А.А. Мандельштама, дворник там в годы его сознательного детства уже не жил, а у Р. Сегал остались в памяти дворник «Финоген» и русская печь в его жилище – на Пасху в ней пекли куличи), и открывал дверь ближнего к Старосадскому переулку подъезда в левом крыле здания. (Чтобы избежать путаницы: левое крыло – если стоять в Старосадском переулке лицом к дому.) По просторной подъездной лестнице – сохранилась лепнина и лестничные решетки под поручнями – поэт поднимался к нужной ему квартире 3 во втором этаже дома (если не считать полуподвального). Входил в длинный коридор коммуналки, направо и налево от которого располагались комнаты. Одна из дверей налево вела в комнату брата. По этой лестнице Мандельштам поднимался к брату Александру

Таким образом, материальное положение «брата Шуры», как называл его Мандельштам, было весьма скромным. Нередко приходилось брать в долг. О небольших доходах свидетельствовала и обстановка комнаты, в которой Александр Эмильевич с Элеонорой Самойловной жили. Как вспоминал Александр Александрович Мандельштам, мебель была вся «приблудная», доставшаяся по случаю. Мебель не покупали. В комнате стояла кровать у одной стены, диван у другой, имелись фанерный шкаф, обеденный стол и большое кресло. В случае приезда из Ленинграда отца, Эмилия Вениаминовича, комнату перегораживали, и он проживал как бы «в своем углу». Н.

Мандельштам (слева), О. Мандельштам, Э. Гурвич. Снимок уличного фотографа

Декабрем 1928 года датировано первое упоминание квартиры брата Александра в летописи жизни и творчества Мандельштама в его четырехтомном собрании сочинений. (адрес в этом издании – д. 3, кв. 10 – по ошибке указан неверно) [158] . Возможно, Мандельштамы начали бывать у Александра Эмильевича несколько ранее. Элеонора Самойловна вспоминала: «До моего замужества встречи с Осипом были эпизодическими. В 1927 году, увидев его в одном из московских издательств, я сказала, что вышла замуж за Александра. "Я очень рад, очень рад", – сказал Ося и обеими руками сжал мне руку. Мы с Александром поселились в Старосадском переулке, и Осип с Надей, когда наезжали в Москву, жили у нас. Теснились мы все четверо в одной комнате большой коммунальной квартиры. Ося был очень нервозен, непрерывно курил, кричал "чаю! чаю!", занимал подолгу общий телефон, вызывая протесты соседей. Звонил в Союз писателей, В. Ставскому, требовал. Часто к нему заходили гости, бывала Ахматова, Эмма Герштейн» [159] . Уличный указатель издательства «Земля и фабрика». Ул. Варварка, 1920-е

Мандельштам признавал невольную вину в случившемся. Умысла не было, но был недосмотр. Однако Горнфельд не счел объяснения убедительными. 28 ноября 1928 года в ленинградской «Красной вечерней газете» появилось письмо Горнфельда, в котором он фактически обвинил Мандельштама в плагиате. Горнфельд убедительно указал на ряд дефектов в работе Мандельштама над книгой, но сравнение произошедшего с кражей чужого пальто, которое он позволил себе, характеризуя данный инцидент, было несправедливым и не могло не

оскорбить поэта. Мандельштам был публично обвинен в воровстве, которого не совершал. 12 декабря 1928 года в газете «Вечерняя Москва» Мандельштам ответил своим письмом на письмо Горнфельда. Поэт отверг обвинение в плагиате, но «признал нелепую, досадную оплошность (свою и издательства)». Осип Мандельштам. Конец 1920-х

(Попутно заметим: почему Мандельштам пишет «по бульварным кольцам» – во множественном числе? И в стихотворении «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...» 1931 года: «В черной оспе блаженствуют кольца бульваров...» Ведь бульварное кольцо в Москве одно. Представляется, что множественное число может идти от трамвайных путей, шедших с внутренней и внешней сторон бульварного кольца, – тем более что, по воспоминаниям московских старожилов, в частности краеведа Ю. Федосюка, на вагонах линии «А» были указатели «Бульварная» – имелась в виду линия. Причем нередко добавлялось «пр.» и «лев.» – «бульварная правая» или «бульварная левая». «А пр. Бульварная» некоторые «остроумцы» расшифровывали так: «Аннушка – проститутка бульварная». Колец, таким образом, получалось как бы два. Эта деталь городской жизни подтверждается московской открыткой, выпущенной ИЗОГИЗом в начале 1930-х годов, где мы отчетливо можем видеть на трамвае, сфотографированном у Камерного театра на Тверском бульваре, указатель стороны кольца рядом с большой буквой «А» [164] . Но, возможно, дело проще: ведь до тридцатых, до расширения, и Садовое кольцо действительно было садовым, перед многими домами еще шумели деревья в палисадниках, и Мандельштам, говоря о бульварных московских кольцах, мог иметь в виду оба столичных

зеленых пояса.) Вход в подъезд, где жил А.Э. Мандельштам

После «Четвертой прозы» и поездки на Кавказ (март – ноябрь 1930 года, Абхазия, Грузия, Армения) Мандельштам снова начал писать стихи, начался его новый творческий подъем. Целый ряд мандельштамовских стихотворений, наполненных тем самым «ворованным воздухом», о котором сказано в «Четвертой прозе», был создан в Старосадском переулке. В середине января 1931 года Мандельштамы возвращаются из Ленинграда, где они некоторое время находились после поездки на Кавказ, в Москву. Своего жилья у них не было; Осип Эмильевич поселяется у брата в Старосадском переулке, а Надежда Яковлевна – у своего брата, Е.Я. Хазина, в доме 6 на Страстном бульваре. Мандельштам привез с юга цикл стихотворений «Армения»; в третьей, мартовской книжке «Нового мира» цикл был напечатан. Начинается поэтическая работа непосредственно в Москве: в начале марта пишется стихотворение «Я скажу тебе с последней...», с его бесшабашной печалью и сарказмом, и создаются строгие, отразившие недобрые предчувствия и готовность к нелегкой судьбе стихи «Колют ресницы. В груди прикипела слеза...».

Я скажу тебе с последней

Прямотой:

Все лишь бредни, шерри-бренди,

Ангел мой.

Там, где эллину сияла

Красота,

Мне из черных дыр зияла

Срамота.  
Греки сбондили Елену  
По волнам,  
Ну а мне – соленой пеной  
По губам.  
По губам меня помажет  
Пустота,  
Строгий кукиш мне покажет  
Нищета.  
Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли,  
Все равно.  
Ангел Мэри, пей коктейли,  
Дуй вино!  
Я скажу тебе с последней  
Прямотой:  
Все лишь бредни, шерри-бренди,  
Ангел мой.

*2 марта 1931*

Очевидна связь стихотворения с «Пиром во время чумы» Пушкина («Спой, Мери...»). Столь же несомненна перекличка стихотворения с «Серенадой» П. Верлена; «ангел мой» – из «Серенады». Эллинизм, о котором когда-то писал поэт, очеловечение быта, «прививка» эллинского чувства красоты новому миру – все это не состоялось. Если в 1918 году в статье «Государство и ритм» было заявлено: «Над нами варварское небо, и все-таки мы эллины», то в стихотворении 1931 года с горечью го-

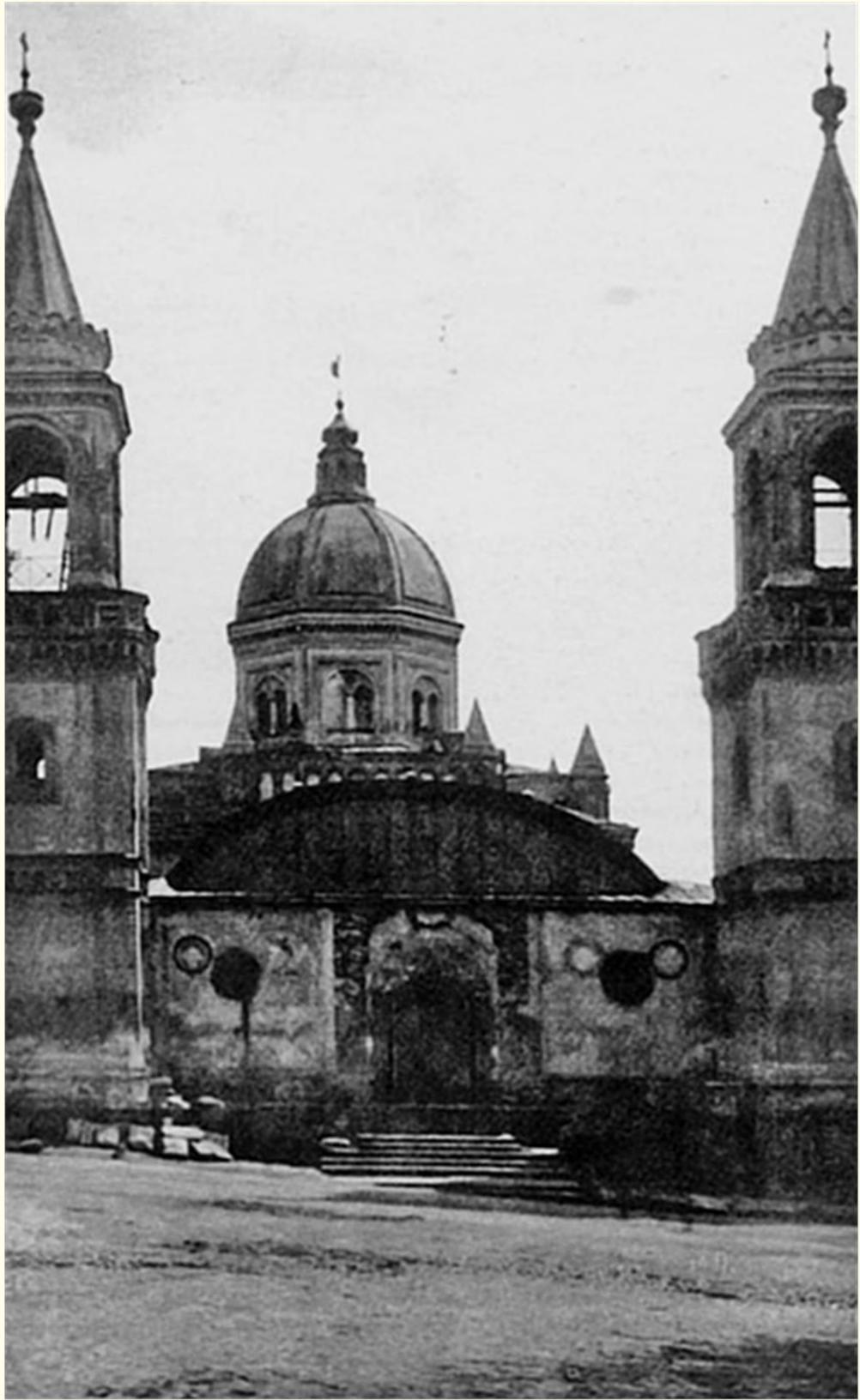
ворится противоположное. По свидетельству Н. Мандельштам, стихотворение было создано в служебной смотрительской комнате биолога Б.С. Кузина в Зоологическом музее, во время дружеской пирушки: «Написано во время попойки в "Зоомузее". Если грубо раскрыть: Елена – это "нежные европейки", "ангел Мэри" – я. (Пир во время чумы, а чума ощущалась полным ходом...) Сохранились беловики моей рукой. "Шерри-бренди" в смысле "чепуха" – старая шутка, еще из Финляндии, где жил с Каблуковым» [165] . Старосадский переулоч в 1920-е гг. У дома 8

«Нежные европейки» в комментарии Н. Мандельштам – петербургские красавицы, упомянутые в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан...» (1931), – об этих стихах речь будет ниже. С.П. Каблуков – секретарь петербургского Религиозно-философского общества, старший друг Мандельштама, с которым девятнадцатилетний поэт познакомился в 1910 году в Финляндии. В первой главе нашей книги цитировалась запись из дневника С. Каблукова об «эротических» стихах Мандельштама. В ряду произведений такого рода Каблуков называет в дневнике обращенное к Марине Цветаевой и завершающее роман с ней «Не веря воскресенья чуду...» (это стихотворение в первой главе было приведено), а также стихи «Я научился вам, блаженные слова...» и «Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне...», посвященные Саломее Андрониковой, и стихотворение «Камея» («Я потеряла нежную камею...»), адресованное Тинатине Джорджадзе – двум красавицам-аристократкам из круга «европейнок нежных». Относительно выражения «шерри-бренди»: нет оснований не доверять комментарию Н. Мандельштам. Однако не исключено, что актуализация интереса к знакомому выражению могла произойти в связи с прочтением повести Валентина

Катаева «Растратчики» (опубликована в 1926 году) или просмотром спектакля по «Растратчикам» (сам В. Катаев утверждал, что поэт подхватил это выражение на премьере спектакля по его произведению [166] ). Повесть вызвала сочувственный интерес у Мандельштама. В статье «Веер герцогини» (1928–1929) он именуется произведение Катаева «крупной вещью», хотя оно и не вызывает у него таких увлеченно-эмоциональных оценок, как «Три толстяка» Ю. Олеши («хрустально-прозрачная проза, насквозь пронизанная огнем революции, книга европейского масштаба») и «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова («брызжущий веселой злобой и молодостью... дышащий требовательной любовью к советской стране памфлет»). В катаевской повести, во всяком случае, выражение используется не раз и выступает в первую очередь в качестве обозначения «шикарной жизни», то есть жизни красивой и замечательной (и при этом утраченной), какой она представляется одному из героев книги Филиппу Степановичу: «"А после обеда – не угодно ли кофе... С ликерами... Шерри-бренди... Будьте любезны..." – болтал Филипп Степанович...» (бухгалтер Филипп Степанович зазывает кассира Ванечку к себе домой); «– И оч-чень приятно! – закричал он фаготом. – Прошу вас, господа! Суаре интим. Шерри-бренди... Месье и мадам... Угощаю всех...» (Филипп Степанович в Ленинграде, в «особняке» у жуликов, разыгрывающих высшее общество); «– Шерри-бренди, – произнес он, заплетаясь, – будьте любезны... Мадам...» (Филипп Степанович – Изабелле). Выражение «шерри-бренди» в «Растратчиках» сочетается с мыслью о бесшабашном разгуле, когда человек, пребывая в некоем фантастическом мире, забывает о всякой ответственности и последствиях – «пропади все пропадом, будь что будет!»: «– Что ж это ты, Ванечка, а? Плюнь на все, и

пойдем пить сорокаградусную водку. Положись на меня. Шерри-бренди, шато-икем... И в чем, собственно, дело? Жизнь прекрасна! Двенадцать тысяч на текущем счету, вилла в Финляндии... Лионский кредит... Вино и женщины, масса удовольствий...» [167]

В пользу предположения, что «шерри-бренди» из мандельштамовского стихотворения может иметь определенную не внешнюю, а тематическую связь с катаевской повестью, говорит, как нам представляется, то, что в обоих сочинениях доминирует мотив «растраты». Без сомнения, лирический герой Мандельштама понимает красоту и счастье иначе, чем Филипп Степанович. Однако ситуации подобны: все растрчено, и теперь осталось, «ангел Мэри», «пить коктейли» и «дуть вино». Причем «коктейли» в мандельштамовском стихотворении – столь же воображаемые, как и «вилла в Финляндии» в горячечных монологах Филиппа Степановича.



Бывший Ивановский монастырь. Вход в «отделение фабрично-заводской колонии при Госуправлении мест заключения». 1931

Следом за стихами о том, что все лишь «шерри-бренди», появляется стихотворение «Колют ресницы. В груди прикипела слеза...».

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.

Чую без страху, что будет, и будет – гроза.

Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.

Душно – и все-таки до смерти хочется жить.

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,

Дико и сонно еще озираясь вокруг,

Так вот бушлатник шершавую песню поет

В час, как полоской заря над острогом встает.

*4 марта 1931*

«Бушлатник» – заключенный. Дом 10 по Старосадскому переулку, в котором поэт поселился у брата, соседствует с Ивановским монастырем. В упраздненном монастыре находилась тогда тюрьма: «Экспериментально-пенитенциарное отделение при Госинституте по изучению преступности и преступника», а с 1930-го – и отделение фабрично-трудовой колонии при Государственном управлении мест заключения (по данным историка Л.А. Головковой). Собственно, «исправдом» был размещен в бывшем монастыре уже вскоре после революции. Уходя от «брата Шуры» или возвращаясь домой, Мандельштам многократно должен был проходить мимо этого учреждения. Не отразилось ли это обстоятельство в стихотворении, хотя московская тюрьма и не «острог»? «Тюрьма

прочно жила в нашем сознании», – пишет о людях своего поколения Н.Я. Мандельштам [168] . Окна комнат, где жили А.Г. Беккерман (левое) и А.Э. Мандельштам

Как создавались стихи в Старосадском переулке? На этот вопрос помогают ответить комментарии Н. Мандельштам к стихам 1930–1937 годов. «Первая московская группа стихов состоит из “Волчьего цикла”, нескольких “дразнилок” (“Ангел-Мэри”, “Александр Герцович” и “Я пью за военные астры...””) и стихов о концерте. <...> Стихи эти О.М. писал, живя в Старосадском у своего брата Шуры, в комнате, где находилось четверо – он, Шура с женой Лелей и их крошечный сын Шурик [169] . Ночью он в темноте, боясь к утру забыть стихи, записывал их на крошечных бумажках <...> Утром он приходил ко мне – к моему брату, – и я записывала ночные стихи» [170] . «Волчьим циклом» Н. Мандельштам называет группу стихотворений, центральное место в которой занимает «За гремучую доблесть грядущих веков...» (будет приведено ниже). В комнате Шуры всегда стоял шум. Узкая и длинная, она соседила с двумя такими же перенаселенными комнатами, где в одной брэнчал на рояле Александр Герцович, а в другой хлопотала заботливая еврейская старуха, опекавшая детей, внуков и соседей. Стихи начинались ночью, когда воцарялась “запрещенная тишь”. <...> Боясь, что за ночь он все забудет, как всегда забывались мелькнувшие во сне строчки, Мандельштам записывал их при свете ночника на клочках бумаги. Почти каждое утро он приносил мне кучку карандашных записей» [171] . «Запрещенная тишь» – цитата из стихотворения, написанного в Старосадском переулке в марте 1931 года.

После полуночи сердце ворует

Прямо из рук запрещенную тишь.

Тихо живет – хорошо озорует:

Любишь – не любишь – ни с чем не сравнишь...

Любишь – не любишь, поймешь – не поймаешь...

Не потому ль, как подкидыш, дрожишь,

Что пополуночи сердце пирует,

Взяв на прикус серебристую мышь?

«Мышь», несомненно, восходит к пушкинскому: «жизни мышья беготня...» и, очень вероятно, к статье М. А. Волошина «Аполлон и мышь». Ночью на какое-то время мышьяная беготня жизни прекращалась, и «уворованные» у времени минуты превращались в стихи. Ночные шорохи и шуршание звучат в прошивающих стихотворение «ш» и «ж». Внутренняя нервная дрожь сопровождает творческое возбуждение; но «дрожишь», как скупец, еще и над каждой драгоценной минутой свободной радостной работы (наконец-то никто не мешает). Эта свобода, как всякая свобода, подозрительна, статус поэта сомнителен и маргинален – как у подкидыша. Хорошо сознавая, что в его жизни наступил новый этап, что прошлое, еще в двадцатые годы бывшее не таким уж далеким, навсегда ушло, стало в полной мере прошлым, которое никогда не вернется, Мандельштам пишет – еще в феврале 1931-го, вскоре после переезда из Ленинграда в Москву и в начале «старосадского периода», – стихи, ставшие его прощанием с ушедшим миром, «окончательным расчетом отношений с Петербургом-Ленинградом», по словам М.Л. Гаспарова [172] .

С миром державным я был лишь ребячески связан,

Устриц боялся и на гвардейцев глядел исподлобья

—

И ни крупницей души я ему не обязан,  
Как я ни мучил себя по чужому подобию.  
С важностью глупой, насупившись, в митре бобро-  
вой

Я не стоял под египетским портиком банка,  
И над лимонной Невою под хруст сторублевый  
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.  
Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных  
Я убежал к nereидам на Черное море,  
И от красавиц тогдашних, от тех европейнок неж-  
ных,

Сколько я принял смущенья, надсады и горя!  
Так отчего ж до сих пор этот город довлеет  
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?  
Он от пожаров еще и морозов наглее,  
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.  
Не потому ль, что я видел на детской картинке  
Леди Годиву с распущенной рыжею гривой,  
Я повторяю еще про себя под сурдинку:  
Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива...

Отрекаясь от старого «державного» Петербурга (однажды в беседе, напомним, говоря об ушедшей в 1917 году России, Мандельштам сказал: «Ничего, ничего я там не оставил»), от его гвардейцев, устриц, тяжелого, буржуазного, «египетского» величия («египетская» тема еще откликнется в 1937-м, в стихотворении о Франсуа Вийоне: «Украшался отборной собачиной / Египтян госу-

дарственный стыд, / Мертвецов наделял всякой всячиной / И торчит пустячком пирамид»), отрекаясь от «блоковских» цыганок («лимонная Нева» вызывает в памяти: «Я послал тебе черную розу в бокале / Золотого, как небо, Аи»), отрекаясь от города, «знакомого до слез» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», 1930), Мандельштам, в сущности, вопреки всем заявленным отказам, признается Северной столице в любви. Ушел не только имперский город, но и ушло, подобно благородной красавице леди Годиве из стихотворения Альфреда Теннисона, неразрывно связанное с Петербургом тонкое и сложное цветение европейской культуры, ушла изысканная и нежная женская красота, ушло аристократическое благородство. Леди Годива олицетворяет здесь, несомненно, тот петербургский европеизм, к которому так тянулся мальчик Осип Мандельштам из родного дома, из отвергаемого им тогда «хаоса иудейского». Леди Годива – персонаж английской легенды, графиня – просила мужа снизить разорительные налоги, которыми он обложил своих подданных. Граф обещал сделать это только в том случае, если его супруга согласится проехать на коне обнаженной через весь город (Ковентри), то есть поставил заведомо невыполнимое условие. Попросив горожан в назначенный день закрыть ставни и не смотреть на улицу, леди Годива нагой проехала по городу, и графу ничего не оставалось, как исполнить обещание. «Распущенную рыжую гриву» леди Годивы можно видеть на бывшей очень популярной картине художника-прерафаэлиты Джона Колера (1898). Красота петербургских «европеянок нежных», их влекущее очарование не забыты и не могут быть забыты. Попрощавшись с прошлым, надо было определиться в настоящем. 17–28 марта 1931 года Ман-

дельштам пишет центральное стихотворение так называемого «волчьего цикла».

За гремучую доблесть грядущих веков,  
За высокое племя людей —  
Я лишился и чаши на пире отцов,  
И веселья, и чести своей.  
Мне на плечи кидается век-волкодав,  
Но не волк я по крови своей —  
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав  
Жаркой шубы сибирских степей,  
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,  
Ни кровавых костей в колесе,  
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы  
Мне в своей первобытной красе, —  
Уведи меня в ночь, где течет Енисей  
И сосна до звезды достает,  
Потому что не волк я по крови своей  
И меня только равный убьет.

В будущем обещаны «высокое племя людей» и «гремучая доблесть»; это высокий идеал, но определение «гремучая» имеет некий явно негативный оттенок: не говоря уже о том, что оно входит в сочетания «гремучая смесь» (взрывчатая смесь водорода с кислородом) и «гремучая змея», оно напоминает о погремушке: слишком много шума, слишком широковещательны обещания светлого будущего. Этот шум запечатлен в самом звучании первого стиха, в его ударных и безударных «у» и

ударных «о»: У – У (ju) – О – У – О. Как представляется, именно гудящее «у» и родство со словом «погремушка» обусловило выбор слова «гремучую» (а не «гремящую») – очень уж погремушечны рисуемые перспективы. Но тем не менее назад возврата нет, старый мир должен был рухнуть, страшный век-волкодав делает полезное дело – давит волков. Сложность и напряженность ситуации Мандельштама заключалась в том, что он не был «антисоветским» поэтом. Будь он им, ему, в известной мере, было бы проще. Напротив, он хотел найти свое место в новом мире, за который боролись поколения лучших людей России; нельзя предать «присягу чудную четвертому сословию / И клятвы крупные до слез» («1 января 1924»). Век-волкодав ошибается, кидаясь на него (отголосок травли в связи с делом о переводе «Тили Уленшпигеля»), поэт не волк и новой жизни не враждебен. С другой стороны, невозможно без отвращения и страха видеть «кровавые кости» в колесе современности, видеть насилие и ложь, заставляющие усомниться в доброкачественности нового мира. Отсюда – мотив бегства. Строки «Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, / Ни кровавых костей в колесе» (курсив мой. – Л.В.) корреспондируют, вероятно, со стихами Эдуарда Багрицкого (где речь идет о суровой необходимости уничтожать врагов революции): «Их нежные кости сосала грязь» («ТВС», 1929) – эта связь уже отмечалась исследователями. Первые два стиха третьего четверостишия в следующем, 1932 году отзовутся в «Стихах о русской поэзии» («И белок кровавый белки / Крутят в страшном колесе») и в одном из вариантов концовки стихотворения «О, как мы любим лицемерить...» («И не глядеть бы на изгибы / Людских страстей, людских забот»). Отмечены мощной

выразительностью и строки из черновых вариантов к этому стихотворению. Например:

Не табачною кровью газета плюет  
Не костяшками дева стучит  
Человеческий жаркий искривленный рот  
Негодует поет говорит —

Концовка стихотворения подбиралась долго: было «И во мне человек не умрет», был и вариант «И неправдой искривлен мой рот» – который выражал, очевидно, сознание «причастности к всеобщей Неправде и своей ответственности за нее» (М. Гаспаров) [177] . Только позднее, в середине 1930-х годов, в воронежской ссылке, поэт остановился на гордом, по сути, завершении: «И меня только равный убьет». Мелкие укусы литначальников не могли его уничтожить, он оказался им не по зубам. Не по зубам и «веку-волкодаву», зверь не равен человеку: текст дает возможность и для такого прочтения. Мотивы всеобщей лжи, бегства и личной вины развивают написанные также в марте стихи «Ночь на дворе. Барская лжа...» и жуткое стихотворение «Я с дымящей лучиной вхожу...» (4 апреля 1931).

Ночь на дворе. Барская лжа:  
После меня хоть потоп.  
Что же потом? Хрип горожан  
И толкотня в гардероб.  
Бал-маскарад. Век-волкодав.  
Так затверди ж назубок:  
Шапку в рукав, шапкой в рукав —

И да хранит тебя Бог!

Мандельштам неоднократно вступал в поэтический диалог с Б. Пастернаком. Литературовед Л.Я. Гинзбург в своих записях отмечала, что «Пастернак выражает сознание приемлющего интеллигента (как Мандельштам выражает сознание интеллигента в состоянии самозащиты)» [178]. В данном случае реакцию Мандельштама, по свидетельству его вдовы, вызвали строки из любовного стихотворения Пастернака «Красавица, моя вся статья...», в которых Мандельштам усмотрел уход от трагизма, стремление отрешиться от негативных фактов современности и «оправдать» действительность: «А в рифмах умирает рок, / И правдой входит в наш мирок / Миров разногласица. // И рифма не вторенье строк, / А гардеробный номерок, / Талон на место у колонн / В загробный гул корней и лон. // И в рифмах дышит та любовь, / Что тут с трудом выносятся, / Перед которой хмурят бровь / И морщат переносицу. // И рифма не вторенье строк, / Но вход и пропуск за порог, / Чтоб сдать, как плащ за бляшкою, / Болести тягость тяжкую, / Боязнь огласки и греха / За громкой бляшкою стиха» [179]. Но Пастернак ни о каком уходе от современности не пишет. Его стихи говорят о другом: в поэзии любовь предстает свободной, избавленной от власти рока и быта. Мы входим в театр, сдаем одежду в гардеробе и попадаем в другой, преображенный мир. Подобное преображение происходит с любовью в поэзии. Мнение Н. Мандельштам в данном случае не кажется достаточно убедительным, существенной смысловой связи между этими конкретными стихами Пастернака и Мандельштама не обнаруживается. Ничто, кроме упоминания гардероба, их не связывает. Как вообще мог Мандельштам знать стихотворение «Красавица моя, вся статья...», когда писал «Ночь на дворе...»? Пастернак пи-

шет свои стихи в апреле, а мандельштамовские созданы в марте. Но дело, видимо, несколько сложнее. Не исключено, что «Ночь на дворе...» могло быть непрямым откликом на прозу Пастернака «Охранная грамота» (1930–1931, Пастернак заканчивал работу над книгой в январе 1931 года) – на само ее название. Конечно, это лишь предположительно. Во всяком случае, Мандельштам не желает никаких «охранных грамот». Напротив, он хочет бежать от «бала-маскарада». Мандельштамовская запись о Пастернаке (очевидно, более поздняя, когда стихотворение «Красавица моя, вся статья...» уже было, думается, известно автору восьмистишия о «ночи на дворе») может быть откликом на «театральный» мотив «Красавицы...»: «К кому он обращается? К людям, которые никогда ничего не совершат. Как Тиртей перед боем, – а читатель его – тот послушает и побежит... в концерт...» (записи дневникового характера) [180]. В этой характеристике, во всяком случае, посещение «концертов» во время чумы связывается все же не прямо с Пастернаком, а с его читателями. Городская жизнь, столичный «бал-маскарад», с посещениями театров и, очевидно, другими развлечениями, показана Мандельштамом в его мартовском стихотворении неприязненно и отстраненно. «Горожанин» Мандельштам в данном случае пишет о горожанах с явным недоброжелательством, что может показаться странным, если не принять во внимание тот факт, что стихи написаны в период проведения коллективизации (через два года он напишет о горе, которое принес перелом в деревне, в стихотворении «Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым...»). С «балом-маскарадом» «во время чумы» поэт не хотел иметь ничего общего, но он не мог не чувствовать и свою вину за происшедшее (как «горожанин», как не пострадавший, как имеющий

какую-никакую, но крышу над головой, как молчащий о том, что делается). Неправда

Я с дымящей лучиной вхожу

К шестипалой неправде в избу:

– Дай-ка я на тебя погляжу —

Ведь лежать мне в сосновом гробу.

А она мне соленых грибков

Вынимает в горшке из-под нар,

А она из ребячьих пупков

Подает мне горячий отвар.

– Захочу, – говорит, – дам еще...

Ну а я не дышу, сам не рад...

Шасьт к порогу – куда там... В плечо

Уцепилась и тащит назад.

Вошь да глушь у нее, тишь да мша,

Полуспаленка, полутюрьма.

– Ничего, хороша, хороша...

Я сам ведь такой же, кума.

*4 апреля 1931*

О Сталине ходили слухи, что он шестипалый. Коллективизация с ее массовыми жертвами шла полным ходом, проводились и процессы «вредителей». Через два месяца, 6 июня 1931 года, Мандельштам напишет о Москве: «И казнями там имениты дни» (см. ниже). Бежать некуда, бегство иллюзорно. Мотив бегства, настойчиво повторяющийся в стихах Мандельштама этого пери-

ода, сопровождается осознанием нереальности, невоплотимости в жизнь этого стремления.

Нет, не спрятаться мне от великой муры

За извозчичью спину Москвы.

Я – трамвайная вишенка страшной поры

И не знаю, зачем я живу.

Мы поедem с тобою на «А» и на «Б»

Посмотреть, кто скорее умрет,

А она то сжимается, как воробей,

То растет, как воздушный пирог.

И едва успевает, грозит из угла —

«Ты как хочешь, а я не рискну!» —

У кого под перчаткой не хватит тепла,

Чтоб объехать всю курву-Москву.

Первые две строки этого апрельского стихотворения Мандельштама – спор со своими же стихами 1924 года: «Спина извозчика и снег на пол-аршина: / Чего тебе еще? Не тронут, не убьют» («1 января 1924»). Разница существенна и в том, что там речь шла о поездке на извозчике – в пролетке человек, во всяком случае, отделен от других, в некоторой степени скрыт; в трамвае он не один по определению, превращен в частицу толпы. Спрятаться за спиной Москвы от Москвы не получается. От грозящей Москвы не скрыться «трамвайной вишенке», по каким бы кольцевым маршрутам ни ездить. «Вишенка» – вероятно, от глагола «висеть»: переполненные трамваи нередко были увешаны людьми, как гроздьями (не говоря уже о том, что и внутри люди были притиснуты друг к другу, подобно вишням в банке). Страх и отчаянье нахо-

дят выражение как в описанном безвыходном круженье по Бульварному и Садовому кольцу, так и в неточных, «расшатанных» рифмах. Трамвай и пассажиры

Основное значение бранного слова «курва» – потаскуха, шлюха. Не исключено, что на столь резкое именование Москвы поэта могли натолкнуть трамвайные реалии: выше уже говорилось о том, как расшифровывали текст «А пр. Бульварная»; трамвайная линия Садового кольца – «Б» – также вызывала соответствующие ассоциации. Дополнительное важное значение слова «курва» – «предательница» (или «предатель»), человек, выдающий соучастников, подельников. Москве доверять нельзя. Герой стихотворения кружит по московским трамвайным кольцам вокруг страшней, предательской, пульсирующей (то растет, то съезживается), готовой его поглотить и в то же время влекущей его Москвы-курвы, от которой не скроешься, не убежишь. Эротические ассоциации (влечение-страх) здесь представляются очевидными. Несомненно также связь «курвы» из стихотворения с немецким "Kurve" («кривая, поворот») – эта связь, естественно, также зафиксирована Л. Городецким. Это значение соответствует круговому, криволинейному движению героя. От Москвы не спрячешься, ее не обманешь – «на кривой не объедешь». Представляется, что и этот фразеологизм содержится в подтексте. Оставалось единственное, что не изменило, что спасает и лечит, – творчество, искусство. В конце марта Мандельштам пишет стихотворение «Жил Александр Герцович...», чье «легкое дыхание» выделяет его среди стихов, исполненных мрачных предчувствий, тоски и страха.

Жил Александр Герцович,

Еврейский музыкант, —

Он Шуберта наворачивал,  
Как чистый бриллиант.  
И всласть, с утра до вечера,  
Затверженную вхруст,  
Одну сонату вечную  
Играл он наизусть...  
Что, Александр Герцович,  
На улице темно?  
Брось, Александр Сердцевич,  
Чего там! Все равно!  
Пускай там итальяночка,  
Покуда снег хрустит,  
На узеньких на саночках  
За Шубертом летит —  
Нам с музыкой-голубою  
Не страшно умереть,  
Там хоть вороньей шубою  
На вешалке висеть...  
Все, Александр Герцович,  
Заверчено давно,  
Брось, Александр Скерцович,  
Чего там! Все равно!

*27 марта 1931*

Дыхание у стихотворения легкое, а сущность трагическая. Веселая песня у отчаяния на краю. Пусть будет

что будет. По свидетельству С.И. Липкина, в стихотворении была еще одна строфа, которую Мандельштам исключил:

Он музыку приперчивал,

Как жаркое харчо.

Ах, Александр Герцович,

Чего же вам еще?

«Между тем, – пишет С. Липкин, – строфа говорит о характерной подробности быта. Музыканты из консерватории направлялись по короткому Газетному переулку до Тверской, в ресторан “Арагви”, помещавшийся тогда не там, где теперь, а в доме, отодвинутом во двор новопостроенного здания, брали одно лишь харчо, на второе блюдо денег им не хватало, но жаркое, острое харчо им наливали щедро, полную тарелку...» [187] Данная строфа не связана с Александром Беккерманом, она имела отношение к его брату-музыканту Григорию. Видимо, это могло быть одной из причин исключения данных строк – хотя, думается, не главной. Н.Я. Мандельштам упоминает «Жил Александр Герцович...» в ряду стихотворений, которые она называет «дразнилками». Определение надо понимать, видимо, в том смысле, что в этих стихах поэт заявляет: вопреки всем попыткам считать его «кончившимся», вопреки изматывающим разбирательствам и нападкам в связи с «делом о “Тиле”» он не подавлен, не уничтожен и не отказывается от своего пути и убеждений. В стихах об Александре Герцовиче поэт без излишнего пафоса, но твердо и, несмотря на грустные обертоны, весело высказал свое кредо: художник должен делать свое дело, что бы ни происходило. В этом его призвание и радость. В сущности, это одно из программных стихотворений Мандельштама, о серьезности содержания

которого свидетельствует, в частности, известная и несомненная переключка с лермонтовской «Молитвой»: «В минуту жизни трудную, / Теснится ль в сердце грусть, / Одну молитву чудную / Твержу я наизусть...» Дважды повторенное в стихотворении «Жил Александр Герцович...» «Все равно!» имеет другое значение, чем «Все равно» в стихах, обращенных к «ангелу Мэри» («Я скажу тебе с последней...»). Там говорилось, что все потеряно и утратило смысл («все лишь бредни, шерри-бренди...»); здесь речь идет о том, что, несмотря на все неудачи, главное не потеряно: пока живет в сердце «музыка-голуба», остальное – дело второстепенное. Умирать – так с музыкой. Отчество музыканта «Герцевич» или «Герцович» – от имени «Герц», которое напоминает немецкое "Herz" – «сердце», и звучание данной пары слов (Herz – сердце) господствует в фонетической ткани стихотворения: «Герцович», «еврейский», «наверчивал», «вечера», «затверженную», «Серцевич», «заверчено», «Скерцович».

Смысловая и ритмическая связь стихов об Александре Герцовиче с «Молитвой» Лермонтова не вызывает сомнений. Хочется отметить также возможную связь стихотворения Мандельштама с тютчевским «Так, в жизни есть мгновения...». Давно замечено (С.С. Аверинцевым и другими исследователями), что при анализе интертекстуальных связей у Мандельштама имеет смысл в большей степени ориентироваться на размер, чем на словесные аналогии. (Хотя принимать этот принцип в качестве обязательного во всех случаях догматического правила не стоит.) А «Жил Александр Герцович...» и тютчевское стихотворение не только ритмически близки и не только имеют смысловую связь (ведь и Мандельштам, и Тютчев пишут о самозабвении: первый – в искусстве, второй – в слиянии души с природой); кроме того, у них совпадают

в первом четверостишии полностью, а во втором наполовину ударные звуки в рифмующихся словах:

*Жил Александр Герцович,  
Еврейский музыкант, —  
Он Шуберта наворачивал,  
Как чистый бриллиант.  
И всласть, с утра до вечера,  
Затверженную вхруст,  
Одну сонату вечную  
Играл он наизусть...  
Так, в жизни есть мгновения —  
Их трудно передать,  
Они самозабвения  
Земного благодать.  
Шумят верхи древесные  
Высоко надо мной,  
И птицы лишь небесные  
Беседуют со мной [189].*

Для Мандельштама, «ученика» Тютчева и чрезвычайно чуткого и памятливого в звуковом отношении поэта, вряд ли это может быть чисто случайным совпадением. Добавим, что в обоих стихотворениях важная роль принадлежит звукосочетаниям «ер»/«ре» (+ «с»/«ц» у Мандельштама и + «в» у Тютчева), отражающим на фонетическом уровне ключевое значение слова «сердце» в «Алекサンドре Герцовиче» и слова «время» в тютчевских стихах.

Мандельштам пишет, что Александр Герцович играл одну сонату «вечную». Это уместно понять и как проникновение вечности во время, как момент вечности в обыденности. Но о том же – у Тютчева: он пишет о мгновениях «самозабвения», ухода из-под власти времени – «мгновения» из первой строки противостоят времени из последней: «О время, погоди!» (мотив, конечно, гетевский, фаустовский).

Еще одну возможную связь «Александра Герцовича» можно предположить – с «Затворницей» («В одной знакомой улице...») Я. Полонского. Как и в случае с тютчевскими стихами, здесь не может быть точных доказательств. И тем не менее позволим себе эту гипотезу. Напомним стихотворение Полонского:

### Затворница

*В одной знакомой улице —*

*Я помню старый дом,*

*С высокой, темной лестницей,*

*С завешенным окном.*

*Там огонек, как звездочка,*

*До полночи светил,*

*И ветер занавескою*

*Тихонько шевелил.*

*Никто не знал, какая там*

*Затворница жила,*

*Какая сила тайная*

*Меня туда влекла,*

*И что за чудо-девушка*

*В заветный час ночной*

*Меня встречала, бледная,  
С распущенной косой.  
Какие речи детские  
Она твердила мне:  
О жизни неизведанной,  
О дальней стороне.  
Как не по-детски пламенно,  
Прильнув к устам моим,  
Она дрожа шептала мне:  
«Послушай, убежим!  
Мы будем птицы вольные —  
Забудем гордый свет...  
Где нет людей прощающих,  
Туда возврата нет...»  
И тихо слезы капали —  
И поцелуй звучал —  
И ветер занавескою  
Тревожно колыхал [190] .*

«Затворница» была весьма известным в XIX – начале XX века городским романсом, причем пели его разные социальные группы (народники, каторжане и ссыльные, студенты, просто мещане). В конце 1920-х годов она еще сохраняла популярность – не случайно Маяковский обыграл этот романс в «Клопе», где Присыпкин поет под гитару:

*На Луначарской улице  
я помню старый дом —  
с широкой чудной лестницей,*

Между тем «Жил Александр Герцович...» явно напоминает городской романс: «Жил...» – балладный зачин (ср.: «Затворница жила» и «Жил-был король когда-то...» и т. п.); «Он Шуберта наворачивал, / Как чистый бриллиант» – лексика уличного романса. Кроме того, в «Затворнице» Полонского девушка «твердила» возлюбленному: «Послушай, убежим!» Очень заманчивая мысль для Мандельштама этой поры. Он пишет «Александра Герцовича» 27 марта 1931 года, и в это же время, с 17 по 28 марта, создается «За гремучую доблесть грядущих веков...», где сказано: «Запихай меня лучше, как шапку, в рукав / Жаркой шубы сибирских степей...» Другое дело, что бежать некуда и недостойно.

Е.П. Сошкин в своем подробном анализе стихотворения указывает на очень вероятную связь «Александра Герцовича» со стихотворением Софьи Парнок «Налей мне, друг, искристого...» (1925) [192].

Имя «Александр» вводит в мандельштамовское стихотворение высокий, пушкинский контекст, и от «Александра Сердцевича» не так уж далеко, как это ни парадоксально звучит, до «Александра Сергеевича». Мандельштама, вероятно, иногда раздражала бесконечная музыка за стеной, но сосед-музыкант – собрат по искусству, и поэт обращается к нему как к товарищу. Не всем дается слава, и слава – не главное (четверостишие об «итальяночке» отсылает, очевидно, к прославленной итальянской певице Анджолине Бозио, скончавшейся в Петербурге в 1859 году, – Мандельштам собирался написать о ней повесть «Смерть Бозио»; в стихах о неизвестном еврейском музыканте «итальяночка» – олицетворение славы). Мандельштам отнюдь не был равнодушен к

славе, к известности, но если не оставило творчество, не покинуло искусство, то не только отсутствие славы, но и бесславье можно принять и пережить. Об этом – в четверостишии о «вороньей шубе». Отметим, что это единственное место в стихотворении, где автор напрямую объединяет себя с героем («Нам с музыкой-голубою / Не страшно умереть...»), здесь звучит непосредственно личная нота – отголосок истории с переводом «Тилия Уленшпигеля»: «воронья шуба» восходит к упомянутому выше письму А. Горнфельда в «Красной вечерней газете», в котором он обвинил Мандельштама в моральной нечистоплотности и сравнил его поступок с кражей пальто.

Что означает эта «воронья шуба»? Как понять мандельштамовский образ?

Шуба – один из важных, повторяющихся и неоднозначных образов у Мандельштама. Добротная шуба, в частности, – атрибут признанных литераторов. И даже дело не столько в признанности, сколько в том, что они «свои» в своей русской литературе. Шуба в данном контексте – знак избранности, нередко трагической, но избранности. «Литература века была родовита. Дом ее был полная чаша. За широким раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Скинув шубу, с мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали проходящим о самолюбии, дружбе и смерти» («Шум времени»).

Но Мандельштам не входил в русскую литературу как «свой». Напротив, у целого ряда литераторов символистского круга «претензия» этого еврея быть русским поэтом встретила иронически-враждебное отношение. Что такое, в самом деле, «Осип Мандельштам»? Само это имя – воплощенный курьез: гоголевски-простонародное «Осип» (наивно замаскированный под русского Иосиф) и

звучно-раввинское «Мандельштам»... Некий странный субъект.

Мандельштам уже в молодости, как говорилось, получил репутацию непредсказуемого чудака; многие воспринимали его как полуюродивого. Молва, как ни странно, оказалась во многом права – в наиболее важные, узловые моменты жизни Мандельштам не раз вел себя именно подобно русским юродивым, в свою очередь продолжившим на Руси древнееврейскую пророчески-обличительную традицию: публичное чтение антисталинских стихов – а, судя по воспоминаниям, поэт читал их далеко не только близким людям – вполне может быть поставлено в один ряд с упреками юродивых в отношении великих князей и царей и заставляет вспомнить поведение Николки из «Бориса Годунова». Имя Мандельштама со временем обросло анекдотами и сплетнями. Одна из них (ничем не подтвержденная) – о совершенной им во времена богемной молодости краже шубы у какого-то зубного врача (см. опубликованное О.А. Лекмановым письмо А. Киппена А. Горнфельду) [193] . Некогда эта болтовня могла быть поэту почти безразлична. Теперь дело принимало очень серьезный оборот.

А.Г. Горнфельд в своем письме в «Красной вечерней газете» задел Мандельштама очень чувствительно – вероятно, не подозревая, как точно он затронул один из важных, повторяющихся образов поэта. Неслучайно Мандельштам выбрал именно это раздражающее место из письма Горнфельда в качестве эпиграфа к своему ответу в «Вечерней Москве». «Когда, бродя по толчку, – писал Горнфельд, – я вижу, хотя и в переделанном виде, пальто, вчера унесенное из моей прихожей, я вправе заявить: “А ведь пальто-то краденое”». Подчеркнем, что, хотя Горнфельд сравнивал произошедшее с кражей пальто,

Мандельштам в ответной публикации пишет именно о шубе: «Оставляя на совести Горнфельда тон и выпады его письма с попытками изобразить дело в уголовном разрезе и с упоминаниями о “толчках” и “шубах”... <...> ...Я, русский поэт и литератор, подъявший за двадцать лет гору самостоятельного труда, спрашиваю литературного критика Горнфельда, как мог он унизиться до своей фразы о “шубе”?».

«Скорняк драгоценных мехов», «едва не задохнувшийся от литературной пушнины» (имеется в виду, конечно, труд переводчика), Мандельштам отказывается от «литературной шубы» – он хочет быть отщепенцем, маргиналом: таким он начинал свой путь поэта, таким он хочет остаться: «Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами» («Четвертая проза»).

Но, отделавшись от шубы «признанного» писателя, поэт видит самого себя превращенным в шубу – воронью. Попробуем понять этот странный образ.

«На вешалке висеть» – не висеть ли на виселице, стать вороньим кормом? Жуткий образ, даже слишком мрачный для тональности «Александра Герцовича». Но подтекст объясняет эту сгущенную мрачность – думается, источником могла быть «Эпитафия (баллада повешенных)» Франсуа Вийона.

Сравним процитированное четверостишие из «Александра Герцовича» с вийоновским оригиналом:

*La pluie nous a débués et lavés,  
Et le soleil desséchés et noircis;  
Pies, corbeaux, nous ont les yeux  
cavés,  
Et arraché le barbe et les sourcils.*

*Jamais nul temps nous ne  
sommes assis;  
Puis за, puis la, comme le vent  
varie... [194]*

В переводе Алексея Парина:

*Нас раздувала влага дождевая,  
Мы ржавели под солнцем,  
словно жечь,  
Нам бороды рвала воронья стая  
И силилась глазницы нам  
проесть.  
Нельзя вовеки нам ни встать,  
ни сесть —  
Качаемся круженью ветра в  
лад... [195]*

Воронье выклевывает у повешенных глаза, выдирает волосы из бороды и бровей; тела раскачивает ветер – все это, вероятно, могло быть суммировано в двух строках Мандельштама о «вороньей шубе» и «вешалке».

И в 1920-е, и в 1930-е годы Мандельштам периодически колебался между попытками идти со всеми в ногу, жить «дыша и большевея», и очередным возвратом к принятию отщепенства, признанием правоты противостояния. В последнем случае в сознании поэта всякий раз закономерно возникал «несравненный Виллон Франсуа» – Мандельштам несомненно соотносил свою судьбу, свое положение в мире и литературе с вийоновскими. Неслучайно же он сказал как-то одному из своих собеседников: «Сейчас надо виллонить».

Не исключена и контаминация вийоновской картины с шубертовской песней "Die Krähe" («Ворона») из цикла

“Die Winterreise”, «Зимний путь». (Вспомним, что именно Шуберта «наверчивает» «с утра до вечера» Александр Герцович.) На эту связь указал Г. Фрейдин [196]. В самом деле (стихи Вильгельма Мюллера): “Eine Krähe war mit mir / Aus der Stadt gezogen. / Ist bis heute für und für / Um mein Haupt geflogen”. («Ворона вылетела за мной из города и до сего дня все летает вокруг моей головы»; нельзя не вспомнить о русской песне «Черный ворон, что ты вьешься над моею головой?..») И далее: “Krähe, wunderliches Tier, / Willst mich nicht verlassen? / Meinst wohl, bald als Beute hier / Meinen Leib zu fassen?” («Ворона, странное существо, не хочешь меня покинуть? Думаешь, вскоре здесь мое тело станет твоей добычей?») В заключительном четверостишии говорится, что кончина путника действительно близка, недолго ему еще идти с его странническим посохом (Wanderstab). «Посох странника» из песни Шуберта перекликается с фамилией поэта (Мандельштам – «миндальный ствол»). Поэт к таким переключкам был очень чуток.

Лермонтов, Вийон, Шуберт, возможно, Тютчев... Уместно вспомнить характеристику, которую Мандельштам дал в «Письме о русской поэзии» Иннокентию Анненскому и которая применима к нему самому уж никак не в меньшей мере: «...весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя статья».

И все же мало вяжется вийоновская картина усеявшего тела повешенных воронья с печально-отчаянным, но все же светлым тоном «Александра Герцовича».

Далее. «Воронья» шуба – шуба ворованная; ворона – птица вороватая. Карканье ворон принято сравнивать с клеветой (ср. в мандельштамовском «Открытом письме советским писателям», которое он написал в начале 1930

года в связи с делом о переводе «Тиля»: «Спасибо, товарищи, за обезьяний процесс. А ну-ка поставим в дискуссионном порядке, кто из нас вор... Выходи, кто следующий!.. Но меня на этом вороньем празднике не будет»). Обвинение в литературном воровстве прилипло к поэту, он не мог от него избавиться; само слово «вор» настойчиво звучит в тексте его письма «советским писателям» – выделим искомое прописными буквами: «...это злостный удар по работнику, это сВОРачиванье ему шеи – не на жизнь, а на смерть, где все средства хороши, где все пути дозволены: клевета, лжесвидетельство, крючкотВОРство, фельетонная передержка, где все для безнаказанности сдобрено разгоВОРчиками о “писательской этике”, – это одно из бесчисленных дел, когда неугодного работника снимают с поля деятельности бесчестными способами...». А слова «вор» и «ворона» очевидно перекликаются.

На «воронью» образность Мандельштама могла натолкнуть и фамилия одного из переводчиков, с которыми он оказался в конфликте: Карякин – похоже на «карк». В отрывочной черновой записи Мандельштама дневникового характера В. Карякин представлен распугивающим воробьев (в квадратных скобках – вариант в записи): «При каждом движении Карякина – [должны были вспархивать с говорком и щебетом] разлетались воробьи. Кто он такой? Огородное пугало?» [197] .

О переводчике Василии Никитиче Карякине (1872–1938) известно немного. Книга «Уленшпигель» Шарля де Костера вышла в его переводе в 1916 году. Переводил он и других авторов. Наряду с другими литераторами он подписался под приветственным адресом А.М. Горькому от членов и гостей московского Дворца Искусств (27 марта 1919 года). В 1920-е годы Карякин

жил в Москве, работал в Московском коммунальном музее (предшественник Музея истории Москвы) и преподавал русский язык на «рабфаке Института имени Ломоносова». Жил на улице Спиридоновка, д. 27, кв. 1. Эти сведения содержатся в справочниках «Вся Москва» за 1923–1930-е годы.

Карякин в мандельштамовской записи соотносится с пугалом, разгоняющим воробьев. Между тем в слове «воробей» ясно слышится «вора бей» (народная этимология); именно так воспринимал Мандельштам позицию своих противников, выставивших его в качестве литературного вора. К воробьям, маленьким московским жителям, давшим название столичным холмам, Мандельштам относится, как уже говорилось, с симпатией: в приводимом ниже стихотворении «Еще далеко мне до патриарха...»: «Я к воробьям пойду и к репортерам...» В связи с тем, как воспринимал Мандельштам свое «дело», возможно, не лишним будет вспомнить и нередкое в «народной» речи сравнение воробьев с «жидами». (Не должно смущать упоминание воробья в связи с угрожающей Москвой в стихотворении «Нет, не спрятаться мне от великой мур...»: да, этот город способен становиться и маленьким, съезживаться, сохраняя при этом свою потенциально опасную сущность.)

Вот эта тема «воровства» представляется ключевой для понимания. Украдена якобы «шуба писателя», и вот теперь эти «разрешенные писатели» рады случаю наброситься на него – так воспринял Мандельштам возникшую коллизию. Действительно, Мандельштам, со своей богемностью, неряшливостью, импульсивными реакциями, искренностью (он нередко мог высказаться «против шерсти»), должен был раздражать и раздражал многих. А тут представился повод «все припомнить». Как следствие та-

ким образом воспринятой и пережитой ситуации – отказ в «Четвертой прозе» иметь что-либо общее с «писателями», с их холопской литературой, противопоставление им себя как «иудея». (Мандельштам видел в своем «деле», еще раз отметим, и нечто «дрейфусовское». Из «Четвертой прозы»: «Я один в России работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет». «Густопсовый» – «низкопробный», «отталкивающий», «махровый», «ретроградный», «закоренелый»; надо, безусловно, принять во внимание распространенное в начале XX века выражение «густопсовый черносотенец» – антисемит. Парадоксальным образом у Мандельштама в «Четвертой прозе» «иудейское» противопоставлено «еврейскому». Это, конечно, объясняется тем, что среди «разрешенных» литераторов было немало евреев. О данной особенности «Четвертой прозы» писал Е.А. Тоддес.)

Уход из «литературы» – но куда? И здесь еврейская тема поворачивается еще одной гранью. Место уже готово, заявляет Мандельштам: дело «жидка» – «пиликать», музыку «наверчивать» «как чистый бриллиант» (совершенно жаргонная формулировка). Неслучайно, напомним, музыковед Б.А. Кац пишет о возможной связи интересующего нас стихотворения Мандельштама с еврейской песенкой «Идл мит а фидл» [198]. Александр Герцович воспринимается как собрат по искусству и судьбе. Речь, естественно, не о том, чтобы стать музыкантом, а о том, чтобы осознать и принять свое место – уйти из ненавистной «литературы». Занять позицию, в которой сознание литературного маргинала сочетается с вернувшимся осознанием национальной отчужденности. Но если понять таким образом «воронью шубу», то, видимо, никуда не уйти от всем известной басни Крылова о вороне, напялившей павлиньи перья. Крыловская ворона была павами

«ощипана кругом». Очевидно, самый прямой и «простой» путь понимания и в данном случае, как нередко бывает, верен: «Я срываю с себя литературную шубу...» – сбрасываю с себя чужие литературные павлиньи перья. «Какой я к черту писатель!» («Четвертая проза»).

А. Горнфельд и В. Карякин, по мнению Мандельштама, втравили его в скандальную историю, соединили его имя с чем-то подобным воровству. Это могло навсегда прилипнуть к имени. Мандельштам понимал, несомненно, что уйдет он из литературы или не уйдет, имя его в русской поэзии уже останется, не канет в Лету. «Там хоть вороньей шубою / На вешалке висеть» – остаться после смерти в таком образе «на вешалке» людской памяти, с клеймом плагиатора. Но даже это можно пережить «с музыкой-голубою».

С музыкой, с радостью творчества, несмотря на позор, даже и посмертный, можно жить, быть счастливым и умирать с возгласом: «Чего там! Все равно!» В четверостишии из «Александра Герцовича» выражены чувства, подобные – при всей разности ситуаций – тем, которые владеют в «Войне и мире» Николаем Ростовым, когда он, после карточного проигрыша Долохову, слушает поющую сестру Наташу и испытывает, несмотря на ужасное положение и измену честному слову, данного им отцу, счастье «наслаждения от музыки».

И даже не столь уж важно, печатают или не печатают.

Именно тут, в доме в Старосадском переулке, Мандельштам выгнал стихотворца, жаловавшегося на то, что его не публикуют. С.И. Липкин пишет о своем первом приходе к Мандельштаму в Старосадский:

«В широкой парадной было не очень светло, но я довольно ясно увидел человека лет тридцати, спускавшегося по лестнице мне навстречу. В руке он держал толстый портфель. Человек был явно чем-то напуган. Сверху низвергался высокий, звонко дрожащий голос Мандельштама:

– А Будда печатался? А Иисус Христос печатался?

Вот что произошло до моего прихода. Посетитель принес Мандельштаму свои стихи. Это была, по словам Мандельштама, обычная, довольно интеллигентная дребедень, с которой к Мандельштаму иногда приходили надоедать. Мандельштам рассердился на неудачного стихотворца еще и по той причине, что в этом виршеплетении была фронда, Мандельштам этого не выносил, во-первых, потому, что опасался провокации, а во-вторых – и это главное, – он считал, что поэзия не возникает там, где идут наперекор газете, как равно и там, где тупо следуют за газетой. Неумный автор стал жаловаться на то, что его не печатают, Мандельштам вышел из себя, он сам печатался с большим трудом, крайне редко, и выгнал посетителя. Когда я поднялся на указанный мне этаж, Мандельштама уже у перил не было (а я снизу видел, как он над ними, крича, наклонялся чуть ли не до пояса)...

Через много-много лет я рассказал о происшествии с Буддой и Христом Ахматовой. Анна Андреевна весело рассмеялась:

– Узнаю Осю.

Мандельштам успокоился не сразу.

– И почему вы все придаете такое значение станку Гутенберга? – характерным для него певучим и торже-

ственным, при беззубом рте, голосом укорял он меня...»  
[199] .

Искусство живет страстью; там, где ее нет, – ничего нет. Об этом – написанное 16 апреля 1931 года стихотворение «Рояль».

*Как парламент, жующий  
фронду,  
Вяло дышит огромный зал,  
Не идет Гора на Жиронду  
И не крепнет сословий вал.  
Оскорбленный и оскорбитель,  
Не звучит рояль-Голиаф,  
Звуколюбец, душемутитель,  
Мирабо фортепьянных прав.  
– Разве руки мои – кувалды?  
Десять пальцев – мой табунок!  
И вскочил, отряхая фалды,  
Мастер Генрих –  
конек-горбунок.  
Чтобы в мире стало  
просторней,  
Ради сложности мировой,  
Не втирайте в клавиши корень  
Сладковатой груши земной.  
Чтоб смолою соната джина  
Проступила из позвонков,  
Нюрнбергская есть пружина,  
Выпрямляющая мертвецов.*

Поводом для написания стихотворения послужило неудачное выступление Г.Г. Нейгауза. Недовольный своей игрой, музыкант прервал концерт. Искусство подобно революционному взрыву; если нет настоящего напряжения, порыва, незачем продолжать, и прав мастер, прервавший исполнение. В одном из списков между строфами 3 и 4 содержится еще одно четверостишие:

*Не прелюды он и не вальсы  
И не Листа листал листы,  
В нем росли и переливались  
Волны внутренней правоты.*

«Чтобы в музыке стало просторней для мировой сложности, – комментирует стихотворение М.Л. Гаспаров, – нужно не требовать от мастера простоты (руки-кувалды) и элементарной пользы (сладковатой груши земной – топинамбур, усиленно насаждавшийся в то время; у О.М. он вызывал отвращение)...» [200] . «Душемутитель»-рояль отсылает к стихотворению Е.А. Боратынского «Подражателям»: «Не напряженного мечтанья / Огнем услужливым согрет – / Постигнул таинства страданья / Душемутительный поэт. // В борьбе с тяжелою судьбою / Познал он меру вышних сил, / Сердечных судорог ценою / Он выраженье их купил» [201] . О «терпком терпенье смолы» писал Б. Пастернак в стихотворении «Лето», которое вызвало отклик Мандельштама (см. ниже); настоящее искусство подобно смоле – оно выражает самую суть своего времени, проступает «из позвонков». Только при полной самоотдаче искусство может «выпрямить души, как могила выпрямляет горбатые тела, а пружина – нюрнбергские игрушки» (М. Гаспаров) [202] .

Предпринимались и другие попытки трактовать образы финальной строфы. В Нюрнберге, городе искусных

мастеров, делали часы; считается, что там были произведены первые карманные часы – «двигателем» в них служила именно пружина. Использовали пружины в своих механизмах и нюрнбергские оружейники. Таким образом, Нюрнберг – это город, ассоциирующийся с пружинными устройствами. В стихах Мандельштама, очень вероятно, имеется в виду устройство рояльной клавиатуры – имеется в виду репетиционная пружина (таково квалифицированное мнение А. Фэвр-Дюпэгр). Так или иначе, вопрос о «сонате джина» остается открытым.

Итогом раздумий о месте поэта в мире, о своем месте в жизни стало для Мандельштама в этот период стихотворение «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...», написанное 3 мая 1931 года:

*Сохрани мою речь навсегда за  
привкус несчастья и дыма,*

*За смолу кругового терпенья, за  
совестный деготь труда.*

*Так вода в новгородских  
колодцах должна быть черна и  
сладима,*

*Чтобы в ней к Рождеству  
отразилась семья плавниками  
звезда.*

*И за это, отец мой, мой друг и  
помощник мой грубый,*

*Я – непризнанный брат,  
отщепенец в народной семье —*

*Обещаю построить такие  
дремучие срубы,*

*Чтобы в них татарва опускала  
князей на бадье.*

*Лишь бы только любили меня  
эти мерзлые плахи —  
Как, прицелясь насме2рть,  
городки зашибают в саду, —  
Я за это всю жизнь прохожу  
хоть в железной рубахе  
И для казни петровской в лесах  
топорище найду.*

«Смола кругового терпенья» устанавливает связь с пастернаковским «Летом» (1930) и его пушкинской темой «залога бессмертья», — отмечает О. Ронен (Борис Пастернак пишет в «Лете» о «терпком терпенье смолы») [203]. В полном соответствии с демократическими традициями русской литературы Мандельштам утверждает, что его место — среди тех, кто несчастлив и беден, чей удел — труд и терпенье. «Привкус несчастья» напоминает о его стихотворении 1921 года «Люблю под сводами седья тишины...», где сказано с той же твердой убежденностью: «...несчастья волчий след, / Ему ж вовеки не изменим». «Дым» в стихах Мандельштама сопутствует представлению о бедности и, очевидно, связан с темой России через выражение «дым отечества» с его ассоциациями. «Круговое» (терпенье) — несомненно, «общее», «народное», «мирское», выражающее прочную связь с другими. С другой стороны, «смола... терпенья» характеризует работу художника, творца. Подобно тому как дерево незаметно и медленно, но неуклонно выполняет свою биологическую работу (еще раз вспомним пастернаковское «терпенье смолы»), накапливает и выделяет по капле смолу — так образуются, в частности, ценные смолы — ладан, мирра и другие, надо упомянуть и янтарь, — так и художник должен терпеливо и настойчиво следовать своему пути, своему предназначению. Характеризуя свой труд

как «совестный», Мандельштам еще раз, с вполне понятной настойчивостью (не забудем о скандале вокруг издания «Тилия Уленшпигеля»), заявляет о доброкачественности своей литературной работы, о своем честном литературном имени. Ср. с «Открытым письмом советским писателям» (начало 1930-го): «Я <...> труженик, чернорабочий слова, переводчик. Я чернорабочий, и глыбы книг ворочал своими руками».

К кому обращен призыв поэта сохранить его речь? Думается, что адресатом в первую очередь является русский язык, в который, как надеется автор стихотворения, его слово войдет навсегда, став неотъемлемой частью общей речи. Можно считать адресатом и народ, тут нет существенного противоречия, тем более что, по мнению Мандельштама, связь между языком и историческим бытием народа в России особенно тесна – язык является высшим проявлением народного духа: «Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полнотою бытия, представляющей только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни. <...> Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка» («О природе слова»). И все же обращение к народу со словами «отец мой» и «мой друг» кажется менее вероятным, менее естественным, чем к языку. Не должно смущать, что язык – «помощник... грубый». Это «грубый», думается, – вовсе не отрицательная характеристика. Грубый – природный, необработанный, изначальный: живой, но необработанный материал. Как камень в скульптуре. Обозначена диалектика помощи и сопротивления языкового материала.

Слово «сладима» применительно к воде новгородских колодцев имеет в стихотворении, помимо значения «вкусная», и иное смысловое наполнение. В.И. Даль в своем словаре упоминает, наряду с другими значениями прилагательного «сладимый» («сладкий», «солодковатый», «успокаивающий», «приятный», «располагающий к неге» и др.), также и ласкательное: «сладимый ты мой» – «милый», влекущий (близко к значению слова «любезный»). Новгородские колодцы стоят в стихотворении в одном ряду с петровскими казнями и по ассоциации заставляют вспомнить о разгроме северного вольного города Иваном Грозным; но колодезная вода должна быть чиста и глубока («черна»), чтобы отразить возвещающую надежду на спасение и вечную жизнь рождественскую звезду. «Сладима» рифмуется с «дыма» – это вода правды, живая вода с горьким привкусом «несчастья и дыма». Это вода, без которой нельзя жить, насущная, как хлеб. «Непризнанный брат» и «отщепенец» надеется, что его речь будет так же чиста и любезна народу (ср. пушкинское: «буду тем любезен я народу»), как жизненно-потребна, «сладима» чистая вода.

«Дремучие срубы» из второй строфы соответствуют, в определенной мере, новгородским колодцам из первой. Но какие, собственно, срубы имеются в виду? Д.И. Черашняя и И.З. Сурат обоснованно полагают, что речь идет о древнерусских ямах-тюрьмах, стены которых укреплялись бревнами. Д. Черашняя указала и источник мандельштамовского образа: «Житие протопопа Аввакума». Действительно, мы встречаем упоминание земляных тюрем у Аввакума: «После тово вскоре схватав Никон Даниила, в монастыре за Тверскими вороты, при царе остриг голову и, содрав однорятку, ругав отвел в Чюдов, в хлебню, и, муча много, сослал в Астрахань. Возложа на

главу там ему венец тернов, в земляной тюрьме и уморили. <...> Посем привели нас к плахе и прочитали наказ: "Изволил-де государь и бояря приговорили, тебя, Аввакума, вместо смертные казни учинить струб в землю и, сделав окошко, давать хлеб и воду, а прочим товарищам резать без милости языки и сечь руки" [204] . <...> Таже осыпали нас землею. Струб в земле, и паки около земли другой струб, и паки около всех общая ограда за четырьмя замками; стражие же десятеро с человеком стрежаху темницу» [205] . Однако возникает вопрос: зачем опускать князей в сруб на бадье? Проще использовать лестницу, а затем ее вынуть. Бадьи, как указано в словаре Даля, использовались для подъема воды из колодцев, руды из шахт. Да и зачем «татарве» содержать князей в тюрьме? Набегавшим на Русь кочевникам это не требовалось. Имело смысл убить или увести в полон, но никак не заниматься устройством земляных тюрем. Соединяя «срубы» и «бадью», Мандельштам создает некий сюрреалистический образ, в котором земляная тюрьма объединяется то ли с колодцем, то ли с шахтой. И здесь неизбежно возникает аналогия с убийством царской семьи, с теми страшными шахтами, в которые были сброшены члены дома Романовых. (Об этом писал О. Ронен.) «Татарва» здесь, конечно, – олицетворение низовой, оставшейся полуязыческой многонациональной России, которая «затерялась... в Мордве и Чуди» (Есенин) и чьи «очи татарские мечут огни» (Блок). В «татарве» воплощается двойственная по своей сути стихийная сила: в ней, с одной стороны, – залог жизненности народа, с другой – она по сути анархична, антикультурна и склонна к разрушению.

Увлеченный в юности эсеровско-народническими идеями, восходящими во многом к славянофилам, Ман-

дельштам на всю жизнь сохранил представление о народной правде, которой нельзя изменить, которую надо принять, как бы страшно это временами ни казалось. Еще в 1913 году Мандельштам, напомним, писал: «Россия, ты – на камне и крови – / Участвовать в твоей железной каре / Хоть тяжестью меня благослови!» («Заснула чернь. Зияет площадь аркой...»); в 1918-м он, в полной мере сознавая трагизм происходившего, воскликнул: «О, солнце, судия, народ!» («Прославим, братья, сумерки свободы...») Так и в 1931 году в стихотворении «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...» – в стихах, которые являются, в сущности, мольбой и клятвой, – речь идет о желании вхождения в «мы», в роевое историческое бытие народа. Жажда быть причастным русской народной судьбе выражена в образах амбивалентных, окрашенных почти в садомазохистские тона: обещание выстроить срубы-колодцы-шахты, в которых будут топить или иным образом уничтожать князей; готовность проходить всю жизнь «в железной рубахе» (образ, имеющий, вероятно, отношение к «одеянию» юродивых, чье тело было нередко увешано веригами и металлическими кольцами) и найти топориче для петровской казни (очевидно, для своей); заявлено стремление привлечь к себе любовь мерзлых плах (любовь плахи!). Роль поэта – не роль постороннего: войти своей речью в народную речь, быть неотделимо своим, до конца – вплоть до жертвенности, до самоуничтожения.

(Вообще обещание «построить такие дремучие срубы, / Чтобы в них татарва опускала князей на бадье» – это стихи страшные, может быть, самые страшные у Мандельштама. Принять действительность и трагическую русскую историю вплоть до оправдания казней, до оправдания «кремневого топора классовой борьбы»? До соуча-

ствия в казнях? Вообще это странные строки: дело ли поэта строить земляные срубы-тюрьмы? Это заявление полностью противоположно есенинским словам, которые так вознесены в «Четвертой прозе»: «Не расстреливал несчастных по темницам». И Мандельштам ведь не только не расстреливал, но напротив – спасал, это действительно так. Нелегко отделаться от чувства, что строки о «дремучих срубах» могли отозваться возмездием в самой ужасной судьбе их автора: его тело было, видимо, брошено в лагерную братскую могилу-яму, если не сожжено в печи – так тоже, по свидетельству выживших, избавлялись в том лагере, где поэту довелось провести последние дни, от трупов умерших заключенных.)

В завершающем четверостишии поэт говорит о собственной готовности к трудной жизни и мученической гибели: первая строка явно о себе; вторая – о том, что когда судьба нацеливается и бьет по отмеченной жертве, это избранничество; третий стих – о принятии роли «юродивого»; соответственно, в четвертой строке, заканчивающей этот ряд и все стихотворение, никак не может идти речь о других – нет, это страшное «топорище» для поэта-жертвы.

Очевидной «дразнилкой» является написанное 11 апреля 1931 года стихотворение «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня...».

*Я пью за военные астры, за все,  
чем корили меня,*

*За барскую шубу, за астму, за  
желчь петербургского дня.*

*За музыку сосен савойских,  
Полей Елисейских бензин,*

*За розу в кабине рольс-ройса и  
масло парижских картин.*

*Я пью за бискайские волны, за  
сливок альпийских кувшин,*

*За рыжую спесь англичанок и  
дальних колоний хинин.*

*Я пью, но еще не придумал – из  
двух выбираю одно —*

*Веселое асти-спуманте иль  
папского замка вино.*

Стихотворение – «ответ на установившееся в критике к 1930-м годам представление о Мандельштаме как певце прошлого, буржуазного, классического, экзотического; поэт демонстративно и гиперболически перечисляет вменяемые ему темы...» (М. Гаспаров) [206] . Поэт заявляет, что он ни от чего не собирается отказываться. Определенная нарочитость «дразнящих» признаний несомненна: «военные астры» – видимо, эполеты; ср. с отчужденным отношением к гвардейцам в стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан...». «Папского замка вино» – сорт вина Chvteauneuf du Pape. «Масло парижских картин» отсылает к любимой Мандельштамом французской живописи. Особенно ему нравились импрессионисты и развивавшие их достижения Сезанн и Ван Гог. В Москве картины «французов» Мандельштам видел в Музее нового западного искусства, в котором неоднократно бывал (улица Кропоткинская – ныне снова Пречистенка, – д. 21; в настоящее время – здание Академии художеств). В апреле 1931 года, когда написано стихотворение-«дразнилка», Мандельштам начал в Старосадском переулке работу над новой прозой – «Путешествие в Армению». В этой книге «французам» посвящена глава, в которой содержатся яркие характеристики

любимых живописцев, а музей на Кропоткинской назван «посольством живописи».

Как было сказано выше, неписание стихов, длившееся всю вторую половину 1920-х, сменилось новым поэтическим подъемом после поездки в Армению в 1930 году. Армения, древняя кавказская страна, произвела на Мандельштама сильное впечатление. Циклом стихотворений «Армения» начался его новый творческий период.

С. Липкин запомнил, как Мандельштам читал ему в Старосадском стихи об Армении. Читал Мандельштам, всецело отдаваясь, как всегда, звучащему поэтическому слову. «Вот Мандельштам читает мне стихи об Армении, читает высоко, с беспомощным чванством задрал голову, подчеркивая просодию стиха, его гармонию. Беззубый рот не мешал ему, или ему казалось, что не мешал, и мне не мешал...» [207]

Воспоминание об Армении, желание вновь вернуться туда отразилось не только в начатой в Старосадском переулке новой прозе, но и в написанных там стихах – в частности, в «Канцоне» (26 мая 1931).

### Канцона

*Неужели я увижу завтра —  
Слева сердце бьется – слава,  
бейся! —  
Вас, банкиры горного  
ландшафта,  
Вас, держатели могучих акций  
гнейса?  
Там зрачок профессорский  
орлиный, —*

*Египтологи и нумизматы —*

*Это птицы сумрачно-хохлатые*

*С жестким мясом и широкою  
грудиной.*

*То Зевес подкручивает с толком*

*Золотыми пальцами  
краснодеревца*

*Замечательные  
луковицы-стекла —*

*Прозорливцу дар от  
псалмопевца.*

*Он глядит в бинокль  
прекрасный Цейса —*

*Дорогой подарок царь-Давида,*

*Замечает все морщины  
гнейсовые,*

*Где сосна иль деревушка-гнида.*

*Я покину край гипербореев,*

*Чтобы зреньем напитать судьбы  
развязку,*

*Я скажу «селá» начальнику  
евреев*

*За его малиновую ласку.*

*Край небритых гор еще неясен,*

*Мелколесья колется щетина,*

*И свежа, как вымытая басня,*

*До оскомины зеленая долина.*

*Я люблю военные бинокли*

*С ростовщической силой  
зренья.*

*Две лишь краски в мире не  
поблекли:*

*В желтой – зависть, в красной –  
нетерпенье.*

Имеется комментарий Н.Я. Мандельштам к этому стихотворению. «Смысловая проблема: что это за край небритых гор – Палестина (начальник евреев) или Армения (“младшая сестра земли иудейской”). Египтологи и нумизматы – это сборное воспоминание об ученых-стариках Армении, настоящих европейцах и гораздо более похожих на ученых, чем те, с которыми мы сталкивались в Москве... <...> Пейзаж близок к Армении, хотя “до оскомины зеленая долина” – не слишком характерно: об отсутствии ярких красок в Армении см. в “Путешествии” – “одни опресноки”. Такие зеленые долины принадлежат скорее морскому климату. Скорее всего, это сборный ландшафт средиземноморских культур.

“Канцона” – стихотворение о зрении, причем это не только физическое зрение, но и историческое. <...> Оно складывается из следующих психологических предпосылок: невозможность путешествия, жажда исторической земли (скоро Москва будет названа “буддийской”), обида на ограниченность физического зрения, глаз хищной птицы, равный стеклам бинокля Цейса (где-то в Армении мы забавлялись, разглядывая даль в бинокль Цейса), физическое и историческое зрение: краски в мире заглохли, но на исторической земле они есть (“малиновая ласка”, “зеленая долина”). Здесь вожделенное путешествие осуществляется усилением зрения, похищением зрения хищной птицы, бинокля, обострением чувств» [208] . По

мнению Н. Мандельштам, упомянутая в «Канцоне» «малиновая ласка» восходит к колориту картины Рембрандта «Возвращение блудного сына». Поэт, побывавший в Армении, на библейской земле, почувствовал себя вернувшимся на историческую и духовную родину.

Существуют различные трактовки содержания мандельштамовской «Канцоны». Отметим сначала, что канцона как стихотворная форма – это прежде всего и в большинстве случаев любовная песнь; в финальной части канцоны обычно помещается обращение к персоне, которой стихи посвящены. В мандельштамовской «Канцоне» в последнем стихе упомянуты две краски, красная и желтая, которые мы встречаем в описании Армении и в «Путешествии в Армению», и в цикле «Армения» (ср.: «Всех-то цветов мне осталось – лишь сурик да хриплая охра...»). Армения – библейская земля (Ноев ковчег окончил свой путь «на горах Араратских»), и желание автора стихотворения покинуть «край гипербореев» (в греческой мифологии гипербореи – народ, живущий на далеком севере) и вернуться на землю «младшей сестры земли иудейской» («Четвертая проза») вполне корреспондирует с притчей о возвращении блудного сына. Ср. в «Четвертой прозе»: «...И я бы вышел на вокзале в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой – моим еврейским посохом – в другой». Мандельштам видел глубокую исторически-культурную связь между Арменией и землей Израиля; маленькая кавказская страна с трагической судьбой – форпост иудео-христианской цивилизации на Востоке. Древнееврейское слово «селá» (правильнее «сэла» и с ударением на первом слоге), согласно авторитетным источникам, имело значение пометки, указания на особенности произнесения текста в определенных местах – в частности, усиление голоса – или на

характер исполнения музыки во время богослужения. Слово это встречается семьдесят один раз в псалмах и еще только три раза в книге пророка Аввакума.

Ю.Л. Фрейдин и С.В. Василенко указывают, что они встретили это слово на русском языке лишь в «Книге псалмов» в двуязычном древнееврейско-русском издании «Священных книг Ветхого завета», выпущенном в Вене в 1877 году [209]. Естественно, Мандельштаму могла быть знакома эта книга. Отец поэта учился в Германии, и в доме были книги, отпечатанные в немецкоязычной Европе. Однако, с другой стороны, известно, что в детстве Мандельштама учили древнееврейскому языку – к нему ходил учитель, знакомивший его с Писанием и еврейской историей. Хотя изучение не было глубоким, вряд ли обошли псалмы. Можно предположить, что Мандельштам мог видеть это «сэла» и в молитвеннике деда – ведь ему запомнилось, как молился его дед, а интересующее нас слово мы встречаем в молитве «Ашрей», звучащей минимум два раза ежедневно: утром и в дневное время. «Ашрей» начинается словами из псалма 84 (по еврейской традиции; по православной Библии это псалом 83): «Ашрей йошвей вейтэха, од йаһаллуха, сэла!» – «Блаженны пребывающие в доме Твоем, будут они восхвалять Тебя, сэла!» «Ашрей» – далеко не единственный текст в молитвеннике (сидуре), где содержится загадочное «сэла». Так, к примеру, среди утренних молитв: «Адонай Цеваот иману, мишгав лану Элоһей Яаков, сэла!» – «Господь воинств с нами; Бог Иакова – наш оплот, сэла!» Или: «Ата сетэр ли, мицар тицрени, роней палет тесоввени, сэла!» – «Ты – укрытие мне, от врага охранишь меня, песней избавления окружишь ты меня, сэла!» [210] «В отличие от Пастернака Мандельштам духовно ощущал свое еврейство», – замечает С. Липкин [211]. (Многообразным свя-

зям поэта с еврейской культурой посвящены, в частности, книги Л.Ф. Кациса «Осип Мандельштам: мускус иудейства». (М.; Иерусалим, 2002); Л.Р. Городецкого «Текст и мир на листе Мебиуса: языковая геометрия Осипа Мандельштама versus еврейская цивилизация». (М.; 2008); Н. Ваймана и М. Рувина «Шатры страха. Разговоры о Мандельштаме» (М.; 2011). Последнее из упомянутых изданий содержит ряд интересных и точных наблюдений и выводов, отличаясь при этом, к сожалению, также резкими, размашистыми и несправедливыми характеристиками других исследователей.)

Итак, мандельштамовское «села» – недвусмысленное указание на Псалтырь и, соответственно, на «псалмопевца» – царя Давида, «начальника евреев». Выражение «малиновая ласка» передает, вероятно, впечатление от церковного пения, которое Мандельштам слышал в Армении; определение «малиновая» передает красоту звучания («малиновое» пение – «сладостное», подобно выражению «малиновый звон»). Таким образом, нет, думается, необходимости привлекать для объяснения «Канцоны» картину Рембрандта. В пятом четверостишии «Канцоны» говорится о желании в конце жизни еще раз увидеть настоящую красоту («зреньем напитать судьбы развязку») – и, соответственно и логично, также услышать напоследок прекрасное пение (испытать «малиновую ласку» псалмопения). Это место «Канцоны», безусловно, связано с концовкой «Путешествия в Армению». Книгу завершает история пленного царя Аршака. Бывший приближенный царя просит «ассирийца», победителя Аршака, дать поверженному царю провести еще хотя бы один радостный день: «Я хочу, чтобы Аршак провел один добавочный день, полный слышания, вкуса и обоняния...»

Давид в «Канцоне» наделен острым зрением, ему принадлежит «бинокль Цейса», который он дарит Зевсу. Логично предположить, что представление о «дальновидении» Давида также связано с книгой псалмов. Возможно, источником для характеристики послужил псалом 103, в котором развернута широкая панорама мира (ср. с черновым названием «Канцоны» – «География»), в которой, однако, не теряются и мелкие детали:

«1. Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно велик, Ты облачен славою и величием; 24. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих» [212] .

Ср. в «Канцоне»: «Замечает все морщины гнейсовые, / Где сосна иль деревушка-гнида». Отрывки уничтоженных стихов

1

В год тридцать первый от рожденья века  
Я возвратился, нет – читай: насильно  
Был возвращен в буддийскую Москву.  
А перед тем я все-таки увидел  
Библейской скатертью богатый Арарат  
И двести дней провел в стране субботней,  
Которую Арменией зовут.  
Захочешь пить – там есть вода такая  
Из курдского источника Арзни,  
Хорошая, колючая, сухая  
И самая правдивая вода.

2

Уж я люблю московские законы,  
Уж не скучаю по воде Арзни.  
В Москве черемухи да телефоны,  
И казнями там имениты дни.

3

Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой  
На молоко с буддийской синевой,  
Проводишь взглядом барабан турецкий,  
Когда обратно он на красных дрогах  
Несется вскачь с гражданских похорон,  
Иль встретишь воз с поклажей из подушек  
И скажешь: гуси-лебеди, домой!  
Не разбирайся, щелкай, милый кодак,  
Покуда глаз – хрусталик кравчей птицы,  
А не стекляшка!  
Больше светотени!  
Еще, еще! Сетчатка голодна!

4

Я больше не ребенок!  
Ты, могила,  
Не смей учить горбатого – молчи!  
Я говорю за всех с такою силой,  
Чтоб небо стало небом, чтобы губы  
Потрескались, как розовая глина.

«Страна субботняя» – страна праздничная; в еврейской традиции суббота – день радости и отдыха. Такова Армения. Пристальное внимание, неподдельный интерес к ярким бытовым подробностям никак не мешали Мандельштаму чувствовать в жизни советской столицы то, что он выразил в появившемся в его стихах определении Москвы: «буддийская». Как бы ни обстояло дело с реальным буддизмом, для Мандельштама буддизм – холодное в своей основе, позитивистское, повернутое к смерти, безблагодатное мировоззрение. В нем нет напряженно-личных отношений человека и творца, их парадоксального диалога, присущего иудео-христианской традиции. Мировоззрение Мандельштама принципиально персоналистично, враждебно буддийскому представлению об угасании личности в нирване. Никаких бесчисленных существований на пути к нирване – личность, по Мандельштаму, искрометна и неповторима. Мандельштамовское отношение к жизни – жертвенно-героическое (героическая составляющая этого отношения, возможно, формировалась не без влияния личности Николая Гумилева). Отсюда – неприятие или, во всяком случае, прохладное отношение к Чехову, писателю «буддийскому» и антигероическому. «Буддийская» жизнь (повторим, что речь идет о буддизме в поэтической системе Мандельштама) может быть внешне весьма активной, но, в сущности, она духовно неподвижна. «Буддийская» жизнь – существование, не просветленное библейским светом; эта жизнь отрезана от основ европейской культуры. В девятнадцатом столетии, более всего ценившем знание и науку и постепенно утрачивавшем представление о священном характере бытия, «буддийское» отношение к жизни дает себя знать, по мнению Мандельштама, и в Европе. «Девятнадцатый век был проводником буддийского влияния в европей-

ской культуре. Он был носителем чужого, враждебного и могущественного начала, с которым боролась вся наша история – активная, деятельная, насквозь диалектическая, живая борьба сил, оплодотворяющих друг друга» («Деятельный век»). О Москве сказано четко: «И казнями там имениты дни»; дошла до нас также строка «Из раковин кухонных хлещет кровь». Уже в 1916-м, только начиная знакомиться с Москвой, Мандельштам почувствовал угрозу, исходившую от этого города. Это чувство никогда не пропадало до конца, всегда подспудно жило в его восприятии старо-новой столицы. К концу 1920-х годов ощущение «московской угрозы» обостряется – от «курвы-Москвы» не спрячешься, «казнями там имениты дни» и «из раковин кухонных хлещет кровь». Уже очень многое если не предвиделось, то предчувствовалось. Э.Г. Герштейн в своих воспоминаниях пишет: «Была у Мандельштамов одна знакомая семья: адвокат О., его жена и маленькая дочь. Как-то, выйдя на улицу, они увидели очередь в ЗАГС, который помещался в том же доме, где они жили. В ЗАГСе, как известно, регистрируются браки, разводы, рождения детей и смерти. Девочка запомнила только последнюю категорию и простодушно спросила: “Это за гробами стоят?” Замечание ребенка показалось апокалипсическим, и Надя повторяла вслед за ними: “Очень может быть, что и такое настанет”. Мы не знали тогда, что миллионы наших соотечественников будут похоронены без гробов, а что среди них будет Осип Эмилевич, мне, по крайней мере, в голову еще не приходило» [213]. Есть странное совпадение – или связь? – между этим эпизодом и стихами Мандельштама из цикла «Армения»:

Долго ль еще нам ходить по гроба,

Как по грибы деревенская девка?..

*«Дикая кошка – армянская речь...», 1930*

Речь в этом эпизоде идет о супругах Овчинниковых. Жили они в Большом Власьевском переулке (см. «Список адресов»). Кавказские впечатления отразило и написанное в июне 1931 года стихотворение «На высоком перевале...». Есть основания полагать, что поэт работал над этими стихами в Старосадском переулке – на это указывает комментарий Н.Я. Мандельштам: «Стихи о Шуше написаны в Москве летом 31 года, когда мы жили в комнате у Александра Эмильевича (он уехал в отпуск с женой)...» [214]

На высоком перевале  
В мусульманской стороне  
Мы со смертью пировали —  
Было страшно, как во сне.  
Нам попался фаэтонщик,  
Пропеченный, как изюм, —  
Словно дьявола поденщик,  
Односложен и угрюм.  
То гортанный крик араба,  
То бессмысленное «цо!» —  
Словно розу или жабу,  
Он берег свое лицо.  
Под кожевенную маской  
Скрыв ужасные черты,  
Он куда-то гнал коляску

До последней хрипоты.  
И пошли толчки, разгоны,  
И не слезть было с горы —  
Закружились фаэтоны,  
Постоялые дворы...  
Я очнулся: стой, приятель!  
Я припомнил, черт возьми!  
Это чумный председатель  
Заблудился с лошадьми.  
Он безносой канителью  
Правит, душу веселя,  
Чтоб вертелась каруселью  
Кисло-сладкая земля...  
Так в Нагорном Карабахе,  
В хищном городе Шуше,  
Я изведаль эти страхи,  
Соприродные душе.  
Сорок тысяч мертвых окон  
Там видны со всех сторон,  
И труда бездушный кокон  
На горах похоронен.  
И бесстыдно розовеют  
Обнаженные дома,  
А над ними неба мреет

Темно-синяя чума.

*12 июня 1931*

Приведем краткий комментарий М.Л. Гаспарова. Речь в стихотворении идет «о возвращении из поездки в Нагорный Карабах, из г. Шуши (разоренного турками во время резни 1920 года) в Степанакерт; фигура безносого фаэтонщика ассоциируется с председателем и с негром-возницей из пушкинского “Пира во время чумы” (а размер стихотворения – с “Бесами”) и приводит к мысли “мы ничего не знаем о тех, от кого зависит наша судьба” (слова ОМ в пересказе НЯМ). “Словно розу или жабу” – образ из стих. Есенина “Мне осталась одна забава...”» [215]. (ОМ в комментарии – Осип Манделъштам, НЯМ – Надежда Яковлевна Манделъштам.) «Встреча по дороге из Шуши с мирным стадом, после которой прошел охвативший путешественников страх» (М. Гаспаров, там же) осталась в июньском стихотворении «Как народная громада...».

Как народная громада,  
Прошибая землю в пот,  
Многоярусное стадо  
Пропыленной армадой  
Ровно в голову плывет.  
Телки с нежными боками  
И бычки-баловники,  
А за ними – кораблями —  
Буйволицы с буйволами  
И священники-быки.

У Манделъштама в Старосадском переулке бывали его друг биолог Б.С. Кузин, филолог Эмма Герштейн, впо-

следствии известный литературовед, поэты Семен Липкин и Борис Лапин. Эмма Герштейн вспоминала: «Я была в Старосадском, когда к Мандельштаму прибежал Борис Лапин. <...> Тут Осип Эмильевич прочел ему свою “Канцону”» [216] . В свою очередь, Лапин рассказал Мандельштаму о полете на самолете, делавшем «мертвую петлю». По свидетельству Н. Мандельштам, этот рассказ отразился в написанном 23 апреля 1931 года стихотворении.

– Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый, —

Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого!

Жизнь начиналась в корыте картовою мокрою шёпотью

И продолжалась она керосиновой мягкой копотью.

Где-то на даче потом в лесном переплете шагреновом

Вдруг разгорелась она почему-то огромным пожаром сиреневым...

– Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый, —

Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого!

Дальше, сквозь стекла цветные, сощуришь, мучительно вижу я:

Небо, как палица, грозное, земля, словно плешина, рыжая...

Дальше – еще не припомню – и дальше как будто оборвано:

Пахнет немного смолою, да, кажется, тухлою ворванью...

– Нет, не мигрень, – но холод пространства бесполого,

Свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой!

Ментоловым карандашом натирали виски, чтобы избавиться от головной боли. «В начале лета Шура с женой уехали на полтора или два месяца на юг, – пишет в своих мемуарах Н.Я. Мандельштам, – а я переселилась к Мандельштаму в убогую комнатенку на Старосадском переулке. Пиршество продолжалось уже не только по ночам, но и днем, а стихи стали длиннее – они уже не спрессовывались ночным бдением» [218]. Согласно летописи жизни и творчества Мандельштама, Н. Мандельштам перебралась в Старосадский несколько ранее, а отпуск у А.Э. Мандельштама был короче: «23 мая. О.М. и Н.Я. поселяются в комнате брата в Старосадском переулке (А.Э. с женой уехали на месяц в отпуск)» [219]. «Мы были подвижными и много гуляли, – продолжает Н. Мандельштам. – Все, что мы видели, попадало в стихи: китайская прачечная, куда мы отдавали белье, развал, где мы листали книги, еще не покупая из-за отсутствия денег и жилья, уличный фотограф, щелкнувший меня, Мандельштама и жену Шуры, турецкий барабан и струя из бочки для поливки улиц. Возвращение к стихам привело к чувству единения с миром, с людьми, с толпой на улицах...» [220]. «Турецкий барабан» мы находим в приведенных выше «Отрывках уничтоженных стихов», «вода на булавах» из поливальной машины упомянута в более позднем сти-

хотворении «Там, где купальни, бумагопрядильни...». Фотография, сделанная уличным фотографом, сохранилась. Она относится к несколько более раннему времени: Мандельштам, Надежда Яковлевна и Элеонора Самойловна, жена Шуры, еще в зимней одежде. Вероятно, именно к этой фотографии обращено шуточное стихотворение Мандельштама:

Шапка, купленная в ГУМе

Десять лет тому назад,

Под тобою, как игумен,

Я гляжу стариковат.

«...Работается мне сейчас здорово», – пишет Мандельштам брату Евгению 11 мая 1931 года. Возвращение к стихам, сознание своей творческой силы, конец (так или иначе) долго тянувшегося «дела о “Тиле”», мучившего поэта; пусть редкие, но публикации (напечатанный в «Новом мире» цикл «Армения», появившееся в «Звезде» – № 4 за 1931 год – стихотворение «С миром державным я был лишь ребячески связан...»); бедная, безработная, но свободная жизнь; наконец, просто наступление теплой погоды – все это запечатлено в июньских стихах. Кончилась мучившая поэта двусмысленность. Верой в свои непотерянные творческие возможности, веселым сознанием верности своему пути и чувством сдерживаемой силы отмечено стихотворение, написанное 7 июня 1931 года.

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!

Я нынче славным бесом обуян,

Как будто в корень голову шампунем

Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Держу пари, что я еще не умер,  
И, как жокей, ручаюсь головой,  
Что я еще могу набедокурить  
На рысистой дорожке беговой.  
Держу в уме, что нынче тридцать первый  
Прекрасный год в черемухах цветет,  
Что возмужали дождевые черви  
И вся Москва на яликах плывет.  
Не волноваться. Нетерпенье – роскошь.  
Я постепенно скорость разовью —  
Холодным шагом выйдем на дорожку,  
Я сохранил дистанцию мою.

Существует иное текстологическое прочтение стихов 13–14 (его обосновывает С.В. Василенко): «Не волноваться! Нетерпенья роскошь / Я постепенно в скорость разовью». Таким образом, если позволено прибегнуть к примитивному пересказу, в начале стихотворения говорится следующее: довольно – старая жизнь, «унылая», «с бумагами», кончилась. Можно предположить, с определенной вероятностью, какие «бумаги» следует «засунуть» в стол. Похоже на то, что это могли быть бумаги по «делу о переводе “Тилия Уленшпигеля”». Мандельштам говорил о себе, что он работает «с голоса»; нередко его стихи под диктовку записывала жена, Надежда Яковлевна. Да и вообще с творческой работой, да еще и после длившейся всю вторую половину 1920-х годов поэтической немоты, никак не вяжется понятие «кукситься». А вот желание засунуть подальше бумаги по угнетавшему поэта в течение 1928–1930 годов делу о якобы имевшем

место плагиате – это желание вполне может быть высказано так, со вздохом облегчения: «Довольно кукситься!» «Засунем» эти бумаги подальше и подведем черту (с помощью «славного» черта!) под тем, что так или иначе кончено. Конечно, эта уверенность в своих силах, в сущности, не такая уж уверенная – это в значительной степени самовнушение, «самоподбадривание»: неслучайно в стихотворении два раза появляется «еще» – «еще не умер», «еще могу набедокурить». (Два раза употребленное «нынче» отделяет наступившее время от прошедшего, с которым поэт порывает начинающим стихи словом «довольно»; двойное «еще» свидетельствует о сознаваемой краткости нового жизненного этапа.) А.Г. Мец обратил внимание на то, что утверждение «я еще не умер» восходит к цитате из письма Вильгельма Кюхельбекера (А. Грибоедову), которое процитировал Ю. Тынянов в своей книге «Кюхля»: «уведомить тебя, что я еще не умер» [221] .

Мотив возвращенной молодости поддерживается упоминанием физкультурно-спортивных, свойственных молодости занятий (скачки, гребля). «Брат Шура» бывал на бегах, и отсюда, очевидно, «ипподромные» детали в этом стихотворении (этим наблюдением поделился с автором книги С.В. Василенко).

Насколько тесно, в свою очередь, идея обновления и омоложения связана с водой, само собой понятно. Мытье головы в парикмахерской («подстригся – помолодел»), «возмужавшие» дождевые черви, «вся Москва», плывущая на яликах (упомянута не Москва-река, хотя, естественно, речь в первую очередь идет о ней, а Москва – весь город «плывет на яликах», омывается водой), – все эти детали выстраиваются в один ряд и передают идею обновления, свежести, новой жизни. Загадочный

«парикмахер Франсуа» может быть в первую очередь соотнесен, по остроумной догадке Ральфа Дутли, с всегда любимым Мандельштамом Франсуа Вийоном [222] .

К образу Вийона Мандельштам обращается всякий раз, когда речь идет о поэтической свободе и верности своему творческому пути. Однако почему все же неприкаянный парижанин, с которым Мандельштам всегда осознавал свое родство, стал в московском стихотворении 1931 года парикмахером? Здесь, как нам кажется, надо вернуться к тому, что, собственно, делает этот парикмахер. Прямо не сказано, что он подстриг своего клиента или побрил его – говорится только о том, что он «вымыл голову», причем «в корень» (Мандельштам остановился на этом выражении, хотя пробовал и другие). Выражение «в корень», с нашей точки зрения, выражает высокую степень активности действия, его резкость и в то же время «радикальность» достигнутого этим действием результата. «Мытье головы» в рассматриваемом стихотворении несомненно перекликается с аналогичным эпизодом из повести «Египетская марка»: «А парикмахер, держа над головой Парнока пирамидальную фиоль с пиксафоном, лил ему прямо на макушку, облысевшую в концертах Скрябина, холодную коричневую жижу, ляпал прямо на темя ледяным миром, и, почуяв на своем темени ледяную нашлепку, Парнок оживлялся. Концертный морозец пробежал по его сухой коже и – матушка, пожалей своего сына – забирался под воротник.

– Не горячо? – спрашивал его парикмахер, опрокидывая ему вслед за тем на голову лейку с кипятком, но он только жмурился и глубже уходил в мраморную плаху умывальника.

И кроличья кровь под мохнатым полотенцем согрелась мгновенно». Парикмахер «оживляет» героя Мандельштама, Парнока, в «Египетской марке»; парикмахер пробуждает к новой жизни, возрождает лирического героя «Довольно кукситься!». Как точно заметила И.З. Сурат, в первом четверостишии лирический герой пассивен – он «обуян... бесом», ему «как будто... вымыл голову» парикмахер; в последнем катрене герой – весь активность. И причиной этой метаморфозы – парикмахер, который в определенной мере отождествляется со «славным бесом». Как нам представляется, говоря о мытье головы, производимом в мандельштамовских стихах загадочным Франсуа, поэт имел в виду не только прямое, но и фразеологическое значение выражения: «вымыл голову» – «задал головомойку»: неунывающий Вийон задает головомойку лирическому герою – «довольно кукситься!», «кураж!».



Парикмахерская «Андрей» на Яузской улице (неподалеку от Старосадского переулкa). 1920-е

На то, что в «парикмахере Франсуа» есть весомые основания опознать Вийона, указывает странная рифма в первом четверостишии: «обуян» – «Франсуа». Вполне понятно, почему Мандельштам не принял рифму «Антуан», спроста предложенную Липкиным к слову «обуян»: «обуян» предполагает произнесенную рифму «Вийон» (хотя писал Мандельштам фамилию французского поэта «Виллон» – от “Villon” – буквально воспроизводя французские буквы в русском варианте). Какой-то нужный только для рифмовки «Антуан» тут совершенно ни к чему. Нередкий случай в стихах и прозе Мандельштама: подразумеваемое значит не меньше, чем сказанное. В скрытом виде фамилия француза приходит к читателю

вместе с его именем – благодаря неожиданной и потому останавливающей внимание рифмой к «обуян»: «Франсуа». Это сигнал читателю: здесь таится нечто. (Ср. со строкой из стихотворения 1937 года «Чтоб, приятель и ветра, и капель...», где Вийон прямо назван, но его имя также поставлено в конец стиха, сделано рифмующимся: «Несравненный Виллон Франсуа».) С Францией у Мандельштама связывалось представление о дерзости и веселости, и именно «Франсуа» моет «в корень» голову герою стихотворения, омолаживает его и, может быть, «задает головнойку» – «довольно кукситься», ничто не потеряно. Звучание стихотворения великолепно и хорошо организовано. Приведем только два примера. В последнем четверостишии «р», «к», «с» замечательно выражают нарастающую скорость:

<...> Нетерпенье – РОСКОшь.

Я поСтепенно СКОРОсть РаЗовью.

Независимо от того, какой вариант текстологически более предпочтителен («Нетерпенье – роскошь. / Я постепенно скорость разовью» или «Нетерпенья роскошь / Я постепенно в скорость разовью»), в звуковом отношении «роскошь» действительно преобразуется в «скорость», зеркально отзывается в ней. А предпоследний стих «ХолоДНЫМ шагоМ выйДеМ на Дорожку» – как слышится в этих замедляющих Д-М-М-Д-М-Д самосдерживание, напряжение, концентрация участника соревнований перед стартом! В эти июньские дни, когда безработный и безденежный поэт бродил по улицам, были написаны московские стихи, которые артист В.Н. Яхонтов охарактеризовал, несколько позднее, в своем дневнике так: «...как будто он пытается вздохнуть глубоко и наполнить легкие пылью и испарениями обильно политых тротуаров» [226]

. Пестрая жизнь Москвы наполняет стихи, печаль которых светла, а стремление принять жизнь, сродниться с ней (какой бы она ни была, вопреки всему) несомненно.

Еще далёко мне до патриарха,  
Еще на мне полупочтенный возраст,  
Еще меня ругают за глаза  
На языке трамвайных перебранок,  
В котором нет ни смысла, ни аза:  
Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь, —  
Но в глубине ничуть не изменяюсь...  
Когда подумаешь, чем связан с миром,  
То сам себе не веришь: ерунда!  
Полночный ключик от чужой квартиры,  
Да гривенник серебряный в кармане,  
Да целлулоид фильма воровской.  
Я, как щенок, кидаюсь к телефону  
На каждый истерический звонок:  
В нем слышно польское «Дзенькую, пане!»,  
Иногородний ласковый упрек  
Иль неисполненное обещанье.  
Все думаешь: к чему бы приохотиться  
Посреди хлопушек и шутих;  
Перекипишь – а там, гляди, останется  
Одна сумятица да безработица:  
Пожалуйста, прикуривай у них!

То усмехнусь, то робко приосанюсь  
И с белорукой тростью выхожу:  
Я слушаю сонаты в переулках,  
У всех лотков облизываю губы,  
Листаю книги в глыбких подворотнях,  
И не живу, и все-таки живу.  
Я к воробьям пойду и к репортерам,  
Я к уличным фотографам пойду,  
И в пять минут – лопаткой из ведерка —  
Я получу свое изображение  
Под конусом лиловой шах-горы.  
А иногда пуцусь на побегушки  
В распаренные душные подвалы,  
Где чистые и честные китайцы  
Хватают палочками шарики из теста,  
Играют в узкие нарезанные карты  
И водку пьют, как ласточки с Янцзы.  
Люблю разъезды скворчущих трамваев,  
И астраханскую икру асфальта,  
Накрытую соломенной рогожей,  
Напоминающей корзинку асти,  
И страусовы перья арматуры  
В начале стройки ленинских домов.  
Вхожу в вертепы чудные музеев,

Где пучатся кашеевы Рембрандты,  
Достигнув блеска кордованской кожи;  
Дивлюсь рогатым митрам Тициана  
И Тинторетто пестрому дивлюсь —  
За тысячу крикливых попугаев.  
И до чего хочу я разыгаться —  
Разговориться – выговорить правду —  
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду, —  
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков, —  
Сказать ему: нам по пути с тобой...

*Май – сентябрь 1931*

(Другое, предлагаемое С. Василенко, текстологическое прочтение стиха 51: «Как тысяче крикливых попугаев».) А.Э. Мандельштам с сыном и Э.В. Мандельштам. Старосадский переулок, двор дома 10

Принять новый мир, признать его правоту, поладить с ним – это было стойким желанием поэта, не менее стойким, чем сохранить свою независимость, не принимать и «не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе» современности. В письме отцу (середина мая 1931 года) поэт отвечает Э.В. Мандельштаму: «Мог ли я думать, что услышу от тебя большевистскую проповедь? Да в твоих устах она для меня сильней, чем от кого-либо. Ты заговорил о самом главном: кто не в ладах со своей современностью, кто прячется от нее, тот и людям ничего не даст, и не найдет мира с самим собой. Старого больше нет, и ты это понял так поздно и так хорошо. Вчерашнего дня больше нет, а есть только очень древнее и будущее». Но современность

могла быть только такой, какой была – с жесткой авторитарной властью, с новой бюрократией, с новой ложью, с соответствующей «массолитовской» литературой, и как бы ни хотелось многого «не видеть» – видеть приходилось. Маятниковые колебания между двумя несовместимыми позициями будут свойственны Мандельштаму в течение всего периода 1930-х годов. За стеной «бренчал на рояле» сосед Беккерман, шумели соседи, бегали дети в коридоре. Поэтому работал Осип Эмильевич часто ночью, при свете ночника. Эти ночные бдения также вошли в его стихи.

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.

С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких, железных.

В черной оспе блаженствуют кольца бульваров.

Нет на Москву и ночью угомону,

Когда покой бежит из-под копыт...

Ты скажешь: где-то там, на полигоне,

Два клоуна засели – Бим и Бом,

И в ход пошли гребенки, молоточки,

То слышится гармоника губная,

То детское молочное пьянино:

До-ре-ми-фа

И соль-фа-ми-ре-до.

Бывало, я, как помоложе, выйду

В проклеенном резиновом пальто

В широкую разлапицу бульваров,

Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются  
длинном,

Где арестованный медведь гуляет —

Самой природы вечный меньшевик,

И пахло до отказа лавровишней!..

Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен...

Я подтяну бутылочную гирьку

Кухонных, крупно-скачущих часов.

Уж до чего шероховато время,

А все-таки люблю за хвост его ловить:

Ведь в беге собственном оно не виновато,

Да, кажется, чуть-чуть жуликовато.

Чур! Не просить, не жаловаться, цыц!

Не хныкать!

Для того ли разночинцы

Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?

Мы умрем, как пехотинцы,

Но не прославим

ни хищи, ни поденщины,

ни лжи.

Есть у нас паутинка шотландского старого пледа,

Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я  
умру.

Выпьем, дружок, за наше ячменное горе,

Выпьем до дна!

Из густо отработавших кино  
Убитые, как после хлороформа,  
Выходят толпы. До чего они венозны,  
И до чего им нужен кислород!  
Пора вам знать: я тоже современник,  
Я человек эпохи Москвошвея,  
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,  
Как я ступать и говорить умею!  
Попробуйте меня от века оторвать,  
Ручаюсь вам – себе свернете шею!  
Я говорю с эпохою, но разве  
Душа у ней пеньковая и разве  
Она у нас постыдно прижилась,  
Как сморщенный зверек в тибетском храме:  
Почешется – и в цинковую ванну.  
– Изобрази еще нам, Марь Иванна!  
Пусть это оскорбительно, – поймите:  
Есть блуд труда, и он у нас в крови [231] .  
Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом.  
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.  
Он с Моцартом в Москве души не чает —  
За карий глаз, за воробьиный хмель.  
И словно пневматическую почту  
Иль студенец медузы черноморской

Передают с квартиры на квартиру  
Конвейером воздушным сквозняки,  
Как майские студенты-шелапуты...

В летней жаркой Москве бульвары «блаженствуют» в жару; источник их заражения «черной оспой» – видимо, дом 25 на Тверском бульваре (Дом Герцена), при котором в начале 1920-х годов Мандельштамы жили, где помещалось руководство Федерации объединений советских писателей (ФОСП) и куда Мандельштам являлся многократно в связи с разбирательствами по делу о переводе «Тилия Уленшпигеля». Литературные чиновники и «разрешенные» писатели воспринимались Мандельштамом подобно больным опасной заразной болезнью, от которых надо держаться подальше. Ср. в «Четвертой прозе»: «Черная оспа / Пошла от Фоспа». Интересный комментарий к стихам 4–5 дает Д.И. Черашняя: «На Москву – ночью – из-под копыт – Ср.: “Разгрузка уличного движения Москвы <...> гужевого транспорт переходит на ночную работу <...> Состоявшееся вчера <...> совещание московских транспортных организаций выделило специальный штаб по переводу гужевого транспорта с дневной работы на ночную” (“Вечерняя Москва”. 1931. 3 янв. С. 2)» [232] . Бим и Бом – известные клоуны. В их музыке в стихотворении, по свидетельству Э. Герштейн, отразилась «ночная проверка трамвайных путей. Она начиналась двумя контрольными ударами по рельсу, и этот гулкий звон долетал во все дома. Нередко что-то подправляли, завинчивали и пристукивали. Все это точно воспроизведено в строфе Мандельштама» [233] . «Самой природы вечный меньшевик» – несомненна связь этого образа с процессом так называемого «Союзного бюро меньшевиков», который проходил в Москве 1–9 марта

1931 года (замечено А.А. Морозовым и, несколько позднее, Д.И. Черашней). Вспомним, что стихотворение создано в тот период, когда Мандельштам постоянно бывал или жил в квартире, где соседом «брата Шуры» был видный в прошлом меньшевик, упомянутый выше Л.И. Гольдман (ни он, ни его брат, М.И. Гольдман, «Либер», фигурантами процесса 1931 года не были). Ученых медведей еще действительно водили по Москве поводыри-цыгане. С. Алымов в своем очерке «В кругу Москвы» (1927) рисует такую картину (имеется в виду Бульварное кольцо): «У густо населенных скамеек под музыку собственных криков выбивают голыми пятками чечетку коричневые цыганочки в широчайших юбках, подметающих землю длинными подолами. Изредка в кольце любопытствующей толпы покажется задержавшийся в городе медведь. Но летом медведь – большая редкость. Медведям душно в городе, и они уходят вместе с жожаками в приветливые поля, где прохладные ветры и мягкая трава, где вольготно и весело на раздольных крестьянских ярмарках» [234] . Поводыри с медведями на бульваре

Дрессированный медведь уподобляется меньшевику неслучайно: его водят на цепи на показ и заставляют кланяться. «Миша» кланяется, но сказать он при этом, само собой, ничего не может. Поводыри заставляли медведей выполнять и следующий номер: «Заходил иногда на бульвар и цыган с медведем. Медведь был небольшой, с плотно завязанной мордой (курсив мой. – Л.В.). Он, делая вид, что борется с цыганом, позволял ему, в конце концов, схватить себя за лапу и свалить на землю» (Г. Андреевский) [235] . «Но разве душа у ней пеньковая...» Надо ли это комментировать? Бездушная душа, бесплодная – и вплоть до висельных ассоциаций. В таком значении это определение еще отзовется через два года в сти-

хотворении «Квартира тиха, как бумага...» (1933): «Пеньковые речи ловлю...»

«– Изобрази еще нам, Марь Иванна!» Речь идет о ручных обезьянках, с которыми ходили по Москве уличные дрессировщики и шарманщики («Марья Ивановна» – распространенная их кличка). Они, подобно ученым медведям, выполняли разные номера, танцевали, а также вытаскивали билетки с предсказанием судьбы из набора соответствующих листков. (Об участии таких обезьянок в работе уличных гадателей говорила, комментируя данное место стихотворения, Н. Мандельштам.) Такую обезьянку мы встречаем в воспоминаниях И. Левина «Арбат. Один километр России»: «Время от времени двор превращался в концертную площадку. Самым народным артистом был шарманщик, из года в год извлекавший из своего мини-мини-органа одни и те же мелодии: “На сопках Маньчжурии”, “Разлука, ты, разлука”, “Кирпичики” и “Маруся отравилась”. Когда на музыку сбегалась детвора и даже люди постарше, начиналось представление, в котором героем выступал попугай – “попка”. Он тряс хохолком, доставал клювом из коробки конвертики с предсказанием судьбы. <...> Иногда попку заменяла обезьянка в юбочке или белая мышка. Бывало, с шарманщиком ходили мальчик и девочка, которые танцевали под музыку или показывали акробатические номера» [237]. Ученая спутница московского шарманщика-гадателя напоминает о своих сородичах – храмовых обезьянках в тибетских храмах. Тибетский храм – буддийский; это все та же тема московской китайщины, тема чуждой «буддийской», восточной, «кареглазой» Москвы, где «казнями... имениты дни» и где выпало жить.



А.Э. Мандельштам с сыном Сашей. 1930-е

«Блуд труда» – мы понимаем данный образ как характеристику непреодолимой тяги к делу, которому предназначен, – эта тяга подобна половому влечению, от него (дела) не сможешь отказаться и избавиться. (Строка «Есть блуд труда, и он у нас в крови» – пример характерной для Мандельштама языковой игры: Blut – «кровь» по-немецки и на еврейском-идиш; давно замечено исследователями.) Это свободный и радостный труд, «ворованный воздух», «запрещенная тишь». Художник – не ученый медведь и не дрессированная обезьянка, и никому ни кланяться, ни «изображать» и ни перед кем каяться не обязан. В кодекс поведения входит и важнейшее для

Мандельштама понятие чести, как личной (вспомним «совестный деготь труда»), так и «социально-родовой». Нельзя предать предков-разночинцев с их плебейской прямоотой и гордостью. Афиша выставки проектов памятника Мандельштаму

А пока шла обычная, относительно нормальная жизнь. В ноябре 1931 года у брата Александра родился сын. «Роды были тяжелые, длились 72 часа, – сообщает Эмма Герштейн, – и все это время Осип Эмильевич вместе с обоими братьями просидел в вестибюле роддома или все три брата бродили вокруг здания». Отец Эммы Герштейн был тогда заведующим хирургическим отделением больницы им. Семашко на ул. Щипок (см. «Список адресов»). Рожавшей жене Александра Эмильевича требовалась консультация. Придя к Герштейнам, Мандельштам позвонил от них специалисту. «Говорят из квартиры профессора Герштейна», – начал он разговор. Он сумел договориться о консультации. Родившегося мальчика Мандельштам «любовно называл... своим наследником» [239]. Именно ему, племяннику поэта Александру Александровичу Мандельштаму, автор этих строк обязан некоторыми важными деталями данного рассказа. Е. Мунц. Портрет Осипа Мандельштама. Фрагмент конкурсного проекта памятника поэту

В первой половине 1931 года в Старосадском переулке написана одна из наиболее ярких страниц творческой биографии Осипа Мандельштама. Произведения, созданные в этот короткий период, действительно отмечены «явной печатью гениальности» (повторим цитированные выше слова В.Н. Яхонтова). Исторический и городской фон 1932 год 1933 год **29 декабря**. Председатель СНК СССР В. Молотов и наркоминдел М. Литвинов

заявили об угрозе СССР со стороны воинствующего германского национал-социализма.

# **Снова при Доме Герцена. 1932–1933**



В январе 1932 года поэт с женой вновь поселяются у Дома Герцена на Тверском бульваре – но в другом, противоположном флигеле (если стоять лицом к главному зданию усадьбы, он справа). После длительных скитаний

по разным углам, по комнатам знакомых и родственников, Мандельштамы оказываются здесь и будут жить на Тверском довольно долго, с начала 1932-го по октябрь 1933 года.

В получении комнаты в правом флигеле Дома Герцена большую роль, вероятно, сыграл Н.И. Бухарин, благодаря которому Мандельштаму дали и персональную пенсию – 200 рублей в месяц (постановление датируется 23.03.1932) «за заслуги перед русской литературой». Став в сорок один год официально пенсионером, которому советская власть из милости за прошлые заслуги дала кусок хлеба, хотя от него уже ничего нового и полезного ждать не приходится, Мандельштам в таком именно свете воспринимался многими литераторами и литчиновниками.

В постановлении о пенсии указан адрес Мандельштама этого времени: Тверской бульвар, 25, кв. 6. В правом флигеле Мандельштамы сначала жили в одной комнате, а потом в другой. Первая – «небольшая, продолговатая, на низком первом этаже» [241], о которой Мандельштам писал, характеризуя и флигель в целом, И.М. Гронскому весной 1932 года: «Помещение мне отвели в сыром, негодном для жилья флигеле без кухни, питьевой кран в гниющей уборной, на стенах плесень, дощатые перегородки, ледяной пол и т. д. Назначенной мне в этом флигеле комнаты я сразу не получил, а был временно вселен в каморку в 10 метров, где и провел всю зиму». Как сообщала Э.Г. Герштейн автору этих строк, единственное окно этой комнаты – дальнее от Тверского бульвара и выходит во двор Дома Герцена.



Н.И. Бухарин

Вскоре, правда, «рядом с Мандельштамами в том же коридоре освободилась большая комната в три или два окна», и они перебрались туда. Новая комната была «рядом со старой, и окна выходили на ту же сторону» [242] – то есть они ближе к бульвару. Действительно, в письме брата Осипа Эмильевича, Александра, которое он написал отцу 19 марта 1932 года, указана другая квартира – 8. Жили Мандельштамы сначала в комнате 6, а затем в 8, или, напротив, первая их комната имела номер 8, а номер 6 – вторая – неясно. Александр Мандельштам сообщает отцу о брате и невестке: «В дополнение к пенсии они будут подрабатывать лит<ературной> работой – газетной или другой. Таким образом они пришли, наконец, к какой-то пристани» (правда, А.Э. Мандельштам упоминает в этом письме дом на Тверском бульваре под номером 24, но это явная неточность [243] .) Новое жилище было, в отличие от предыдущего, светлым. Об обстановке комнаты известно немного. «Смешно и подумать, что-

бы Мандельштамы смогли меблировать свою комнату. Два пружинных матраца да маленький кухонный столик, который им пожертвовала одна пожилая дама – новая знакомая», – пишет Э. Герштейн [244] . Флигель Дома Герцена, где Мандельштамы жили в 1932–1933 гг.

Как уже сообщалось, с середины 1920-х годов Мандельштам не писал стихов. Исключительно плодотворный период начала двадцатых сменился длившейся около пяти лет поэтической немотой. Однако после поездки в Армению в 1930 году молчание закончилось. В мартовской книжке журнала «Новый мир» за 1931 год печатается цикл «Армения» (двенадцать стихотворений). Эта публикация обозначила возвращение Мандельштама в современную поэзию. Творческая активность шла по нарастающей. Пишется и публикуется в этот, второй период жизни на Тверском бульваре немало. В апрельской и июньской книжках «Нового мира» за 1932 год появляются стихи Мандельштама: в № 4 – написанное еще в 1931-м стихотворение «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем...» и недавнее «О, как мы любим лицемерить...»; в № 6 – прошлогоднее стихотворение «Рояль» и три новых – «Там, где купальни, бумагопрядильни...», «Ламарк» (написаны в мае 1932 года) и «Батюшков» (создано в июне 1932-го). 21 апреля в газете «За коммунистическое просвещение», где тогда работала Надежда Мандельштам, увидела свет мандельштамовская статья «К проблеме научного стиля Дарвина». Б.С. Кузин

В «Четвертой прозе» Мандельштам заявил о своем уходе из литературы. Настоящий писатель – смертельный враг ненавистной «литературы». И хотя поэт называет «мразью» «разрешенную» литературу на любом языке, в любой стране, речь в случае Мандельштама идет в первую очередь, что само собой понятно, о допускаемой

и одобряемой властью словесности на русском языке, в Советском Союзе. Эта позиция актуализировала, делала естественным образом более значимой тесную связь Мандельштама с языком, который можно назвать для него почти вторым родным, – с немецким. Связь эта возникла в детские годы писателя и никогда не прерывалась. Говоря точнее, это не был чистый немецкий, а некая смесь немецкого и еврейского-идиша. Это был язык отца Мандельштама, Эмиля (Хацкеля) Вениаминовича, который родился в Литве и жил и учился в Германии. Немецкий язык так и остался для него более близким и привычным, чем русский, хотя, конечно, он и говорил, и писал по-русски. Русский язык пришел к Мандельштаму от матери, Флоры Осиповны. Она родилась в Вильне. Вильно (Вильнюс) не зря называли «литовским Иерусалимом». Естественно, мать поэта знала в той или иной мере идиш. Таким образом, Мандельштам был знаком с немецкой речью с добавлением идиша с раннего детства. Связь с немецким языком и немецкой культурой укрепилась в 1909–1910 годах, когда Мандельштам учился в Гейдельбергском университете, а потом лечился и жил в Берлине. И вот в 1932 году поэт признается в любви к немецкой речи *Б.С. Кузину* [246]

Себя губя, себе противореча,  
Как моль летит на огонек полночный,  
Мне хочется уйти из нашей речи  
За все, чем я обязан ей бессрочно.  
Есть между нами похвала без лести  
И дружба есть в упор, без фарисейства,  
Поучимся ж серьезности и чести

На Западе у чуждого семейства.  
Поэзия, тебе полезны грозы!  
Я вспоминаю немца-офицера:  
И за эфес его цеплялись розы,  
И на губах его была Церера.  
Еще во Франкфурте отцы зевали,  
Еще о Гете не было известий,  
Слагались гимны, кони гарцевали  
И, словно буквы, прыгали на месте.  
Скажите мне, друзья, в какой Валгалле  
Мы вместе с вами щелкали орехи,  
Какой свободой вы располагали,  
Какие вы поставили мне вехи?  
И прямо со страницы альманаха,  
От новизны его первостатейной,  
Сбегали в гроб – ступеньками, без страха,  
Как в погребок за кружкой мозельвейна.  
Чужая речь мне будет оболочкой,  
И много прежде, чем я смел родиться,  
Я буквой был, был виноградной строчкой,  
Я книгой был, которая вам снится.  
Когда я спал без облика и склада,  
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.  
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада

Иль вырви мне язык – он мне не нужен.

Бог Нахтигаль, меня еще вербуют

Для новых чум, для семилетних боен.

Звук сузился. Слова шипят, бунтуют,

Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

*8–12 августа 1932*

«Немец-офицер» – Христиан Эвальд Клейст, немецкий поэт, прусский офицер, погибший в Семилетней войне в 1759 году. Умер от ран, полученных в сражении с русскими войсками. Согласно рассказу Карамзина в «Письмах русского путешественника», в роковой для него битве Клейст продолжал драться до конца, несмотря на тяжелые ранения. Поверженный и брошенный казаками в болото, он назвал свое имя одному из русских офицеров. Клейст был отправлен во Франкфурт, где умер в госпитале. Отдавая дань его храбрости, русские офицеры присутствовали при его погребении. Мужественный Клейст, однако, не служит в стихотворении символом милитаризма, напротив: розы цепляются за эфес его шпаги, Церера – на его губах. Церера – римская богиня плодородия, покровительница земледельцев и посевов, подательница урожая, аналог греческой Деметры. В своем замечательном исследовании «немецкой темы в поэзии О. Мандельштама» Г. Киршбаум приводит мнение С. Симонека о том, что имя Цереры на устах Клейста, в стихах которого Церера не упоминается, отсылает к русскому поэту Батюшкову, у которого Церера обнаруживается в стихотворении «Гезиод и Омир – соперники», и добавляет: «Поводом для такого наложения послужил факт офицерства обоих поэтов. Один погиб в бою с русскими, другой —...певец русско-прусского военного братства –

участвовал в совместном Рейнском походе» [247] . (Рейнский поход – союзнические действия России и Пруссии в борьбе с Наполеоном.) Мандельштам отвергает и прежнее, и грозящие «семилетние боины». Стихи говорят о внутреннем изначально единстве русской и немецкой поэзии, России и Германии – «в какой Валгалле / Мы вместе с вами щелкали орехи?» (ср. в стихотворении 1916 года «Зверинец»: «И, в колыбели праарийской, / Славянский и германский лён!»; Валгалла – рай для павших в бою доблестных воинов). Судьба Клейста, у гроба которого склонили головы его противники, офицеры русской армии, замечательно соответствует идее братства и единства. Мандельштам, совсем недавно вынужденный отстаивать свою честь в измучившем его деле о переводе «Тилиа Уленшпигеля», видит в Христиане Клейсте и других немецких «друзьях»-поэтах пример стойкости в выполнении своего долга, серьезности, мужества перед смертью и в то же время легкого, радостного приятия жизни: «Сбегали в гроб – ступеньками, без страха, / Как в погребок за кружкой мозельвейна». В варианте стихотворения под названием «Христиан Клейст», записанном поэтом А.В. Звенигородским: «И прямо со страницы альманаха / Он в бой сошел и умер так же складно, / Как пел рябину с кружкой мозельвейна». Заявление о том, что лирическое «я» стихотворения, alter ego автора, уже существовало до рождения в виде некоего текста, буквы и книги, заставляет вспомнить об одной из характернейших черт еврейского взгляда на мир – представлении о том, что именно слово первично, а материальный мир вторичен. Не мир предшествовал Торе, а именно Тора, Священное писание предшествовало миру. Сознательно или нет, в стихотворении выражен именно такой взгляд.

Увлечение итальянской поэзией, в первую очередь Данте, отразилось в двух майских стихотворениях 1932 года:

Вы помните, как бегуны  
В окрестностях Вероны  
Еще разматывать должны  
Кусок сукна зеленый,  
И всех других опередит  
Тот самый, тот, который  
Из песни Данта убежит,  
Ведя по кругу споры.

*Май 1932; сентябрь 1935*

Увы, растаяла свеча  
Молодчиков каленых,  
Что хаживали вполплеча  
В камзольчиках зеленых,  
Что пересиливали срам  
И чумную заразу  
И всевозможным господам  
Прислуживали сразу.  
И нет рассказчика для жен  
В порочных длинных платьях,  
Что проводили дни, как сон,  
В пленительных занятиях:  
Лепили воск, мотали шелк,  
Учили попугаев

И в спальню, видя в этом толк,  
Пускали негодяев.

*22 мая 1932*

Эти два стихотворения сначала были одним целым под названием «Новеллино». Позднее оно разделилось надвое; к первому из приведенных стихотворений Мандельштам вернулся в воронежской ссылке. Оно, комментирует А.Г. Мец, «явилось в результате чтения песни XV “Ада” “Божественной комедии”, в которой описана встреча Данте с одним из его учителей, Брунетто Латини:

Он обернулся и бегом помчался,  
Как те, кто под Вероною бежит  
К зеленому сукну, причем казался  
Тем, чья победа, а не тем, чей стыд.



В. Милашевский.

Портрет Осипа Мандельштама. 1932

“Около Вероны раз в год устраивались состязания в беге... Победитель получал отрез зеленого сукна...” (перевод и примеч. М. Лозинского)». И, продолжает А. Мец, Мандельштам, процитировав это место «Ада» в собственном переводе, «заметил: “В дантовском понимании учитель моложе ученика, потому что бегаёт быстрее” (“Разговор о Данте”, гл. II)» [250] . Второе стихотворение восходит к Боккаччо и другим итальянским новеллистам. Плутводство, моральная неразборчивость в сочетании с удалством и легкостью, характерные для «молодчиков каленых», замечательно представлены и в ранней редакции этих «итальянских» стихов (в записи Н.Я. Мандельштам; после приводимых ниже стрóf в ее записи

следуют две строфы, начинающиеся строкой «Увы, растаяла свеча...»):

Вы помните, как бегуны  
У Данта Алигьери  
Соревновались в честь весны  
В своей зеленой вере.  
По темнобархатным лугам  
В сафьяновых сапожках  
Они мелькали по холмам,  
Как маки по дорожкам.  
Уж эти мне говоруны  
Бродяги флорентийцы,  
Отъявленные все лгуны,  
Наемные убийцы.  
Они под звон колоколов  
Молились богу спьяну  
Они дарили соколов  
Турецкому султану.

Во влечении к чужим языкам Мандельштаму, однако, виделось и нечто «изменническое», некий соблазн. Это таит опасность подпадения под власть иной речи, иного звукового строя. Об этом будет сказано позже, в написанных в 1933 году крымских стихах:

Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть:

Ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами уку-  
сить!

О, как мучительно дается чужого клекота почет:

За незаконные восторги лихая плата стережет!

*«Не искушай чужих наречий, но постарайся их за-  
быть...»*

Летом 1932 года Мандельштам живет в основном в санатории ЦЕКУБУ в Болшеве, но часть лета проводит в городе. 21 июня знакомится с поэтом А.В. Звенигородским. 9 июля к Мандельштамам во флигель Дома Герцена приходит Анна Ахматова. 8 сентября 1932 года поэт заключает договор с Государственным издательством художественной литературы (ГИХЛ) на книгу «Стихи», а 31 января 1933-го подписывает с тем же ГИХЛом договор на «Избранное». Ни то, ни другое издание не состоялось. Майские дни 1932-го остались в стихотворении «Там, где купальни-бумагопрядильни...».

Там, где купальни-бумагопрядильни

И широчайшие зеленые сады,

На Москве-реке есть светоговорильня

С гребешками отдыха, культуры и воды.

Эта слабогрудая речная волокита,

Скучные-нескучные, как халва, холмы,

Эти судоходные марки и открытки,

На которых носимся и несемся мы.

У реки Оки вывернуто веко,

Оттого-то и на Москве ветерок.

У сестрицы Клязьмы загнулаась ресница,

Оттого на Яузе утка плывет.

На Москве-реке почтовым пахнет клеем,

Там играют Шуберта в раструбы рупоров.

Вода на булавках, и воздух нежнее

Лягушиной кожи воздушных шаров.



Набережная у храма Христа Спасителя



Лодки на Москве-реке. Фотография И. Ильфа

Парк культуры и отдыха был открыт в августе 1928 года. Он включил в себя три части – территорию, где в 1923 году проходила первая Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, Голицынский и Нескучный сады. Имя Горького парку присвоили уже после написания мандельштамовского стихотворения – 25 сентября 1932 года (тогда же и Тверская стала улицей Горького). Купальни на Москве-реке действительно были; находились на реке и некоторые предприятия. Возможно, более верным вариантом первого стиха стоит считать «Там, где купальни, бумагопрядильни» (через запятую) – в таком виде первая строка приводится в ряде изданий Мандельштама. Вообще купающихся, загорающих и катающихся на лодках в теплые дни на Москве-реке было много. Очерк С. Алымова «В кругу Москвы» (1927) свидетельствует об этом: «От Каменного моста до пышно-зеленых Воробьевых гор, через изумрудное великолепие Нескучного сада растянулась по отмелям гир-

лянда обнаженных, блаженствующих тел. В лодках та же бронзовая мускулатура, что и на берегу. Крылатые взмахи весел несут вверх по течению далеко за Москву, где уже нет трамваев и городской суеты» [251]. В стихе «Судоходные марки и открытки» отозвалась, видимо, строка из написанного годом ранее, в июне 1931 года, стихотворения «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!»: «И вся Москва на яликах плывет». Характеризуя «Там, где купальни-бумагопрядильни...», Надежда Мандельштам отмечает, что это стихотворение – «вспышка любви к Москве, как бы остаток нежности», которая выразилась в белых стихах 1931 года и в прозе «Путешествие в Армению». «Эти стихи, – продолжает Н.Я. Мандельштам, – результат поездок по Москве весной – Нескучный сад, где, как О.М. всегда помнил и всегда напоминал мне, обменялись клятвами два мальчика – Огарев и Герцен. <...> Москва в “удельных речках” [252] – тоже постоянная нежность О.М. Здесь чувство близости, родства и единства всех этих московских речонок, фольклорная песенка об их единстве. Единственный образ, который может показаться непонятным, – это “вода на булавах”. Это струйки, текущие из разъезжающей по парку бочки-лейки» [253]. Такую бочку-лейку мы находим и в прозе Мандельштама – в повести «Египетская марка»: «Бочка опрыскивала улицу шпагатом тонких и ломких струн». И в черновиках «Египетской марки»: «Вот проехала бочка, обросшая светлой щетиной ломких водяных струй, и садовник сидел на ней князем». Не очень понятным остается, вопреки утверждению Н. Мандельштам, и почему «на Москве-реке почтовым пахнет клеем». По мнению М.Л. Гаспарова, это говорится о запахе, доносящемся от ближней к Парку культуры и отдыха кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Это мнение представляется не очень

убедительным: «кондитерские» ароматы и запах клея различны. По нашему мнению, воспоминание о запахе почтового клея возникает в сознании в связи с «судоходными марками и открытками»: берег парка, деревья, купальщики, лодки – все это напоминает открытки с видами курортных мест, которые отдыхающие посылают домой, родственникам и знакомым, – отсюда и почтовая ассоциация. В «Стихах о русской поэзии», написанных в правом флигеле Дома Герцена, выражено радостное приятие жизни – неслучайно в первом из стихотворений цикла появляются, на фоне весело хлещущего дождя, такие жизнелюбцы, как Державин и Языков.

I

Сядь, Державин, развалился,  
Ты у нас хитрее лиса,  
И татарского кумыса  
Твой початок не прокис.  
Дай Языкову бутылку  
И подвинь ему бокал.  
Я люблю его ухмылку,  
Хмеля бьющуюся жилку  
И стихов его накал.  
Гром живет своим накатом —  
Что ему до наших бед? —  
И глотками по раскатам  
Наслаждается мускатом  
На язык, на вкус, на цвет.

Капли прыгают галопом,  
Скачут градины гурьбой,  
Пахнет городом, потопом —  
Нет – жасмином, нет – укропом,  
Нет – дубовою корой!

Г.Р. Державин был потомком одного из татарских мурз, отсюда упоминание «татарского кумыса». Конечно, это и характеристика «варварской» мощи, цветистости и «непричесанности» державинской поэзии. В некоторых изданиях встречаем иной вариант стиха 17 в качестве основного: «Пахнет потом – конским топом...». (См., например: Мандельштам О. Стихотворения. Проза. М., 2001.) И во втором стихотворении цикла гроза не прекращается:

II

Зашумела, задрожала,  
Как смоковницы листва,  
До корней затрепетала  
С подмосковными Москва.  
Катит гром свою тележку  
По торговой мостовой,  
И расхаживает ливень  
С длинной плеткой ручьевой.  
И угодливо-поката  
Кажется земля – пока  
Шум на шум, как брат на брата,  
Восстает издалека.

Капли прыгают галопом,  
Скачут градины гурьбой  
С рабским потом, конским топом  
И древесною молвой.

«Смоковница», видимо, имеется в виду евангельская, которой Иисус, не найдя на ней смокв, предрек бесплодие. Звуковое подобие слов «СМОКОВницы», «подМОСКОВными» и «МОСКВа» очевидно, но смысловая связь не столь ясна. Здесь, несомненно, снова появляется мотив московской хитрости, оборотистости и готовности к подчинению силе, который звучал в стихотворении 1918 года «Все чуждо нам в столице непотребной...» и в очерке «Сухаревка»; вспомним: «Она в торговле хитрая лисица, / А перед князем – жалкая раба...» – и сопоставим с «угодливо-покатой» торговой московской землей, по которой расхаживает с длинной плетью ливень. Финальное предложение «Сухаревки»: «Несколько пронзительных свистков [254] – и все прячется, упаковывается, уволакивается – и площадь пустеет с той истерической поспешностью, с какой пустели бревенчатые мосты, когда по ним проходила колючая метла страха». «Развернуть строительство метро!» 1932

Вслед за Державиным и Языковым из первой части «Стихов о русской поэзии» во второй в одном из вариантов появляется деловитый и успешный в журнальной «торговле» Некрасов (стихи 5–6): «У Некрасова тележка / На торговой мостовой». Гроза для Мандельштама – всегда символ настоящего события: в истории ли, в культуре ли, в природе ли. Рост растения, например, описан Мандельштамом в «Путешествии в Армению» так: растение – «посланник живой грозы, перманентно бушующей в мироздании, – в одинаковой степени сродни и камню, и

молнии! Растение в мире – это событие, происшествие, стрела, а не скучное бородатое развитие!». Это восприятие жизни в постоянной и часто непредсказуемой динамике, несомненно, связано у Мандельштама с философией Анри Бергсона, идеями которого поэт был очень увлечен в молодости и интерес к которому оживился снова в начале 1930-х годов. Одному из стихотворений немецкого революционного поэта Макса Бартеля, чьи стихи Мандельштам переводил в середине 1920-х, он дал в переводе название «Гроза правá» (по одной из строк Бартеля), хотя в оригинале оно называется «Лес и гора» (“Wald und Berg”) (приводим начальные четверостишия):

Лесная загудела качка.

Кидаюсь в песню с головой!

Вот грома темная заплачка.

Ей вторит сердца темный вой.

Разлапый, на корню, бродяга,

С лазурью в хвойных бородах,

Брат-лес, шуми в сырых оврагах,

Твоих студеных погребях.

Подпочва стонет. Сухожилья

Корней пьют влажные права.

В вершинах жизни изобилье.

Гроза права. Гроза права.

«Поэзия, тебе полезны грозы!» – в который раз подтверждает Мандельштам свою позицию в стихотворении «К немецкой речи». В написанных на Тверском бульваре стихах появляются и «Лермонтов, мучитель наш», и Фет, и Тютчев, с которым у Мандельштама всегда связывалось

чувство надвигающейся или разразившейся грозы (не только в природе, но и в исторической, политической жизни), и Веневитинов, и Боратынский... Мандельштам смакует их «стихов виноградное мясо» (как сказано в приводимом ниже стихотворении о Батюшкове). Каждый представлен со своим, непросто разгадываемым атрибутом, только «перстень – никому».

Дайте Тютчеву стреко́зу —

Догадайтесь, почему.

Веневитинову – розу,

Ну а перстень – никому.

Баратынского подошвы

Раздражают прах веков.

У него без всякой прошвы

Наволочки облаков.

А еще над нами волен

Лермонтов – мучитель наш,

И всегда одышкой болен

Фета жирный карандаш.

*8 июля(?) 1932*

Исследователи (в первую очередь надо назвать Омри Ронена) давно определили значение упомянутых атрибутов – нашли, в частности, стрекозу у Тютчева («В душном воздуха молчанье, / Как предчувствие грозы, / Жарче роз благоуханье, / Звонче голос стрекозы...»). Непростому образу стрекозы у Мандельштама, Тютчева и вообще в русской литературе посвящена блестящая работа Ф.Б. Успенского [257]. Нашли и розу у Веневитино-

ва, в его стихотворении «Три розы». «Перстень носил Пушкин, воспевал Веневитинов (эксгумация останков Веневитинова и изъятие его перстня для музея произошли совсем недавно, в 1931 году)», – комментирует М.Л. Гаспаров [258]. Уточним: эксгумация останков Веневитинова произошла в 1930 году (поэт был похоронен на кладбище Симонова монастыря); перстень поэта находится в настоящее время в Государственном литературном музее. Вероятно, у Мандельштама все-таки имеется в виду главным образом пушкинский перстень: ведь Веневитинов уже «получил» в стихотворении розу. Что же касается знаменитого перстня Пушкина, то он, побывав после смерти поэта у В.А. Жуковского, его сына Павла Васильевича, И.С. Тургенева и Полины Виардо, был передан последней в Пушкинский музей Императорского Александровского лицея. Перстень-печатка из музея исчез – был украден в революционное время; сохранился, однако, его оттиск – надпись на древнееврейском языке гласит: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа, да будет благословенна его память». Как видим, в надписи упомянут некий уважаемый тезка Мандельштама. По всей вероятности, перстень этот принадлежал какому-то крымскому караиму. Бренность человеческой жизни, и отдельного человека, и целых народов – одна из важнейших тем поэзии Боратынского (Мандельштам пишет его фамилию через два «а»; узаконено и то, и другое написание, но с точки зрения исторической больше оснований для варианта «Боратынский»). «Баратынского подошвы раздражают прах веков» и в его ранних «Финляндии» и «Риме», и в «Черепе», и в написанном незадолго до смерти стихотворении «Дядьке-итальянцу»: «В свои расселины вы приняли певца, / Граниты финские, граниты вековые... < ...> / Умолк призывный щит, не слышен скальда глас, /

Воспламененный дуб угас, / Развеял бурный ветер торжественные клики; / Сыны не ведают о подвигах отцов; / И в дольном прахе их богов / Лежат поверженные лики! / И все вокруг меня в глубокой тишине!» («Финляндия»); «Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель, / Ты был ли, о свободный Рим? / К немym развалинам твоим / Подходит с грустью их чуждый навеститель...» («Рим»); «Усопший брат! кто сон твой возмутил? / Кто пренебрег святынею могильной? / В разрытый дом к тебе я нисходил, / Я в руки брал твой череп желтый, пыльный!» («Череп»; как не вспомнить прозвище, которым наградили Боратынского друга-поэты: Гамлет-Боратынский); «А я, я, с памятью живых твоих речей, / Увидел роскоши Италии твоей! / <...> / И Цицеронов дом, и злачную пещеру, / Священную поднесь Камены суеверу, / Где спит великий прах властителя стихов...» («Дядьке-итальянцу»; «властитель стихов» – Вергилий). Хрупки, непрочны, подобно облакам, и поэтические образы, утверждает Боратынский: «Чудный град порой сольется / Из летучих облаков, / Но лишь ветер его коснется, / Он исчезнет без следов. // Так мгновенные созданыя / Поэтической мечты / Исчезают от дыханья / Посторонней суеты» («Чудный град порой сольется...») [259] . От облаков Боратынского переход к Лермонтову вполне логичен, поскольку последний был для Мандельштама неразрывно связан с «небесной» тематикой, в первую очередь через «Выхожу один я на дорогу...»: «...И звезда с звездой говорит. / В небесах торжественно и чудно...» Память Н.Я. Мандельштам сохранила еще одну строфу к стихотворению «Дайте Тютчеву стрекóзу...», в которой иронически трактуется тема славянофильского мессианизма:

А еще, богохранима,

На гвоздях торчит всегда  
У ворот Ерусалима  
Хомякова борода.

Борода, символ славянофильской верности «народной правде», «торчит» у ворот Иерусалима, подобно щиту Олега, который тот, по преданию, прибил к воротам Царьграда. Стихи отсылают к строкам А.С. Хомякова о въезде Иисуса в Иерусалим: «Широка, необозрима, / Чудной радости полна, / Из ворот Ерусалима / Шла народная волна». Батюшков

Словно гуляка с волшебною тростью,  
Батюшков нежный со мною живет.  
Он тополями шагает в замостье,  
Нюхает розу и Дафну поет.  
Ни на минуту не веря в разлуку,  
Кажется, я поклонился ему —  
В светлой перчатке холодную руку  
Я с лихорадочной завистью жму.  
Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.  
И не нашел от смущения слов:  
Ни у кого — этих звуков изгибы,  
И никогда — это говор валов...  
Наше мученье и наше богатство,  
Косноязычный, с собой он принес  
Шум стихотворства и колокол братства  
И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:

Я к величаньям еще не привык,

Только стихов виноградное мясо

Мне освежило случайно язык...

Что ж! Поднимай удивленные брови,

Ты, горожанин и друг горожан,

Вечные сны, как образчики крови,

Переливай из стакана в стакан...

*18 июня 1932* У памятника Пушкину. Тверской бульвар, начало 1930-х

Константин Батюшков был одним из самых любимых поэтов Мандельштама. «Оплакавший Тасса» – речь идет об элегии Батюшкова «Умиравший Тасс», посвященной итальянскому поэту Торквато Тассо. «Дафна – видимо, “Зафна” из стих. Батюшкова “Источник”, написанного тем же размером (что и “Батюшков” Мандельштама. – Л.В.)», – комментирует М.Л. Гаспаров [260]. Неслучайно Мандельштам встречает Батюшкова, «горожанина и друга горожан», «гуляку с волшебной тростью», на улице. (Напомним, что трость – это автобиографическая черта: ко времени написания стихотворения у Мандельштама была одышка, и он ходил с «белорукой», как она именуется в одном из стихотворений, тростью.) Для того чтобы представить себе встречу с Батюшковым на московской улице или площади или даже конкретно на Тверском бульваре, неподалеку от флигеля Дома Герцена, где жили Мандельштамы, имелись все основания: «гуляка» Батюшков сам описал себя бродящим по Белокаменной в своем очерке «Прогулка по Москве»: «Итак, мимоходом, странствуя из дома в дом, с гулянья на гулянье, с ужина на

ужин, я напишу несколько замечаний о городе и о нравах жителей, не соблюдая ни связи, ни порядка...» Описав Кремль и Кузнецкий мост, автор очерка обращается к Тверскому бульвару. «Теперь мы выходим на Тверской бульвар, который составляет часть обширного вала. Вот жалкое гульбище для обширного и многолюдного города, какова Москва; но стечение народа, прекрасные утра апрельские и тихие вечера майские привлекают сюда толпы праздных жителей. <...> Совершенная свобода ходить взад и вперед с кем случится, великое стечение людей знакомых и незнакомых имели всегда особенную прелесть для ленивцев, для праздных и для тех, которые любят замечать физиономии. А я из числа первых и последних» [261]. Попутно отметим интересное совпадение. В том же очерке «Прогулка по Москве» Батюшков уделяет внимание и состоянию переводческого дела: «Кто не бывал в Москве, тот не знает, что можно торговать книгами точно так, как рыбой, мехами, овощами и прочим, без всяких сведений в словесности; тот не знает, что здесь есть фабрика переводов, фабрика журналов и фабрика романов и что книжные торгошники покупают ученый товар, то есть переводы и сочинения, на вес, приговаривая бедным авторам: не качество, а количество! не слог, а число листов!» [262] А Мандельштам пишет в 1929 году, в разгар истории с переводом «Тилиа Уленшпигеля», статью о переводческом деле «Потоки халтуры» (это была тогда для него, естественно, чрезвычайно «затрагивающая» тема), где также сетует на качество переводов, погоню за количеством листов и использует «фабричные» сравнения: «К самому переводу относятся, как к пересыпанию зерна из мешка в мешок. Чтобы переводчик не утаил, не украл зерна при пересыпке, текст по методу лабазного контроля оплачивается с русского, а не

с подлинника, и вот годами по этой с виду ничтожной причине книги пухнут, болеют водянкой. Переводчики нагоняют "листаж"...» «...За безобразное, возмутительное до того, что отказываешься верить, состояние мастерских, в которых изготавливается для нашего читателя мировая литература, за порчу приводных ремней, которые соединяют мозг массового советского читателя с творческой продукцией Запада и Востока, Европы и Америки, всего человечества в настоящем и прошлом, – за это неслыханное вредительство до сих пор никто не отвечает...» (Обнаружив это сходство, автор книги, естественно, обрадовался. Но через некоторое время выяснилось, что он открыл Америку: о возможной связи между «Прогулкой по Москве» Батюшкова и статьей Мандельштама уже написал О. Ронен почти тридцать лет тому назад.) Тверской бульвар зимой

Русскую поэзию в ее историческом движении Мандельштам видел отнюдь не как благостную картину, а как сложное переплетение влияний, притяжений и отталкиваний, союзов, дружб и ссор, соперничества и ревности. Таким образом, она могла быть уподоблена заросшему, запутанному лесу с его яркими и таинственными обитателями. Об этом – в третьей части «Стихов о русской поэзии». *С.А. Клычкову*

Полюбил я лес прекрасный,  
Смешанный, где козырь – дуб,  
В листьях клена – перец красный,  
В иглах – еж-черноголуб.  
Там фисташковые молкнут  
Голоса на молоке,

И когда захочешь щелкнуть,  
Правды нет на языке.  
Там живет народец мелкий,  
В желудевых шапках все,  
И белок кровавый белки  
Крутят в страшном колесе.  
Там щавель, там вымя птичье,  
Хвой павлинья кутерьма,  
Ротозейство и величье  
И скорлупчатая тьма.  
Тычут шпагами шишиги,  
В треуголках носачи,  
На углях читают книги  
С самоваром палачи.  
И еще грибы-волнушки  
В сбруе тонкого дождя  
Вдруг поднимутся с опушки  
Так – немного погода...  
Там без выгоды уроды  
Режутся в девятый вал,  
Храп коня и крап колоды,  
Кто кого? Пошел развал...  
И деревья – брат на брата —  
Восстают. Понять спеши:

До чего аляповаты,  
До чего как хороши!

*2–7 июля 1932*

Стихотворение кончается восстанием деревьев «брат на брата». Мандельштаму было присуще кровноличное, страстное отношение к литературе. Такое отношение пришло к поэту в годы отрочества и сохранилось навсегда. «Литературная злость! Если б не ты, с чем бы стал я есть земную соль? – пишет Мандельштам в “Шуме времени”. – Ты приправа к пресному хлебу пониманья, ты веселое сознание неправоты, ты заговорщицкая соль, с ехидным поклоном передаваемая из десятилетия в десятилетие, в граненой солонке, с полотенцем! <...> Начиная от Радищева и Новикова, у В.В. [263] устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство, с благородной завистью, ревностью, с шутливым неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье. <...> В.В. учил строить литературу не как храм, а как род. В литературе он ценил патриархальное отцовское начало культуры. Как хорошо, что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературной (В.В.Г.) злости!» Мандельштам воспевает (там же, в «Шуме времени») «злое и веселое шипенье хороших русских стихов»; играет шипящими и вышеприведенное «лесное» стихотворение. «Ротозейство и величье», палачи и жертвы, книги и «скорлупчатая тьма» – все это складывается в сюрреалистическую картину ужасного и «прекрасного» леса. С.А. Клычков

Была здесь, по крайней мере однажды, в июле 1932 года, Ахматова. Лев Горнунг, пришедший к Мандельштаму 9 июля и заставший у него Анну Андреевну, пожалел

– у него «не было с собой фотоаппарата, так было бы хорошо их снять вдвоем, еще совсем молодых» [266] . Мандельштам и Ахматова стали друзьями еще в 1910-е годы, и дружба объединила их навсегда. Мандельштам высоко ценил поэзию Ахматовой (что не помешало ему в начале 1920-х годов дважды достаточно резко критиковать ее).  
Э.Г. Герштейн

Благодаря дружбе с биологом-ламаркистом Кузиным у Мандельштама возник интерес к биологии. Поэт читает Дарвина, Ламарка, Линнея, Палласа, появляются биологические пассажи в «Путешествии в Армению», в апреле 1932 года в газете «За коммунистическое просвещение» печатается статья Мандельштама «К проблеме научного стиля Дарвина (Из записной книжки писателя)». А на страницах «Нового мира» (№ 6 за 1932 год) публикуется стихотворение «Ламарк».

    Был старик, застенчивый, как мальчик,  
    Неуклюжий, робкий патриарх...  
    Кто за честь природы фехтовальщик?  
    Ну конечно, пламенный Ламарк.  
    Если все живое – лишь помарка  
    За короткий выморочный день,  
    На подвижной лестнице Ламарка  
    Я займу последнюю ступень.  
    К кольцецам спущусь и к усоногим,  
    Прошуршав среди ящериц и змей,  
    По упругим сходням, по излогам  
    Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,  
От горячей крови откажусь,  
Обрасту присосками и в пену  
Океана завитком вопьюсь.  
Мы прошли разряды насекомых  
С наливными рюмочками глаз.  
Он сказал: природа вся в разломах,  
Зренья нет – ты зришь в последний раз.  
Он сказал: довольно полнозвучья,  
Ты напрасно Моцарта любил,  
Наступает глухота паучья,  
Здесь провал сильнее наших сил.  
И от нас природа отступила  
Так, как будто мы ей не нужны,  
И продольный мозг она вложила,  
Словно шпагу, в темные ножны.  
И подъемный мост она забыла,  
Опоздала опустить для тех,  
У кого зеленая могила,  
Красное дыханье, гибкий смех...

*7–9 мая 1932*

Герой стихотворения проходит путь по эволюционной лестнице Ламарка сверху вниз – от наиболее развитых биологических форм к низшим. Подобно Вергилию, сопровождающему Данте в его спуске по кругам ада, Ламарк сопутствует герою, торжественно-сурово провозгла-

шая очередную потерю из набора способностей восприятия. Ключевыми для понимания смысла стихотворения являются первые два четверостишия, в остальных с великолепной изобразительной силой запечатлен собственно спуск по ступеням деградации. В мандельштамовском живописном полотне этого стихотворения все движется, преображается, переходит одно в другое, метаморфозы происходят на наших глазах: герой «сокращается», обростает роговой мантией, наливные рюмочки глаз насекомых смотрят на проходящих через их «разряды», природа вкладывает продольный мозг «в темные ножны»... Читатель не только видит, но и слышит представленное движение: «пРоШурШав сРедь яЩеРиЦ и Змей» – мир пресмыкающихся лучше не опишешь. (Напоминает пушкинское, из «Песни о вещем Олеге» – также выделим соответствующие звуки: «Из мертвой главы гробовая Змия / Шипя меЖду тем выполЗала»; медленное движение змеи и ее шипенье ощутимы почти физически.) Блестящий анализ собственно поэтической природы стихотворения содержится в работе А.К. Жолковского «Еще раз о мандельштамовском “Ламарке”». Так как же он сделан?» [267]. Сопоставляя это стихотворение с другими текстами Мандельштама, в первую очередь с его «Путешествием в Армению», многие исследователи обоснованно отмечали антидарвинистский аспект «Ламарка» – см., в частности, работы И.В. Корецкой и Т.В. Игошевой [270]. В противовес представлению о безлично сортирующей более и менее приспособленных особей механике естественного отбора Мандельштам славит «пламенного Ламарка» с его пафосом творческого реагирования на среду как основы развития. Однако, думается, процитированное стихотворение позволяет говорить о том, что «Ламарк» отвергает не только дарвиновскую эволюцию, но и

имеет более широкое поле атаки – нацелен на такие концепции прогресса, в которых абсолютизируется сам процесс развития, затушевывается уникальность индивидуального, приносимого в жертву всеобщему, акцент делается на могуществе среды. Представляется, что объектом мандельштамовской полемики в данном случае неизбежно становился и основанный на атеистически препарированном Гегеле марксизм с его приматом классового над личностным (независимо от того, признавал это Мандельштам или просто не думал об этом в момент написания стихотворения). Споры между приверженцами Ламарка и дарвинистами затрагивали марксистские представления о мире: «В СССР, – замечает Б.М. Гаспаров, – полемика между неоламаркистами и сторонниками дарвиновской теории эволюции приобрела идеологическую остроту в связи с опубликованием в 1925 году (на русском языке) неоконченной книги Энгельса “Диалектика природы” – сочинения, проникнутого идеями позитивистской науки своего времени и в частности идеями дарвиновской теории эволюции. Это событие способствовало последующей канонизации дарвинизма в рамках марксистской методологии, с неизбежными последствиями для оппонентов» [271] .

Итак, интерес к Ламарку сопровождался у Мандельштама новым обращением к Бергсону. Но спиритуализм Бергсона, его представление о том, что лежащий в основе эволюции жизненный порыв имеет нематериальную природу, никак не совместим с марксистским материализмом. Кроме того, если «все живое лишь помарка», удобрение для последующих поколений, которые в свою очередь обречены на бессмысленную гибель в ходе так называемого прогресса, не имеющего никакой сверхзадачи (все эволюционное движение, вся история жизни –

лишь «короткий выморочный день»), – если это так, поэт отвергает такое «развитие». Т. Игошева пишет: «Образ жизни “помарки”, возникающий в начале стих., является худож. реализацией мысли о биологич. (в конечном счете – историческом) развитии как тупиковом, пошедшем в какой-то момент по ошибочному пути» (сокращения – в цитируемом тексте) [272]. Таким образом, «короткий выморочный день» понимается как некий пункт во времени, в прошедшем, когда эволюция пошла по «неверному» пути, и «все живое»-«помарка» – следствие этого критического момента. Жизнь-«помарка» – «возмездие» за этот момент эволюции. Точка зрения автора данной книги несколько иная: мы понимаем предлог «за» в выражении «За короткий выморочный день» скорее как «в течение» (по типу выражения «за весь день», «за прошедшую неделю» и т. п.). «Выморочный день» – жизнь, не приносящая плодов, лишенная идеи спасения и преображения, беспросветный, никуда не ведущий туннель. Мандельштаму такой взгляд был совершенно чужд. «Движение бесконечной цепи явлений, без начала и конца, есть именно дурная бесконечность...» («О природе слова»). В его восприятии жизни доминировало представление о жизни как о Божьем даре, хотя высказывался поэт на эту тему, как и обо всем наиболее для него дорогим и важным, скупно. Однако в одном из стихотворений интересующего нас периода говорится с редкой для поэта прямо-той:

*Помоги, Господь, эту ночь  
прожить,  
Я за жизнь боюсь – за твою  
рабу...*

*«Помоги, Господь, эту ночь прожить...», 1931*

Представляется, что во втором четверостишии из «Ламарка» Мандельштам мог процитировать известное письмо В. Белинского В. Боткину (от 1 марта 1841 года), в котором автор отказывается признать разумным и гармоничным гегелевский мир и закрыть глаза на неизбежные жертвы: «Благодарю покорно, Егор Федорыч [273] , – кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень лестницы развития – я и там бы попросил вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II-го и пр., и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен на счет каждого из моих братьев по крови. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии» [274] . Как видим, мандельштамовское четверостишие и рассуждение из письма Белинского подобны в значимых аспектах – во фразе, начинающейся с «если...», важную роль играет слово «ступень»: Белинский заявляет об отказе от места на верхней, Мандельштам – о готовности занять последнюю. Возможную связь между «Ламарком» и письмом Белинского давно отметил литературовед Б.М. Сарнов. В «Четвертой прозе» Мандельштам недвусмысленно заявил, что он – не с теми, кто «бьет по лежащим, требует казни для пленников», а с теми (хотя они и не ангелы), кого надо, по мнению ретивых вершителей исторической необходимости, не особенно задумываясь, ликвидировать во имя прогресса:

«Приказчик на Ордынке работницу обвесил – убей его!

Кассирша обсчиталась на пятак – убей ее!

Директор сдуру подмахнул чепуху – убей его!

Мужик припрятал в амбаре рожь – убей его!»

Как нам кажется, и в «Четвертой прозе», и в «Ламарке» поднимается вопрос о смысле и цене прогресса. Это отмечает в своей указанной работе и И.В. Корецкая. В «Четвертой прозе» Мандельштам отрекается от звания писателя («Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными»); в «Ламарке» же он отказывается от пребывания на верхней ступени лестницы развития, если оно представляет собой лишь бессмысленное вытеснение одних форм жизни другими. Попутно заметим, что в антисталинских стихах «Мы живем, под собою не чуя страны...», которые будут созданы годом позже, в 1933-м, умалчивают («Наши речи за десять шагов не слышны») отнюдь не все. В окружении «кремлевского горца» «кто свистит, кто мяучит, кто хнычет». Человеческий язык заменяется звериным. Уж лучше замолчать совсем, чем «с волками жить – по-волчьи выть». И эта мысль – о прогрессирующем вырождении – также, с нашей точки зрения, содержится в «Ламарке». Здесь мы совершенно согласны с теми, кто писал об этом. Окна библиотеки Зоологического музея

В замечательных воспоминаниях Б. Кузина зафиксирован образ Мандельштама этой поры – человека, неистребимо укорененного в жизни, стойкого и веселого: «Чаще всего... у Мандельштамов не было денег. Не на что было есть, курить. Негде бывало жить. Но было по-

стоянно и еще нечто, несравненно более тяжелое для поэта, – обиды и неудачи в отчаянной борьбе за свое выявление, за аудиторию. Обо всем этом не мог не идти разговор при наших почти ежедневных тогда встречах. Но я не могу припомнить ни одного самого мрачного момента, в который нельзя было ожидать от О.Э. остроты, шутки, сопровождающейся взрывом смеха. <...> Шутить и хохотать можно было всегда. Был у нас даже особый термин “ржакт” (от глагола “ржать”) – для обозначения веселого и самого разнообразного по тематике зубоскальства...» [275] Любовь к «зубоскальству» выражалась у Мандельштама, в частности, в писании многочисленных шуточных стихов, которым он сам не придавал большого значения. Так, он сочинял бесконечные эпиграммы на своего знакомого А.О. Моргулиса, который некоторое время работал в газете «За коммунистическое просвещение» (туда он устроил на службу и Надежду Яковлевну). Эти стихи Осип Эмильевич называл «моргулеты», почти в каждом из них были слова «старик Моргулис», хотя знакомый поэта вообще не был стариком.

У старика Моргулиса глаза  
Преследуют мое воображенье,  
И с ужасом я в них читаю: «За  
Коммунистическое просвещенье!»  
Или:  
Старик Моргулис под сурдинку  
Уговорил мою жену  
Вступить на торную тропинку  
В газету гнусную одну.

Такую причинить обиду  
За небольшие барыши!  
Так отслужу ж я панихиду  
За ЗКП его души!

Мандельштам бывал в редакции этой газеты и опубликовал в ней, как было упомянуто выше, статью «К проблеме научного стиля Дарвина». Вернувшись в Москву, Мандельштам не мог не написать об увиденном в Крыму:

Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым,  
Как был при Врангеле – такой же виноватый.  
Комочки на земле. На рубищах заплаты.  
Все тот же кисленький, кусающийся дым.  
Все так же хороша рассеянная даль.  
Деревья, почками набухшие на малость,  
Стоят как пришлые, и вызывает жалость  
Пасхальной глупостью украшенный миндаль.  
Природа своего не узнает лица,  
И тени страшные Украины и Кубани...  
На войлочной земле голодные крестьяне  
Калитку стерегут, не трогая кольца.

По свидетельству Н.Я. Мандельштам, «даль» первоначально характеризовалась как «расстрелянная». Источником публикаций этого стихотворения является его запись, сделанная следователем на допросе, которому поэт был подвергнут после ареста в мае 1934 года. Мандельштам подписал текст, т. е. авторизовал эту запись, однако «комочки» в третьем стихе можно прочесть

также как «колючки»; кроме того, следовательская рукопись позволяет прочесть стихи 6–8 и следующим образом: «Деревья, почками набухшие на малость, / Стоят как пришлые и вызывают жалость, / Пасхальной глупостью украшенный миндаль». В этом случае «жалость» относится, очевидно, к деревьям, но тогда в конце седьмого стиха уместно было бы поставить точку или точку с запятой. На автобусной остановке. 1930-е

Может быть, переезд не был одномоментным, а какое-то время Мандельштамы, во время строительных доделок нового здания, уже официально «вселившись», сохраняли за собой и комнату во флигеле на Тверском бульваре? Во всяком случае, Мандельштам читал крамольное стихотворение в «герценовском» флигеле – так запомнилось С.И. Липкину: «В последний раз я видел Мандельштама, посетив его вместе с Г.А. Шенгели. Он жил, после воронежской ссылки, полулегально. Квартира была хорошая, в писательской надстройке в Нащекинском [294] переулке (теперь улица Фурманова). Мандельштам читал нам чудные воронежские стихи, и мне вспомнилось, как я с тем же Шенгели, за несколько лет до этого, пришел к Мандельштаму в комнату в Доме Герцена, и Мандельштам прочел нам стихотворение об осетинском горце, предварительно потребовав поклясться, что никому о стихотворении не скажем. Я понял, что он и боится, и не может не прочесть эти строки <...>. Шенгели побледнел, сказал: Написав эти стихи, Мандельштам не мог их не читать. И – читал разным людям. Кончиться это могло только так, как кончилось, – арестом. Арестован он был через несколько месяцев – в мае 1934 года, в квартире на улице Фурманова. Мандельштам не хотел погибать, но ясно понимал, что ему грозит, и был внутренне готов к этому. Уже к концу 1920-х годов он понял, что на-

дежда как-то затеряться и остаться незамеченным для него нереально. А в стихотворении 1931 года уже было провидчески сказано:

Нет, не спрятаться мне от великой муры  
За извозчичью спину Москвы.

В предыдущей главе книги приводился отзыв артиста Владимира Яхонтова о московских стихах Мандельштама начала 1930-х годов. Яхонтов сумел почувствовать их тональность, сочетание горечи и мудрого приятия жизни, выраженную в них потребность «вздохнуть глубоко и наполнить легкие» городским воздухом. С В. Яхонтовым и его женой и товарищем по театральному делу Е. Поповой Мандельштамы были в дружеских отношениях и не раз бывали у них. Исторический и городской фон (к последующим главам) 1934 год **7 декабря** . Отмена карточек на печеный хлеб, крупы и макароны (с 1 января 1935 года).

**25 декабря** . Первая советская музыкальная комедия «Веселые ребята» выходит на экраны.

1937 год

**8 января** . Сталин в Кремле разговаривает с Л. Фейхтвангером.

**23–30 января** . Процесс по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» (Г. Пятаков, К. Радек, Г. Сокольников и др.). 13 осужденных приговорены к расстрелу.

**10 февраля** . 100-летие со дня смерти Пушкина. Имя Пушкина присваивается Государственному музею изобразительных искусств. Город Детское Село под Ленинградом становится городом Пушкин.

**11–16 февраля** . Продолжается гражданская война в Испании. Республиканцы ведут ожесточенные бои с франкистами в долине реки Харама, неподалеку от Мадрида. Наступление франкистов остановлено.

**23 февраля – 5 марта** . Пленум ЦК ВКП(б). Н. Бухарин и А. Рыков исключены из партии и арестованы. Решения Пленума об усилении борьбы с врагами народа, вредителями и шпионами обосновали политику государственного террора.

**28 марта** . Арестован Г. Ягода, бывший руководитель НКВД (смещенный с этого поста еще 25 сентября 1936 года).

**Весна – осень** . Расширение Садового кольца. Трамвайные пути убираются, сады и палисадники ликвидируются.

**1 июня** . Снижение розничных цен на промтовары, т. е. непищевые товары бытового потребления (в среднем от 5 до 16 %).

**В ночь с 11 на 12 июня** расстреляны военачальники М. Тухачевский, И. Якир, И. Уборевич, А. Корк, Р. Эйдеман, Б. Фельдман, В. Примаков и В. Путна.

**15 июня** . Открыто пассажирское сообщение по каналу Москва – Волга.

**18–20 июня** . Г. Байдуков, А. Беляков и В. Чкалов совершили первый в мире беспосадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс.

**20 июня** . В Испании франкисты занимают столицу Страны Басков – Бильбао.

**7 июля** . Нападение Японии на Китай.

**17 июля** . «За выдающиеся заслуги в деле руководства НКВД» Н. Ежов награжден орденом Ленина.

**22 августа** . Начало сноса Страстного монастыря (ныне на этом месте – Пушкинская площадь).

**29 сентября** . На Водовзводной башне Кремля зажглась первая из рубиновых звезд.

**23 октября** . Расстрелян поэт Николай Клюев.

**21 ноября** . Франкисты в Испании заняли Хихон – последний опорный пункт республиканцев на севере.

**24 мая – 25 ноября** . Всемирная выставка в Париже. Большой интерес у посетителей вызвал советский павильон и скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница».

**12 декабря** . Первые выборы в Верховный совет СССР по новой, «сталинской» Конституции (принята 5 декабря 1936 года).

**Декабрь** . Милиция в Москве приступила к выдаче новых паспортов с фотографиями.

1938 год

**7 января** . Закрытие Театра им. В. Мейерхольда.

**8 февраля** . Приговорен к расстрелу бывший нарком юстиции РСФСР В. Антонов-Овсеенко.

**2–13 марта** . Процесс по делу «Правотроцкистского антисоветского блока» (Н. Бухарин, А. Рыков, Г. Ягода, Н. Крестинский, Х. Раковский, А. Розенгольц и др.). 18 человек приговорены к расстрелу.

**17 марта** . Наркоминдел М. Литвинов осуждает присоединение («аншлюс») Австрии к нацистской Германии.

**Март** . Фабрика им. П. Бабаева начала выпускать конфеты «Дрейфующая льдина», фабрика «Рот Фронт» – шоколадные конфеты «Четверо отважных». Поступили в продажу конфеты «Привет папанинцам» и «Таймыр».

**Март – апрель** . В Испании республиканцы и франкисты ведут бои в Каталонии.

**21 апреля** . В Москве расстрелян писатель Борис Пильняк.

**24 апреля** . На экраны выходит фильм «Волга-Волга» (режиссер Г. Александров).

**Весна – лето** . Продолжается реконструкция улицы Горького.

**17–18 июля** . В ЦПКиО им. Горького проведен четвертый московский карнавал. В ночь проведения войти в парк можно было только в карнавальном костюме.

**29 июля – 11 августа** . Конфликт с Японией у озера Хасан.

**9–19 сентября** . В «Правде» опубликован «Краткий курс истории ВКП(б)», написанный под редакцией Сталина.

**29–30 сентября** . «Мюнхенский сговор». Конференция четырех держав в Мюнхене (Франции, Великобритании, Германии и Италии), которая развязала руки Гитлеру, требовавшему отторжения от Чехословакии Судетской области.

**4 октября** . В Литературном музее открыта выставка, посвященная 750-летию «Слова о полку Игореве».

**25 ноября** . Снят с должности нарком внутренних дел Н. Ежов (приговорен к расстрелу 4 февраля 1940 года).

**1 декабря** . На экраны вышел фильм «Александр Невский» (режиссер С. Эйзенштейн).

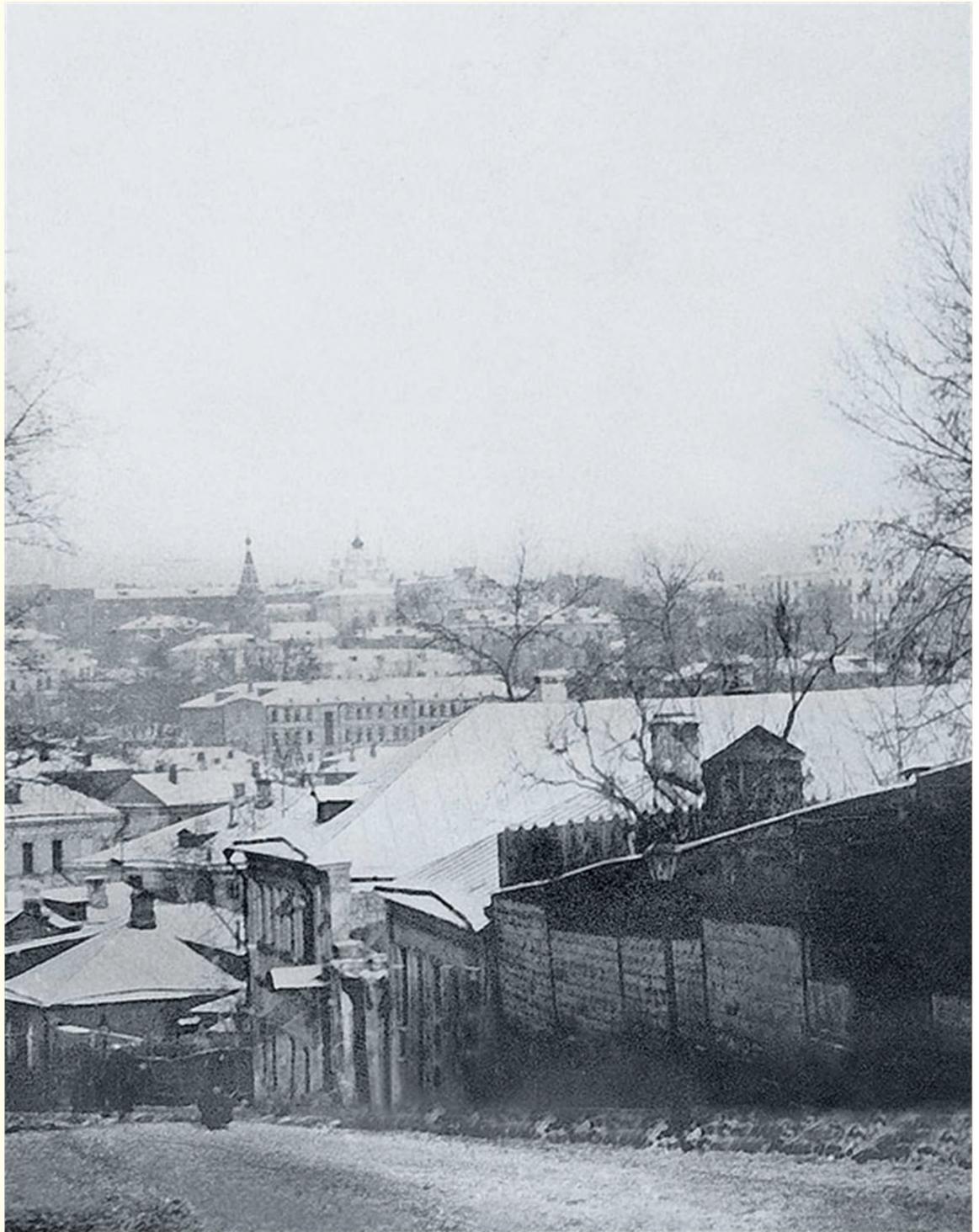
**8 декабря** . Наркомом внутренних дел назначен Л. Берия.

К концу 1938 года в Москве осталось около сорока извозчиков.

**20 декабря** . СНК СССР постановил, что с 1 января 1939 года «Трудовая книжка» становится обязательным документом для рабочих и служащих всех предприятий и учреждений.

**У В.Н. Яхонтова и Е.Е.  
Поповой.**

**Варсонофьевский  
переулок, д. 8, кв. 2, и  
Новое шоссе, д. 1, кв. 1.  
1928–1930-е годы**



Знакомство Мандельштамов с Яхонтовыми (Владимиром Николаевичем и его женой Еликонидой Ефимовной Поповой-Яхонтовой) состоялось в 1927 году, когда и те и другие жили в Лицее в Детском Селе (бывшее

Царское Село) под Ленинградом. Отношения завязались, по воспоминаниям Е. Поповой, так:

«Осип Мандельштам с женой.

Они жили тут же в северной половине Лицея. Однажды, привлеченный тем, что кто-то с увлечением читает передовую газеты "Правда", О. Мандельштам постучал к нам в дверь и попросил папирос.

В замочную скважину были переданы папиросы.

Так состоялось знакомство.

Позднее мы стали у них бывать.

Мандельштам собирал в это время книгу своих стихов. Мы рассказывали ему о нашей работе и показывали куски в рабочем плане [296] .

Это был взволнованный, страстный слушатель, весь закипал. Очень интересно говорил и, запрокинув голову, расхаживая, читал свои стихи.

Часто по-мальчишески хулиганил.

Они задолжали во все ларьки, в какие только было можно, – мясникам и бакалейщикам.

Когда ему хотелось шоколаду, он подбивал Яхонтова на эту диверсию.

Возникал какой-то сложный план очаровывания бакалейщика, чтобы раздобыть плитку шоколада.

Он привлекал ряд цитат из своих стихов и готовил речь.

Однажды в Первомайские дни мы остались без куска хлеба.

Администратор забыл про нас.

Я из теплых перчаток соорудила окорока и украсила бумажками, как это бывает на праздничных столах.

Наш стол был составлен сплошь из бутафорских вещей.

Мы пригласили Мандельштамов и долго веселились. В награду за нашу выдумку они пригласили нас к себе на обед и накормили» [297] .

Надо отметить, что атмосфера шутки, розыгрыша и позднее будет характерна для общения Мандельштама с Яхонтовым. Н. Мандельштам пишет: «В дружбе с Яхонтовым были приливы и отливы. Она началась в конце двадцатых годов, но тогда ни шуток, ни стихов не было. В тридцатых – приступы дружбы сопровождались целым ворохом стихотворных шуток, которые часто принимали форму диалога!» [298] Н. Мандельштам приводит шуточные стихи Мандельштама «Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович...» (1931) в связи с Яхонтовым. Об этом же упоминает Э.Г. Герштейн: «Придя туда [299] , я застала однажды Яхонтова во фраке и в цилиндре. Эта экзотика ничуть не резала глаз. Яхонтов вписывался в комнату как отдельный кадр в хорошо рассчитанном пространстве. Осип Эмильевич читал вместе с ним свои шуточные стихи. Они были посвящены драматическому положению, в которое попала хозяйка квартиры. Она прослышала, что в Сибири можно купить доху. Именно для поездки туда она сдала свою комнату Мандельштамам. В Москве оставались ее мать и сын.

Но Мандельштамы не могли расплатиться. Для успокоения совести не оставалось ничего другого, как поставить себя выше злополучных обывателей, скандируя сочиненные по этому случаю издевательские стишки.

Для вящего эффекта Яхонтов, проходя из уборной через общую кухню, стащил соседский чайник. Чайник стоял на стуле рядом с цилиндром.

Стихи начинал эпически Мандельштам: "Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович. Аж на Покровку она худого впустила жильца". Здесь вступал Яхонтов: "Бабушка, шубе не быть! – вбежал запыхавшийся внучек. – Как на духу, Мандельштам плюнет на нашу доху". Затем, следуя законам монтажа, по которым Яхонтов работал на эстраде, оба чтеца без паузы переходили ко второму стихотворению на ту же тему, читая его уже хором:

*Скажи-ка, бабушка, хе-хе!*

*И я тотчас к тебе приеду:*

*Явиться ль в смокинге к обеду*

*Или в узорчатой дохе?*

Звонкий и мощный голос Яхонтова звучал со спокойной силой, а Мандельштам нарочно выдрючивался нагловатым козлиным тенорком. Особенно лихо звучало у них "хе-хе!"» [300] .

(Сочинение стихов о дохе не может не настраивать на юмористический и потенциально ненормативный лад. Известно, что в московском городском фольклоре фигурировали неприличные вирши о дохе: «Себя от холода страхуя, / Купил доху я на меху я...» и т. д.)

Композиция Яхонтова – Поповой «Петербург» (Попова участвовала в режиссуре) произвела на поэта немалое впечатление. Он очень высоко оценивает талант артиста и эту его работу в своей статье «Яхонтов», которая была впервые опубликована вскоре после их знакомства в «Экране "Рабочей газеты"» (№ 31 от 3 июля 1927 года).

Театр одного актера, созданный Яхонтовым, импортировал поэту в первую очередь тем, что главным в нем было зазвучавшее на сцене слово писателя, что вся работа артиста была направлена на сценическое воплощение этого слова при минимуме вспомогательных театральных средств – реквизита и прочего.

«Яхонтов – молодой актер. Он учился у Мейерхольда, Станиславского и Вахтангова и нигде не привился. Это – “гадкий утенок”. Он сам по себе.

Работает Яхонтов почти как фокусник – театр одного актера, человек-театр.



В.Н. Яхонтов

Всех аксессуаров у него так немного, что их можно увезти на извозчике: вешалка, какие-то два зонтика, ста-

рый клетчатый плед, замысловатые портновские ножницы, цилиндр, одинаково пригодный для Онегина и для еврейского факельщика. Но есть еще один предмет, с которым Яхонтов ни за что не расстанется, – это пространство, необходимое актеру, пространство, которое он носит с собой словно увязанным в носовой платок портного Петровича [301] , или вынимает его, как фокусник яйцо, из цилиндра. <...> На примере Яхонтова видим редкое зрелище: актер, отказавшись от декламации и отчаявшись получить нужную ему пьесу, учится у всенародно признанных словесных образцов, у великих мастеров организованной речи, чтобы дать массам графически точный и сухой рисунок, рисунок движения и узор слова. Варсонофьевский переулок, д. 8. Справа от входа – окно квартиры 2

Яхонтов с женой снимали жилье в разных местах Москвы, наезжая периодически и в Варсонофьевский. Так, к сожалению, не удалось выяснить, к какому московскому дому имеют отношение записи в дневнике Яхонтова, повествующие о встречах с Мандельштамом в 1931 году. Осип Мандельштам. 1935 или 1936

В других записях Яхонтова отражен тот же спор с Мандельштамом о сущности эпохи, который возник в связи со стихотворением «За гремучую доблесть грядущих веков...». Подлинно

“из тяжести недоброй

и я когда-нибудь прекрасное создам”» [313] .

(Взятые в записи в кавычки слова указывают на стихотворения Мандельштама: «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» и “Notre Dame”.) Е.Е. Попова

Действительно, Мандельштам был увлечен Лилей; известны три стихотворения, ей посвященные. Попова сообщает в письме к В. Яхонтову (его в это время в Москве не было) – из письма мы узнаем, в частности, что Мандельштамы посещали Яхонтовых в Варсонофьевском переулке: Привожу их тебе:

С примесью вóрона – голуби,

Завороненные волосы.

Здравствуй моя нежнолобая,

Дай мне сказать тебе голоса [316] ,

Как я люблю твои волосы

Душные, черно-голубые.

В губы горячие вложено

Все, чем Москва омоложена,

Чем молодая расширена,

Чем мировая встревожена,

Грозная утихомирена...

Тени лица восхитительны:

Синие, черные, белые.

И на груди удивительны

Эти две родинки смелые. (“Сцилла и Харибда”) [317]

В пальцах тепло не мгновенное —

Сила лежит фортепьянная,

Сила приказа желанная

Биться за дело нетленное...

Мчится, летит с нами едучи,

Сам ноготок зацалованный,  
Мчится о будущем знаючи  
Сам ноготок холодающий.  
Славная вся, безусловная,  
Здравствуй моя оживленная,  
Ночь в рукавах и просторное  
Круглое горло упорное.  
Слава моя чернобровая,  
Бровью вяжи меня вязкою,  
К жизни и смерти готовая,  
Произносящая ласково  
Сталина имя громовое  
С клятвенной нежностью,  
с ласкою.

Сейчас я лежу в твоей постели на Варсонофьевском и на органной скамеечке пишу письмо. Только что уехали посетившие меня Мандельштамы. <...> Ночую я здесь по той причине, что Наталья Ильинична тяжело нервно заболела. <...> Однажды вечером я застаю у него [319] Анну Ахматову, он читает ей свои только что законченные стихи в открытое окно – похоже, он читает их Москве, вечернему городу:

С примесью ворона – голуби...» [320] .

(Далее следует текст приведенного выше стихотворения.) Ахматова действительно находилась в это время в Москве:

«В мае 1937 года Мандельштамы вернулись в Москву, “к себе” в Нащокинский. Я в это время гостила у Ардовых в том же доме», – вспоминала она [321]. Надежда Мандельштам: «Первым гостем у нас была Анна Андреевна. Она пришла в первый день нашего приезда утром. Свой приезд в Москву она приурочила к нашему возвращению» [322].

Итак, стихи написаны вскоре после возвращения из Воронежа. Конец ссылки, надежды на лучшее, весна, переходящая в лето, – все это отразилось в мажорном тоне стихотворения. Лирическая героиня предстает в этих стихах олицетворением новой, молодой Москвы, ее красоты и силы. Лиля Попова действительно любила Москву; в ее дневнике эта любовь и чувство внутренней связи с городом, особенно новым, советским, проявляются не раз: «...моя любимая Москва спала», – пишет она о ночных улицах; или: «Мы пролетели через новый Замоскворецкий мост, через простор нового города»; или: «Первая гроза в Москве. Москва хорошая в грозу. Асфальт вскипает морем». «Влюблен в Москву каждый, – записывает она, – кто живет и за тысячу верст от Москвы, и в самой Москве». У нее было то, что называют «чувством города», органичный интерес к его жизни: «Каждая лестница – она интересна уже сама по себе, потому что она лестница» [323]. Последняя запись неожиданно перекликается со словами Мандельштама из его очерка «Холодное лето»: «Тот не любит города, кто не ценит его рублища, его скромных и жалких адресов, кто не задышался на черных лестницах, путаясь в жестянках, под мяуканье кошек...»

Жизнь Москвы очень интересовала и Яхонтова. Он даже задумал написать книгу о городе и составил ее обширный план (орфография и пунктуация записи):

«Хочу написать книгу о Москве. Москва перегоревшая в печах революции.

примерно по такому плану:

Вокзалы. Командированный с мест комсомолец. Москва. Партийная жизнь. I-ый дом Советов. II, III и IV дома Советов. Быт. Жизнь людей, связанных с искусством.

Театры (Большой, Малый, Художественный, студии, пролеткульт, Меерхольд, постановки.

Жизнь обывателя. Дети. Бульвары. Памятники. Комсомол. Рабфаки. Коммуны. Библиотеки. Пример: библиотека и библиотекарь.

Замоскворечье. Быт. Остатки купеческого быта. Третьяковка. Вхутемасовцы.

Драгомилово. Преображенская застава. Рынки. Мучные лабазы. Церкви. Попы. Проститутки. Школы 2-ой ступени. Детские дома. Поэты. Школа балета. Нарком по просвещению. Суды. Аппаратчики. Совработники. Профсоюзы. Военные учебные заведения. Фабрики. Культработ. агитотделы.

Санатории. Музыкальная жизнь города. Комсомольские праздники. Сухаревский рынок. Марьяна Роща. Разгуляй.

Мне хочется взять Москву в переломе (быт, вкуса) через революцию» [324] .

Е.Е. Попова продолжает свой рассказ о вернувшемся из Воронежа поэте (записи 1941–1945 годов):

«Он приезжает ко мне на Шоссе, с женой, Надеждой Яковлевной. Они ночуют у меня в маленькой комнате.

Моя Катя ворчит, что они топчут простыни и суют окурки в хлеб. Мандельштам оставляет у меня черновик своего стихотворения: (перевод)».

(Далее приводится мандельштамовский перевод сонета Петрарки «Промчались дни мои – как бы оленей...».)

«Яхонтов читает ему “Новые плоды”.

Дни проводим в разговорах о литературе и в дыму.

Через два дня они уезжают в Савелово» [325] .

«Ко мне на Шоссе» – здесь имеется в виду еще один «яхонтовско-мандельштамовский» адрес в Москве: это маленькая (6 кв. м) комната в квартире 1 двухэтажного деревянного дома № 1 по Новому шоссе (ныне Тимирязевская улица, дом не сохранился). Комната принадлежала второму мужу Лили Поповой, композитору Михаилу Алексеевичу Цветаеву, от которого Л. Попова вернулась к В.Н. Яхонтову и к творческой работе с ним в конце 1934 года (не разводясь формально с Цветаевым). М. Цветаева летом 1937 года в Москве не было – он был репрессирован. Мандельштамы в это время посещали Яхонтовых по большей части на Новом шоссе: Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна приезжали в Москву из Савелова на Волге (Савелово – часть города Кимры), где они поселились в конце июня, поезд приходил на Савеловский вокзал, а оттуда было относительно недалеко до тогдашней окраины Москвы, до Нового шоссе, которое начиналось у

Бутырского хутора и вело к Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Катя – домработница Поповой.

Для удобства совместной творческой работы была снята в это время комната и для Яхонтова рядом с комнатой Лили. «Новые плоды» – театральная композиция Яхонтова на тему, как он сам определял, «о Мичурине и социализме».

Мандельштамы дотянули свое пребывание в Москве, после возвращения из воронежской ссылки, до конца июня 1937 года. В конце месяца поэту было предписано покинуть город в 24 часа. «Три дня мы просидели у Яхонтова, обложившись картами Московской области, – вспоминала Н.Я. Мандельштам. – Выбрали мы Кимры. Соблазнила нас близость Савеловского вокзала от Марьиной Рощи, где жили Яхонтовы, а еще то, что Кимры стоят на Волге. Уездный городок на реке лучше, чем такой же городок без реки» [326] . (Где Мандельштамы провели три дня, покинув квартиру на улице Фурманова? Точно сказать об этом не представляется возможным. Вероятно, имеется в виду Новое шоссе, но не исключено, что это могла быть и другая квартира Яхонтова. Позже, в октябре 1937 года, во всяком случае, В. Яхонтов жил на Малой Бронной – дом 17/19, квартира 35. На этот адрес приходили поздравительные телеграммы в связи с присуждением ему первой премии на Первом Всесоюзном конкурсе мастеров художественного слова.)

Приезды Мандельштамов, несмотря на дружеские отношения, не всегда были легки для Лили. Так, в записи, относящейся ко 2 августа 1937 года, Попова отмечает: «Приехали Мандельштамы. Изгадили. Ужасно опустошающие. Проводила их в 5 часов. Выехали в город» [327] .

Раздражение проявляется в дневнике Лили Поповой и по более серьезному поводу. Разница в жизненных позициях и мировоззрении не могла не сказываться (запись от 17 июля 1937 года):

«Расстроили меня, обозлили два звонка М<андельштама>, даже три. Это непроходимый, капризный эгоизм. Требование у всех, буквально, безграничного внимания к себе, к своим бедам и болям. В их воздухе всегда делается “мировая история” – не меньше, – и “мировая история” – это их личная судьба, это их биография.

В основном постыдная, безотрадная, бессобытийная, замкнутая судьба двух людей, один из которых на роли премьера, а другая – вековечная классическая плакательница над ним. Его защитница от внешнего мира, а внешнее – это уже нечто такое, что заслуживает оскала зубов.

Итак, в вечном конфликте (интересно, существовал ли этот конфликт до Октябрьской революции. Похоже, что нет)» [328] .

О том, как выглядело это окраинное место Москвы, Новое шоссе, и что собой представляла комнатка Цветаева – Поповой в то время, когда здесь бывал Осип Мандельштам, мы также узнаем из записей яхонтовского архива. Л. Попова вспоминает о том, как она впервые оказалась на Новом шоссе в декабре 1929 года:

«Мы приехали на окраину Москвы и пошли вдоль полотна железной дороги: справа маленькие деревянные домики, занесенные снегом. Слева – высокая железнодорожная насыпь. <...> Мы вышли на Новое шоссе, повернули вправо: мрачный пролет железнодорожного моста,

зеленый огонек семафора и в небе два корявых обнаженных дерева.

<...> Шоссе уходило вдаль, в темноту... в стороне стоял двухэтажный деревянный дом. <...> Цветаев жил здесь с женой, у которой был ребенок от первого мужа. У Цветаева была отдельная крошечная комната, в которой стоял рояль, походная постель и стол.

Оставался метр свободной площади».

И ниже:

«В комнате Цветаева не было печки. Мы отапливались керосинкой».

«Рядом в этой же квартире жил товарищ Цветаева по консерватории – Козловский.

<...> Неподалеку от дома начинались прекрасные Тимирязевские леса с березовыми рощами, вокруг дома большие огороды; к дому примыкал старый яблоневый сад» [329] .

По одной из архивных записей мы узнаем также, что, поскольку комнатка была очень маленькой, были сделаны полати – спальное место во втором ярусе.

В письме Лиле от 6 июня 1937 года В. Яхонтов, намекая в шутовском обращении на ее коммунистическую убежденность, говорит, в частности, об окрестностях домика на Новом шоссе:

«Доктору философии

Карлу-Генриху Марксу-Лиле

от его верного друга

Володи Энгельса.

Дорогая моя! Не утомляй себя ради бога и гони всех в шею. Чувствую себя значительно лучше, много думаю о наших праздничных работах [330] и много читаю.

Кланяюсь Грозненским цементным вышкам, Ван-Гоговскому "Полю после дождя" и поездкам, бегущим в город Малинов-Мандельштам Египетский [331] . Еще кланяюсь нашим огородам, огурцам, укропу, луку и молодому господину картофелю» [332] .

Вернемся к мандельштамовским стихам, созданным летом 1937 года. Л. Попова вспоминает:

«...через неделю (имеется в виду середина июля. – Л.В.) Мандельштам приезжает из Савелова и привозит "Стансы":

#### Стансы

1

*Необходимо сердцу биться:  
Входить в поля, вростать в  
леса...*

*Вот «Правды» первая страница  
Вот с приговором полоса...*

2

*Дорога к Сталину – не сказка,  
Но только жизнь без укоризн:  
Футбол – для молодого баска,  
Мадрида пламенная жизнь.*

3

*Москва повторится в Париже,  
Дозреют новые плоды*

*Но я скажу о том, что ближе  
Нужнее хлеба и воды.*

*4*

*О том, как вырвалось однажды:  
– Я не отдам его! – и с ним,  
С тобой, дитя высокой жажды,  
И мы его обороним*

*5*

*Непобедимого, прямого  
С могучим смехом в грозный  
час,  
Находкой выхода прямого  
Ошеломляющего нас.*

*6*

*И ты прорвешься, может  
статься,  
Сквозь чашу прозвищ и имен  
И будешь сталинкою зваться  
У самых будущих времен...*

*7*

*Но это ощущение сдвига  
Происходящего в веках  
И эта сталинская книга  
В горячих солнечных руках*

*8*

*Да, мне понятно превосходство  
И сила женщины – ее*

*Сознание, нежность и сиротство*

*К событиям рвутся – в бытие*

9

*Она и шутит величаво*

*И говорит, прощая боль*

*И голубая нитка славы*

*В ее волос пробралась смоль*

10

*И материнская забота*

*Ее понятна мне – о том,*

*Чтоб ладилась моя работа*

*И крепла – на борьбу с врагом.*

*4–5 июня 1937 (так в рукописи. – Л.В.) Савелово»*

[333]

(Орфография и пунктуация рукописи. В дате написания стихотворения – ошибка; очевидно, стихи написаны не 4–5 июня, а 4–5 июля 1937 года.) Политическая ситуация была сложной, фашизм набирал силу в Европе, показывал зубы в Испании, Советский Союз во главе со Сталиным все более воспринимался как главная сила, противостоящая фашистскому людоедству. Мандельштам хорошо видел родственные черты советского большевизма и германского нацизма – применяемое в массовых масштабах насилие и ненависть к свободе. По свидетельству С. Липкина, Мандельштам говорил ему: «Этот Гитлер, которого немцы на днях избрали рейхсканцлером, будет продолжателем дела наших вождей. Он пошел от них, он станет ими» [334]. И все же ставить на одну доску советский режим и нацизм было невозможно. Второй был абсолютным злом, Советский же Союз провозглашал

идеалы равенства, социалистического гуманизма и всемирного братства. Столкновение СССР с нацистами представлялось неизбежным, страна должна была быть сильной и единой. Отсюда – воображаемая явка с повинной к Сталину в Кремль в воронежских стихах:

Средь народного шума и спеха,  
На вокзалах и пристанях,  
Смотрит века могучая веха  
И бровей начинается взмах.  
Я узнал, он узнал, ты узнала,  
А потом куда хочешь влеки —  
В говорливые дебри вокзала,  
В ожиданья у мощной реки.  
Далеко теперь та стоянка,  
Тот с водой кипяченой бак,  
На цепочке кружка-жестянка  
И глаза застилавший мрак.  
Шла пермяцкого говора сила,  
Пассажирская шла борьба,  
И ласкала меня и сверлила  
Со стены этих глаз журьба.  
Много скрыто дел предстоящих  
В наших летчиках и жнецах,  
И в товарищах реках и чащах,  
И в товарищах городах...

Не припомнить того, что было:  
Губы жарки, слова черствы —  
Занавеску белую било,  
Несся шум железной листвы...  
А на деле-то было тихо,  
Только шел пароход по реке,  
Да за кедром цвела гречиха,  
Рыба шла на речном говорке...  
И к нему — в его сердцевину —  
Я без пропуска в Кремль вошел,  
Разорвав расстояний холстину,  
Головою повинной тяжел...

*Январь 1937*

Это отнюдь не конъюнктурные стихи. Сталинские глаза смотрят с портрета на героя стихотворения, и он сознает их правоту. В стихах отразились, очевидно, впечатления от дороги к первоначальному месту ссылки, в Чердынь, и/или от переезда в Воронеж. Сталин в этих стихах олицетворяет правду и волю страны, вождь вырастает из волн «народного шума» и «пермяцкого говора». Вода из вокзального питьевого бака символизирует причастие народной жизни, преодоление отщепенства, приобщение к народной правде. Московская, кремлевская власть воплощает народные чаяния, и герой стихотворения входит в Кремль, «головой повинной тяжел». Реконструкция Москвы

*Второй*. В стихах, созданных в 1918 году, допетровская столица, вновь получившая прежний статус, резко

характеризуется как «непотребная». Всегда готовая выплеснуться смута, об угрозе которой напоминали стихи 1916 года, разлилась по стране, смутьяны пришли к власти («страшный вид разбойного Кремля» – этот емкий «суммирующий» образ откликнется позднее в антисталинском стихотворении, в одном из вариантов которого говорится, что у власти душегуб, как нередко и называют разбойников: «Там припомнят кремлевского горца, / Душегубца и мужикоборца...»). *Третий*. Стихи и проза первой половины двадцатых годов развивают тему одичания, азиатской угрозы, «китайщины», отпадения от европейской прародины. В очерках «Сухаревка» и «Литературная Москва» советская столица сравнивается с Пекином. Нэповская Москва, которой угрожает «обрастание шерстью», несомненно отразилась и в мандельштамовском переводе из Огюста Барбье «Собачья склока». Место старой, опрокинутой революцией социальной верхушки занимали новые люди, и под звавшими к грядущему мировому перевороту лозунгами шла борьба за вполне земные цели:

Ты – рынок крючников, где мечут подлый жребий:

Кому падет какая часть

Священной кровию напитанных отребий

Того, что раньше было власть.

.....

То право конуры, закон собачьей чести —

Тащи домой наверняка,

Где ждет ревнивая, с оттянутою шерстью,

Гордячка-сука муженька,

Чтоб он ей показал, как должно семьянину,  
Дымящуюся кость в зубах  
И крикнул: «Это власть! – бросая мертвечину, —  
Вот наша часть в великих днях».

В переводе Мандельштама это «ты» обращено, безусловно, не только к Парижу Барбье, но и к послереволюционной Москве. Поэт фиксирует происходящее формирование нового общества по старым образцам, восходящим к эпохе Московского царства («братство мороза крепкого и щучьего суда» – «1 января 1924»). Волна схлынула, пришло новое, застывающее под стрекот пишущих машинок (ундервудов) время, от которого некуда бежать. Да бежать и недостойно: бегство от новой эпохи несовместимо с разночинской родословной Мандельштама – нельзя предать

Присягу чудную четвертому сословию  
И клятвы крупные до слез...

Несмотря на разочарования и отчетливое чувство одиночества, поэт принимает наступивший век и ту Москву, в которой ему выпало жить. При этом Москва вызывает у Мандельштама и чисто художнический интерес – она живет сложной жизнью, непохожа на помертвевший Петербург. Мандельштам любит ее яркими красками, его неподдельный интерес вызывают бульвары и пивные, «папиросные мальчишки» и московские поэты. Однако в Москве есть, по сравнению с Петербургом, нечто неистребимо провинциальное, доморощенное – иногда это умиляет, в других случаях вполне может и раздражать: отсюда мандельштамовское определение Москвы этой поры – «лапчатая». Эта провинциальность, по мнению Мандельштама, проявилась и в безоглядном пристрастии

московских поэтов к новаторству, «изобретательству» во что бы то ни стало. С другой стороны, именно Москва дала русской поэзии обновляющее явление Пастернака, чью органическую связь с московской речевой стихией Мандельштам хорошо понимал и о книге которого «Сестра моя жизнь» писал: «Конечно, Герцен и Огарев, когда стояли на Воробьевых горах мальчиками, испытывали физиологически священный восторг пространства и птичьего полета. Поэзия Пастернака рассказала нам об этих минутах – это блестящая Nike, перемещенная с Акрополя на Воробьевы горы» («Борис Пастернак»). Зимняя Москва. Фотография И. Ильфа

*Четвертый*. 1929–1934 годы. Период отщепенства и «сознания своей правоты». Мандельштам, еврейский юноша с выпирающе нерусской фамилией в комическом сочетании с простонародно-русифицированным именем Осип, переделанным из Иосифа, входил некогда в литературу как маргинал, «жиденок» (именно так его характеризовали некоторые мэтры символизма). Теперь, в связи со скандальным делом о переводе «Тилиа Уленшпигеля», поэт вновь остро почувствовал себя в привычном качестве неуютного, странного субъекта, раздражавшего «разрешенных» литераторов, и принял это как непреложную судьбу, как путь свободы и чести: «Есть у нас паутинка шотландского старого пледа. / Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру» («Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...»). Случай с «Тилем», в котором позиция Мандельштама не была совершенно безупречной (что он и сам признавал в ранней фазе этой истории), поставил его лицом к лицу с рептильными журналистами и руководящими работниками от литературы, и это вызвало у него очень болезненную реакцию. Несомненно, как всегда у Мандельштама в периоды про-

тивостояния, вспоминается и выбирается в качестве возможной модели поведения Франсуа Вийон (позднее, в 1937-м, в стихотворении «Чтоб, приятель и ветра и капель...» Мандельштам назовет его «любимец мой кровный»). Предчувствие гибели наряду с готовностью к ней неоднократно выражается в стихах и прозе Мандельштама этой поры. Сама жизнь, всегда воспринимавшаяся по-этом как великий дар, никак при этом, в свете мрачной личной перспективы, не отвергается; напротив, противостояние и осознание последствий рокового выбора только обостряет желание «еще побыть и поиграть с людьми», как поэт определил это позднее, в «Стансах» 1935 года. Если раньше Мандельштам сказал «некуда бежать» («от века-властелина» – «1 января 1924»), то теперь он повторяет эти слова, подчеркивая значение окончательности: «Некуда больше бежать» («Квартира тиха, как бумага...», 1933). Ясно предощущается то, что обозначено строкой из стихов памяти Андрея Белого (1934):

Часто пишется – казнь, а читается правильно –  
песнь.

Пятый. Теперь, в эти «послеарестные» годы, в стихах Мандельштама складывается новый образ Москвы – советской державной Москвы, столицы сталинского государства, которое противостоит крепнущему в Европе фашизму. Вина перед народом, в массе своей, как представлялось, принимавшим строительство новой сильной страны, вина перед Сталиным, вождем народа, который ответил на прямое оскорбление неожиданно мягко, определенно выражена в стихах этой поры.

В воронежских стихах заявляется стремление жить, «дыша и большевея», войти в советский мир, «как в колхоз идет единоличник»; впереди – большая война, в Гер-

мании «лиловым гребнем Лорелеи / Садовник и палач наполнил свой досуг» («Стансы», 1935) и «над Римом диктатора-выродка / Подбородок тяжелый висит» («Рим», 1937) – надо быть среди тех, кто крепит единство и мощь страны.

*И лучше бросить тысячу  
поэзий,  
Чем захлебнуться в родовом  
железе... —*

*«Мне кажется, мы говорить должны...», 1935*

чем остаться в стороне, предать народ, нарушить «присягу чудную четвертому сословию», чего Мандельштам опасался еще в стихах 1924 года («1 января 1924»). Попытка безоговорочного принятия советской действительности была, несомненно, очень мучительна, поскольку требовала внутреннего оправдания многочисленных несправедливостей и жестокостей, предполагала капитуляцию, отказ от самих основ мирозерцания.

Ты должен мной повелевать,  
А я обязан быть послушным.  
На честь, на имя наплевать,  
Я рос больным и стал тщедушным.  
Так пробуй выдуманный метод  
Напропалую, напрямик:  
Я – беспартийный большевик,  
Как все друзья, как недруг этот.

*Апрель – май 1935(?)*

Как показал О.А. Лекманов, стихи представляют собой отклик на сталинский тост, провозглашенный «на

встрече участников первомайского парада с членами ЦК и правительством Советского Союза в зале Большого дворца в Кремле 2 мая 1935 года». «На встрече в Кремле вождь народов поднял бокал "за всех большевиков: партийных и непартийных. Да. И непартийных. Партийных меньшинство. Непартийных большинство. Но разве среди непартийных нет настоящих большевиков? Большевик – это тот, кто предан до конца делу пролетарской революции. Таких много среди непартийных"» [341] . Поражает откровенность – Мандельштам, вероятно, просто не умел писать «прилично» и «то, что надо», – с которой в этом стихотворении переход на правоверную большевистскую позицию связывается с отказом от имени и чести и растворением в общей массе, где уравниваются все – и друзья, и недруги. Трудно вообразить что-либо более компрометирующую идею «перековки», как тогда принято было говорить, чем такое заявление – независимо от того, каковы были намерения автора стихотворения. Упоминание «чести» возвращает к стихам 1931 года «За гремучую доблесть грядущих веков...»: «Я лишился и чаши на пире отцов, / И веселья, и чести своей...» Необходимо принять правоту власти – пусть с этим связаны потеря имени, чести, веселья. Уличное украшение к 1 Мая 1933

Страна и Москва охвачены трудовым энтузиазмом, идет ударное строительство, появляются новые фабрики и заводы; в Москве строится метро. В своей написанной в ссылке рецензии на сборник стихов литкружковцев Метростроя («Стихи о метро», 1935) Мандельштам доброжелательно оценивает представленные в сборнике стихотворения строителей московской подземки. О стихотворении Г. Кострова, которое Мандельштам называет «лирической вершиной» книжки, Мандельштам пишет: «Много в русской поэзии прекрасных заздравных стихов, на-

чиная с пушкинского “да здравствуют музы, да здравствует разум” и хмельных языковских здравиц, но этот изумительный трезвый тост, этот дифирамб живым и здравствующим товарищам, этот бокал с черной землей из шахты Метростроя, поднятый над советской Москвой, радуют даже самый взыскательный слух». О строящемся метро сосланный и тоскующий по Москве поэт упоминает и в стихах:

Ну как метро?.. Молчи, в себе таи...

Не спрашивай, как набухают почки...

И вы, часов кремлевские бои, —

Язык пространства, сжатого до точки...

*«Наушнички, наушники мои...», 1935*

Москва в стихах Мандельштама этой поры предстает столицей государства, ставшего надеждой и оплотом трудящихся и эксплуатируемых всего мира.

Да, я лежу в земле, губами шевеля,

Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:

На Красной площади всего круглей земля,

И скат ее твердеет добровольный,

На Красной площади земля всего круглей,

И скат ее нечаянно-раздольный,

Откидываясь вниз – до рисовых полей,

Покуда на земле последний жив невольник.

*Май 1935*

Обороняет сон мою донскую сонь,

И разворачиваются черепах маневры —

Их быстроходная взволнованная бронь  
И любопытные ковры людского говора.  
И в бой меня ведут понятные слова —  
За оборону жизни, оборону  
Страны-земли, где смерть уснет, как днем сова...  
Стекло Москвы горит меж ребрами гранеными.  
Необоримые кремлевские слова —  
В них оборона обороны;  
И брони боевой и бровь, и голова  
Вместе с глазами полюбовно собраны.  
И слушает земля – другие страны – бой,  
Из хорового падающий короба:  
– Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой, —  
И хор поет с часами рука об руку.

*3–11 февраля 1937*

Строки из второго процитированного воронежского стихотворения отражают полученные еще до ссылки впечатления от московского военного парада (или парадов).  
Чарли Чаплин

Чарли Чаплин  
вышел из кино,  
Две подметки,  
заячья губа,  
Две гляделки,  
полные чернил

И прекрасных  
удивленных сил.  
Чарли Чаплин —  
заячья губа,  
Две подметки —  
жалкая судьба.  
Как-то мы живем неладно все —  
чужие, чужие...  
Оловянный  
ужас на лице,  
Голова  
не держится совсем.  
Ходит сажа,  
вакса семенит,  
И тихонько  
Чаплин говорит:  
«Для чего я славен и любим  
и даже знаменит...»  
И ведет его шоссе большое  
К чужим, к чужим...  
Чарли Чаплин,  
нажимай педаль,  
Чарли, кролик,  
пробивайся в роль,

Чисти корольки,  
ролики надень,  
А твоя жена —  
слепая тень, —  
И чудит, чудит чужая даль...  
Отчего  
у Чаплина тюльпан?  
Почему  
так ласкова толпа?  
Потому —  
что это ведь Москва!  
Чарли, Чарли,  
надо рисковать,  
Ты совсем  
не вовремя раскис,  
Котелок твой —  
тот же океан,  
А Москва  
так близко, хоть влюбись  
В дорогую дорогу...

*1937*

В стихотворении узнаются детали из фильмов Чаплина – неизменная дорога и роликовые коньки (на них катается его герой-официант еще в фильме «Скейтинг-ринг» 1916 года; вспоминается и эпизод катания на роликах по универмагу в «Новых временах»). Что такое «ко-

рольки» или «корольки» (строчка публикуется в некоторых изданиях так: «чисть корольки») – остается неясным. Стихотворение написано, очевидно, уже после возвращения из Воронежа – в нем чувствуется радость от встречи с Москвой. Герой Чаплина, маленький дерзкий бродяга, бедный, но не сдающийся, жуликоватый, но щедрый, сохраняющий и в нищете доброту и галантность – Давид, неизменно побеждающий встающих на его пути Голиафов, – был очень близок скитальцу Мандельштаму. В воронежском стихотворении «Я молю, как жалости и милости...», в котором выражена неизменная любовь Мандельштама к Франции, появляется маленький бродяга из «Огней большого города»:

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле  
Государит добрый Чаплин Чарли —  
В океанском котелке с растерянною точностью  
На шарнирах он куражится с цветочницей...

Стихотворение написано 3 марта 1937 года – всего чуть более двух месяцев отделяют его появление от возвращения поэта в Москву, где вновь прозвучит чаплиновский мотив. «Москва повторится в Париже, / Дозреют новые плоды...» («Стансы», 1937) – утверждает поэт. На Красной площади, где автору «Четвертой прозы» мерещился Вий, теперь поэт, признавший свою вину, видит Сталина в окружении восторженной толпы:

Пусть недостоин я еще иметь друзей,  
Пусть не насыщен я и желчью и слезами,  
Он все мне чудится в шинели, в картузе  
На чудной площади с счастливыми глазами.

*«Когда б я уголь взял для высшей похвалы...», 1937*

С этими стихами перекликаются другие, написанные в это же время:

Час, насыщающий бесчисленных друзей,  
Час грозных площадей с счастливыми глазами...  
Я обведу еще глазами площадь всей,  
Всей этой площади с ее знамен лесами.

*«Как дерево и медь Фаворского полет...», 1937*

Изображения Сталина в длинной шинели были у всех на виду. Однако шинель появляется в воронежских стихах Мандельштама раньше, в 1935 году, и восходит, по нашему мнению, к еще одному источнику, имеющему определенную связь с Москвой. В первом четверостишии «Стансов» (1935, май – июль) Мандельштам недвусмысленно заявляет:

Я не хочу среди юношей тепличных  
Разменивать последний грош души,  
Но, как в колхоз идет единоличник,  
Я в мир вхожу – и люди хороши.

Все ясно: надо принять действительность, идти вместе с народом, стать одним из «сознательных» граждан страны. Ниже сказано еще прямее: «Я должен жить, дыша и большевея». Первое четверостишие продолжает, однако, немотивированное, казалось бы, описание военной шинели:

Люблю шинель красноармейской складки —  
Длину до пят, рукав простой и гладкий  
И волжской туче родственный покррой,

Чтоб, на спине и на груди лопатясь,  
Она лежала, на запас не тратясь,  
И скатывалась летнею порой.

Опальный автор «Стансов», отбывающий ссылку в Воронеже, военным не был и в армию не собирался. Тем не менее весомое заявление первых строк продолжает не что иное, как именно это описание шинели. Вызывает некоторый вопрос и сама характеристика, которую шинель получает: «Люблю... длину до пят». Солдатская шинель, конечно, длиннополая, но полы ее «до пят» никак не доходят – это было бы очень неудобно. Естественно, можно посчитать эту деталь неким поэтическим преувеличением. Допустим; но о том, что сама шинель появляется в «Стансах» неслучайно, свидетельствует ее присутствие и в создававшихся в это же время стихах о Каме («Я смотрел, отдаваясь, на хвойный восток...», апрель – май 1935), причем упоминание шинели завершает поэтическое воспоминание о пути к первому месту ссылки, в Чердынь, и последовавшей вскоре обратной дороге:

И хотелось бы тут же вселиться, пойми,  
В долговечный Урал, населенный людьми,  
И хотелось бы эту безумную гладь  
В долгополой шинели беречь, охранять.

Это некий итог пережитого, сделанный вывод. Причем, заметим, единственный в данном случае названный признак шинели – ее «долгополость». Л. Шервуд. «Часовой»

В 1933 году вышла книжка, посвященная выставке, – «Художественная выставка XV лет РККА». Издание представляет собой набор репродукций избранных

произведений, экспонировавшихся на выставке. На обложке – изображение «Часового». Из Москвы выставка была переведена в Ленинград и развернута в залах этнографического отдела Русского музея. На обложке каталога – «марка выставки» (так и написано) – работа Б.В. Щуко, стилизованное изображение «Часового». Переехала экспозиция в Харьков, и скульптура Шервуда была установлена прямо перед входом на выставку. На обложке соответствующей брошюры, выпущенной в Харькове в 1935 году, также помещено графическое изображение работы Л. Шервуда [342]. После смерти скульптора, уже в 1955 году, был издан очерк с иллюстрациями, повествующий о творческом пути Л. Шервуда (автор В. Рогачевский). Успех «Часового» назван в очерке «беспримерным», место работы Шервуда на выставке определено как «центральное» [343]. Думается, есть все основания предположить, что впечатление от работы Шервуда могло отразиться в «Стансах» и стихах о Каме. Речь не о том, что Мандельштам был на выставке «XV лет РККА» – она вряд ли могла быть ему особенно интересна – хотя саму возможность такого посещения исключить нельзя. (Был же он на юбилейной выставке «Художники РСФСР за 15 лет» – правда, и выставка была другого свойства.) Более вероятно, что Мандельштам видел одну из многочисленных репродукций с изображением «Часового». Вернемся к образу Москвы в творчестве Мандельштама 1930-х годов. Москва стоит в центре происходящих в мире событий и точно, адекватно их оценивает.

Москва слышит, Москва смотрит,

Зорко смотрит в явь.

*«Пароходик с петухами...», 1937*

Поэт, осознавший свою роковую ошибку, «дичок, испугавшийся света», хочет стать «рядовым той страны, / У которой попросят совета / Все, кто жить и воскреснуть должны» (вариант к «Стихам о неизвестном солдате», 1937). Подобно тому как в 1916 году Москву для Мандельштама открыла Марина Цветаева, так в эти, 1930-е годы (в особенности в 1937-м, после возвращения из воронежской ссылки) новую советскую Москву, которую поэт хотел понять и принять, олицетворила для него Лиля Попова, первая жена В.Н. Яхонтова. Ее официальная фамилия в это время – Цветаева, по второму мужу-композитору, – несомненно, должна была вызывать у Мандельштама соответствующие ассоциации, тем более что сильный характер Лили в определенной степени напоминал натуру Марины Цветаевой. Двоящийся образ Москвы-женщины возникает в стихах 1937 года, ей адресованных:

В губы горячие вложено  
Все, чем Москва омоложена,  
Чем молодая расширена,  
Чем мировая встревожена,  
Грозная утихомирена...

*«С примесью ворона голуби...»*

Н.Я. Мандельштам и Э.Г. Герштейн характеризуют в своих мемуарах Попову как искреннюю сталинистку. Это подтверждает ее дневник. Вот, к примеру, запись от 19 августа 1937 года: «Я хочу первоклассно превосходно создать работу к двадцатилетию [347] . Как наши летчики взяли Северный полюс, так и я возьму эту высоту. Я хочу это ради того, что люблю наших людей, и одного из них. Ради него и ради них я это выполню. Я не могу не гор-

даться тем, что живу сегодня, в нашей стране. Е.Е. Попова

Как видим, М. Цветаев цитирует здесь мандельштамовское стихотворение «Наушнички, наушники мои!», написанное в Воронеже тоже весной, в апреле, но на два года раньше – в 1935-м. Михаил Цветаев и позднее интересовался творчеством Мандельштама. Так, в письме к Л. Поповой от 18 декабря 1942 года, из ссылки, он просит: «Очень меня интересует твоя поэтическая работа. <...> Стихи О.Э. обязательно пришли тоже» [351] . Наряду с признанием своей вины, воспеванием вождя и стремлением идти со всеми в ногу параллельно звучит в творчестве Мандельштама другой мотив. По количеству стихи этого рода уступают просталинским, но они не становятся оттого менее значимыми. Дело не в количестве. Вообще прямолинейного и однозначного в Мандельштаме не было, о чем и заявлено в воронежских шуточных и в то же время вполне серьезных стихах:

Это какая улица?

Улица Мандельштама.

Что за фамилия чертова!

Как ее ни вывертывай,

Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,

Нрава он не был лилейного,

И потому эта улица

Или, верней, эта яма

Так и зовется по имени

Этого Мандельштама.

### *Апрель 1935*

(Дом, в котором Осип и Надежда Мандельштам поселились осенью 1934 года, числился по Второй Линеинной улице. К нему надо было – и нужно в настоящее время – идти по ведущему вниз спуску.) Обращаясь к тем, кто распоряжается его жизнью, кто решает, где ему и как ему жить, Мандельштам заявляет, что в самом главном он им не подвластен:

Лишив меня морей, разбега и разлета  
И дав стопе упор насильственной земли,  
Чего добились вы? Блестящего расчета —  
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

### *Май 1935*

Смирения в этих стихах нет, напротив, есть очевидный вызов: я как был свободным, так и остаюсь свободным. В том же 1935 году, в программных «Стансах», сказано:

Я помню все: немецких братьев шеи  
И что лиловым гребнем Лорелеи  
Садовник и палач наполнил свой досуг.

«Садовник и палач», присвоивший себе гребень Лорелеи, – несомненно, Гитлер. Мандельштам не забывает о казнях антифашистов в Германии. Именно «шеи» упомянуты, возможно, потому, что уже через два месяца после прихода Гитлера к власти в Германии была введена смертная казнь через повешение – об этом, в частности, сообщали «Известия» от 2 апреля 1933 года (с. 2). Вполне возможно и то, что эта деталь мандельштамовского стихотворения указывает на восстановление в Германии

смертной казни через отсечение головы – на это обстоятельство обратил внимание Д.Г. Лахути [354] . Об этом также писала советская пресса. Лорелея может быть «прочитана» как образ самой Германии, ее романтического очарования, влекущего и смертоносного. Лорелея поет, соблазняет и губит – такова она в стихотворении «Декабрист» (1917).

– Тому свидетельство языческий сенат —

Сии дела не умирают!

Он раскурил чубук и запахнул халат,

А рядом в шахматы играют.

Честолюбивый сон он променял на сруб

В глухом урочище Сибири,

И вычурный чубук у ядовитых губ,

Сказавших правду в скорбном мире.

Шумели в первый раз германские дубы,

Европа плакала в тенетах,

Квадриги черные вставляли на дыбы

На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит,

С широким шумом самовара

Подруга рейнская тихонько говорит,

Вольнолюбивая гитара.

– Еще волнуются живые голоса

О сладкой вольности гражданства!

Но жертвы не хотят слепые небеса:

Вернее труд и постоянство.

Все перепуталось, и некому сказать,

Что, постепенно холодея,

Все перепуталось, и сладко повторять:

Россия, Лета, Лорелея.

Чарующие звуки «подруги рейнской», «вольнолюбивой гитары» в этих стихах – олицетворение западного, вывезенного из Германии соблазна свободы (ср. с описанием Ленского у Пушкина: «Он из Германии туманной / Привез учености плоды: / Вольнолюбивые мечты...» («Евгений Онегин», глава вторая, VI)); эти «мелодии» привели к обреченному на поражение декабристскому восстанию. Холод в «Декабристе» говорит о приближающейся смерти, является постоянным для Мандельштама признаком российской государственности и отсылает, несомненно, как и строка «Но жертвы не хотят слепые небеса», к Тютчеву, к его стихам о декабристах: «О жертвы мысли безрассудной, / Вы уповали, может быть, / Что станет вашей крови скудной, / Чтоб вечный полюс растопить!» («14-е декабря 1825») [355] . Но «всё перепуталось», всё тонет в Лете, для России и Германии характерна определенная общность судеб: «Россия, Лета, Лорелея». В конце 1936 года появляется загадочное стихотворение «Внутри горы бездействует кумир...», в котором создается образ некоего восточного божка, бывшего некогда человеком, но окостеневшего, почти омертвевшего.

Кость усыпленная завязана узлом,

Очеловечены колени, руки, плечи.

Он улыбается своим тишайшим ртом,

Он мыслит костию и чувствует челом

И вспомнить силится свой облик человеческий...

Божок, бывший некогда человеком, существо, живущее в закрытом для народа месте («внутри горы») – очевидно, в Кремле, ставшем подобием запретного императорского города в Пекине, – очень вероятно, что «кремлевский горец» имелся в виду при написании стихотворения. Особенно если сопоставить одну из строк стихотворения – «А с шеи каплет ожерелий жир...» – со строкой из антисталинского стихотворения «Его толстые пальцы, как черви, жирны...» и принять во внимание, что в одном из вариантов стихотворения о таинственном кумире последний, завершающий произведение стих звучит так: «И исцеляет он, но убивает легче». В то же время образ кумира в этом стихотворении обязан своим происхождением не только Сталину; другой прообраз – знакомый Мандельштама, второй муж Ахматовой, востоковед, ассириолог и поэт В.К. Шилейко (умерший еще в 1930 году). Не исключено, что детали стихотворения могут восходить к божку, которого Мандельштам видел у соседа по флигелю при Доме Герцена Амира Саргиджана (Сергея Бородина). Отношения с соседом сначала были хорошие. «Однажды, – вспоминал Б.С. Кузин, – он [359] с восхищением рассказал мне о появившемся по соседству с ним в доме Герцена некоем Амирджанове [360] . Впрочем, говорил он не столько о самом этом человеке, сколько об имевшейся у него статуэтке какого-то японского или китайского божка. В скором времени застал Амирджанова у Мандельштамов я сам. Фигурировал и божок. Он был действительно очень хорош. Хозяин его мне не понравился» [361] .

В 1937 году, еще в Воронеже, написано не менее загадочное четверостишие:

*Как землю где-нибудь небесный  
камень будит,*

*Упал опальный стих, не  
знающий отца:*

*Неумолимое – находка для  
творца,*

*Не может быть другим, никто  
его не судит.*

*20 января 1937*

М.Л. Гаспаров так комментирует эти стихи: «В "Оде" Сталину и других воронежских стихах Мандельштам пишет многое противоположное тому, что писал раньше. Это не только шокирует мандельштамоведов, это вызвало удивление у самого Мандельштама; случаи его сомнений бережно фиксирует Н.Я. [362] Раздумье на эту тему представляет собой четверостишие, написанное в середине работы над "Одой", 20 января 1937 года, и в нем Мандельштам решает спор между бессознательной своей потребностью в палинодической [363] "Оде" и сознательным сомнением в ней, – решает в пользу бессознательного... Здесь прямо сказано, что опальный стих, не любезный ни поэту, ни людям, "не может быть другим", потому что он свыше» [364] . В данном случае точка зрения М. Гаспарова представляется небесспорной. Во-первых, вряд ли можно сказать, что работа над «Одой» была вызвана в первую очередь бессознательной потребностью. Напротив, именно «сознательный» элемент играл в ее создании очень большую роль: Мандельштам считал себя виноватым перед вождем и народом, и это сознание вины обусловило в большой степени намерение написать покаянное и славящее вождя стихотворение. Далее. В тексте четверостишия нет никаких указаний на

то, что речь идет об «Оде». Кажется вполне возможным, что имеется в виду как раз антисталинское стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...». Оно во всяком случае может быть названо «опальным стихом» с гораздо большим правом, чем «Ода». В период создания «Оды» естественно было вернуться памятью к написанному в ноябре 1933 года стихотворному портрету Сталина, в противовес которому «Ода» и сопутствующие просталинские стихи писались, и определить для себя значение крамольного стихотворения. И уж в чем «бессознательная потребность» играла огромную роль, так это именно в написании гротескного портрета диктатора. Мандельштам написал его потому, что не мог не написать. Подобно метеориту (здесь возможна внутренняя связь с пушкинским «Как беззаконная комета / В кругу расчисленном светил» – «Портрет»), «упал опальный стих, не знающий отца». По нашему мнению, «отец» в данном случае не автор, как полагает М. Гаспаров, а Сталин. (Примем во внимание, что Мандельштам в своей поэзии нигде не употребляет слова «отец» применительно к самому себе – он отцом не был и в этом качестве себя не ощущал, – за исключением одного случая: в четверостишии 1936-го, вероятно, года «А мастер пушечного цеха...», где поэт иронически говорит о своем предполагаемом памятнике и где оно – слово – не используется в основном значении, а выступает в качестве обращения к немолодому человеку: «А мастер пушечного цеха, / Кузнечных памятников швец, / Мне скажет: ничего, отец, – Уж мы сошьем тебе такое...».) А вот Сталин в «Оде» отцом называется:

И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,  
Какого не скажу, то выраженье, близясь

К которому, к нему, – вдруг узнаешь отца  
И задыхаешься, почуяв мира близость.

.....

Художник, береги и охраняй бойца:

В рост окружи его сырым и синим бором

Вниманья влажного. Не огорчить отца

Недобрым образом иль мыслей недобором...

Сталин – отец народа, таким он и показан в «Оде». Но при этом Мандельштам не отрекается от антисталинской эпиграммы. Сам поэт считал ее сильным произведением, о чем говорил на следствии: О. Мандельштам» [366] .

«Опальный стих» сравнивается с «небесным камнем». («Камень» – очень важное слово для Мандельштама; так назывался его первый сборник. Речь поэта, в идеале, должна обладать весомостью и цельностью камня.) Антисталинское стихотворение – нечто «неумолимое», как говорится в четверостишии 1937 года, оно продиктовано свыше, как свыше, с неба, падает на землю метеорит; оно должно было быть написано, и Мандельштам от него не отрекается. В «Оде» Сталин изображен, в частности, стоящим на трибуне:

Он свесился с трибуны, как с горы, —

В бугры голов. Должник сильнее иска.

Могучие глаза решительно добры.

Густая бровь кому-то светит близко...

Люди в этом стихотворении – это только масса на Красной площади, это толпа «на чудной площади с счастливыми глазами». Они счастливы видеть вождя, готовы

«жить и умереть» по его воле; отдельные люди не видны в этом месиве – дважды сказано о буграх голов, второй раз – в финальной части «Оды»: «Уходят вдаль людских голов бугры...» Как убедительно показал Д. Лахути, свеситься с трибуны «в» бугры голов (не наклониться над, а свеситься «в»), можно только в случае обладания змееподобным телом. Никак иначе представить себе описанное в стихах в качестве зримого образа нельзя [367]. Еще раз подчеркнем: главное не то, что хотел написать Мандельштам, а то, что он написал. Демонстрация у снежного храма Христа Спасителя

Интереснейшим и неожиданным дополнением к замеченному Д. Лахути может послужить пронизательное наблюдение Г.А. Левинтона, заметившего определенное сходство «Поэмы начала» Н. Гумилева и приведенного выше покаянного стихотворения Мандельштама «Средь народного шума и спеха...». Ритмическая и лексическая близость стихотворения Мандельштама и «Поэмы начала» не вызывает сомнений. Г. Левинтон говорит о том, как подано у Гумилева противостояние дракона и человека, обращая внимание на «тему взгляда, глаз: “Было страшно... / Увидать нежданно драконий / И холодный и скользкий взор. / ...багровые сети / Крокодильих сомкнутых век... / И дракон прочел, наклоня / Взоры к смертному в первый раз... // В муть уже потухавших глаз / Умиряющего дракона – / Повелителя древних рас. / Человечья теснила сила / Нестерпимую ей судьбу, / Синею кровью большая жила / Налилась на открытом лбу / Приоткрылись губы...”». «Кажется, – делает вывод Г. Левинтон, – эти мотивы отразились в воронежских стихах (и если это предположение верно, оно существенно меняет смысл сталинской темы в них): “Шла пермяцкого говора сила. / Пассажирская шла борьба, / И ласкала меня и сверлила

/ Со стены этих глаз журьба //... Не припомнить того, что было: / Губы жарки, слова черствы...”» [368] . (Выделение курсивом – в цитируемом тексте Г. Левинтона.) Илья Ильф у панно с портретом Сталина. Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, 1933. Фотография А. Козачинского

Сверлящие глаза Сталина смотрят в человеческую толпу с портрета на провинциальном полустанке или пристани, с трибуны в столице. «Смотрит века могучая вежа...» в стихотворении «Средь народного шума и спеха...»; не только «могучие глаза», но и веки (ср. с крокодилыми веками дракона у Гумилева) не забыты в «Оде»: «Лепное, сложное, крутое веко, знать, / Работает из миллиона рамок». Наконец, в 1937 году Мандельштам пишет стихи о любимом Вийоне:

Чтоб, приятель и ветра и капель,  
Сохранил их песчаник внутри,  
Нацарапали множество цапель  
И бутылок в бутылках цари.  
Украшался отборной собачиной  
Египтян государственный стыд,  
Мертвецов наделял всякой всячиной  
И торчит пустячком пирамид.  
То ли дело любимец мой кровный,  
Утешительно-грешный певец,  
Еще слышен твой скрежет зубовный,  
Беззаботного праха истец.  
Размотавший на два завещанья

Слабовольных имуществ клубок  
И в прощаньи отдав, в верещаньи,  
Мир, который, как череп, глубок, —  
Рядом с готикой жил озоруючи  
И плевал на паучьи права  
Наглый школьник и ангел ворующий,  
Несравненный Виллон Франсуа.  
Он разбойник небесного клира,  
Рядом с ним не зазорно сидеть —  
И пред самой кончиною мира  
Будут жаворонки звенеть...

*18 марта 1937*

Египетское величие, египетская государственность и французский поэт-бродяга резко противопоставлены. «В бутылках цари – форму бутылок имели короны фараонов Южного Египта; множество цапель и бутылок – иероглифы царских имен окружались рамками-картушами, похожими на флакон, лежащий на боку» (М.Л. Гаспаров) [369] . Презрительно упомянутая «отборная собачина», прикрывавшая грубую суть, «срамные части» древней деспотии, напоминает, конечно, о египетских зверо- и птицеголовых богах (ср. с окружением Сталина в эпиграмме: «Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет...»). «Два завещанья» – «Малое завещание» и «Большое завещание» – стихотворения Ф. Вийона. Строка «Беззаботного праха истец» отсылает, по мнению А.Г. Меца, к мотиву стихов Вийона – казни через повешение; «беззаботный прах» – повешенный [370] . Египетскому культу смерти, зримым выражением которого являются знаменитые пи-

рамыды с набальзамированными фараонами (не вспомнить при этом о ленинском мавзолее на Красной площади, построенном именно в форме пирамиды, почти невозможно), противостоит готика, «рядом» с которой живет «несравненный Виллон Франсуа»: тяжелому «земному» величию противопоставлены готические соборы, устремленные в небо. (В одном из авторитетных изданий – Мандельштам О.Э. Собрание произведений. Стихотворения. М., 1992 – строка о «соответствии» Вийона и стрельчатой архитектуры дается в таком варианте: «Ладил с готикой, жил озоруючи...».) Появление Вийона в мандельштамовских сочинениях – верный индикатор бунтарского, аутсайдерского настроения. Вийон, как и герой Чаплина, живет, плюя «на паучьи права» государства. Египетские пирамиды из этого стихотворения несомненно перекликаются с пассажами из уже цитировавшихся статей начала 1920-х годов: «В жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть может, египетской и ассирийской...» («Девятнадцатый век»); «Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя [371] , воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне и египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любом количестве» («Гуманизм и современность»). Египетские пирамиды названы «пустячком» – несмотря на гигантские размеры, они античеловечны и в духовном отношении трактуются в этом стихотворении как ничтожные. То, что образ пирамид в данном случае имеет отношение к советским ударным стройкам, очень вероятно: Мандельштам сказал однажды одному из своих знакомых, что без твердой власти

пирамид не построишь, можно будет только изобрести пирамидон. Пирамиды и пирамидон сведены в шуточном абсурдистском стихотворении «Решенье», написанном, видимо, в марте 1937 года – то есть тогда же, когда были созданы стихи о Вийоне:

Когда б женился я на египтянке  
И обратился в пирамид закон,  
Я б для жены моей, для иностранки,  
Для донны, покупал пирамидон,  
Купаясь в Ниле с ней иль в храм идя,  
Иль ужиная летом в пирамиде, —  
Для донны пирамид – пирамидон.

(Может быть, четвертая строка должна звучать «Купаясь в Ниле с ней или в храм идя» – с ударением, конечно, на «и» в слове «идя»? В таком варианте мы находим ее в другой публикации – в четырехтомнике Мандельштама 1993–1997 годов.) К жаворонку

1

Пенья дух чудесный,  
Ты не птичка, нет!  
С высоты небесной,  
Где лазурь и свет,  
Ты песней неземной на землю шлешь привет!

2

Тучкою огнистой  
К небесам ты льнешь,  
И в лазури чистой

Звук за звуком льешь,  
И с песней ввысь летишь, и, ввысь летя, поешь.

З

В блеске золотистом

Гаснущего дня,

В облаке лучистом,

В море из огня

Резвишься ты, как дух, порхая и звеня [372] .

Стихотворение Шелли обращено к жаворонку, в последней строке мандельштамовского стихотворения о Вийоне пернатый певун упоминается во множественном числе. Все настоящие поэты могут быть уподоблены певчим птицам (традиционное сравнение), в этом ряду Мандельштам видел и себя. Когда Анна Ахматова в «Поэме без героя» писала о смерти Шелли («Георг» – Байрон):

...берег, где мертвый Шелли,

Прямо в небо глядя, лежал, —

И все жаворонки всего мира

Разрывали бездну эфира,

И факел Георг держал, [373] —

она, как представляется, имела в виду не только стихотворение английского поэта о жаворонке, но вполне могла держать в памяти и мандельштамовские стихи о Вийоне. Мандельштам вернулся из Воронежа через два месяца после написания стихотворения «Чтоб, приятель и ветра и капель...», встретился с Ахматовой и наверняка читал незнакомые ей стихи (они всегда «отчитывались» друг перед другом при встрече). Таким образом, Анна Ах-

матова знала, видимо, стихи о Вийоне с жаворонками в их финале уже в 1937 году, и в процитированных выше строках «Поэмы без героя» (написаны в начале 1941-го) она могла отозваться на голос погибшего друга. Центральный парк культуры и отдыха им. Горького. 1936. Фото Э. Евзерихина

Мандельштам понуждал себя полюбить «новую» страну, новую, сталинскую Москву, считать все правильным, идущим как надо, но давалось это ему с трудом. «С приговором полоса» на первой странице «Правды» слишком бросалась в глаза. Дело было даже не в убеждениях, которые могут меняться, и притом радикально, – дело в совершенной противоположности натуры Мандельштама и того, во что ему периодически хотелось уверовать. М. Л. Гаспаров отмечает, что среди просталинских стихов Мандельштама «есть очень сильные» и есть «очень слабые». Безусловно, это так. К первым относятся, например, исповедальное «Средь народного шума и спеха...», «Стансы» (1935) и «Ода». В то же время в стихотворениях этого правоверно-советского плана нередко встречается нечто нарочитое, некая избыточность пафоса, которая должна как бы компенсировать отсутствие непосредственного чувства. Мандельштам рисует Сталина в стихотворении «Обороняет сон мою донскую сонь...»:

Необоримые кремлевские слова —

В них оборона обороны;

И брони боевой и бровь, и голова

Вместе с глазами любововно собраны, —

и портрет получается вычурно-маньеристским и холодным. Так и в вышеприведенных стихах Поповой: все, что касается героини стихов, женщины, – написано ярко,

выразительно, все «идейное» – с перебором, даже со штампами («биться за дело нетленное»), даже с небрежностью: «Произносящая ласково / Сталина имя громовое / С клятвенной нежностью, с ласкою». Мандельштам не умел писать головные стихи «на уровне», он оступался, «проваливался». Полюбить «поруганную» Москву было нелегко, но женщина – молодая, красивая, сильная – навсегда осталась в великолепных мандельштамовских стихах, написанных в начале июля 1937 года в Савелове:

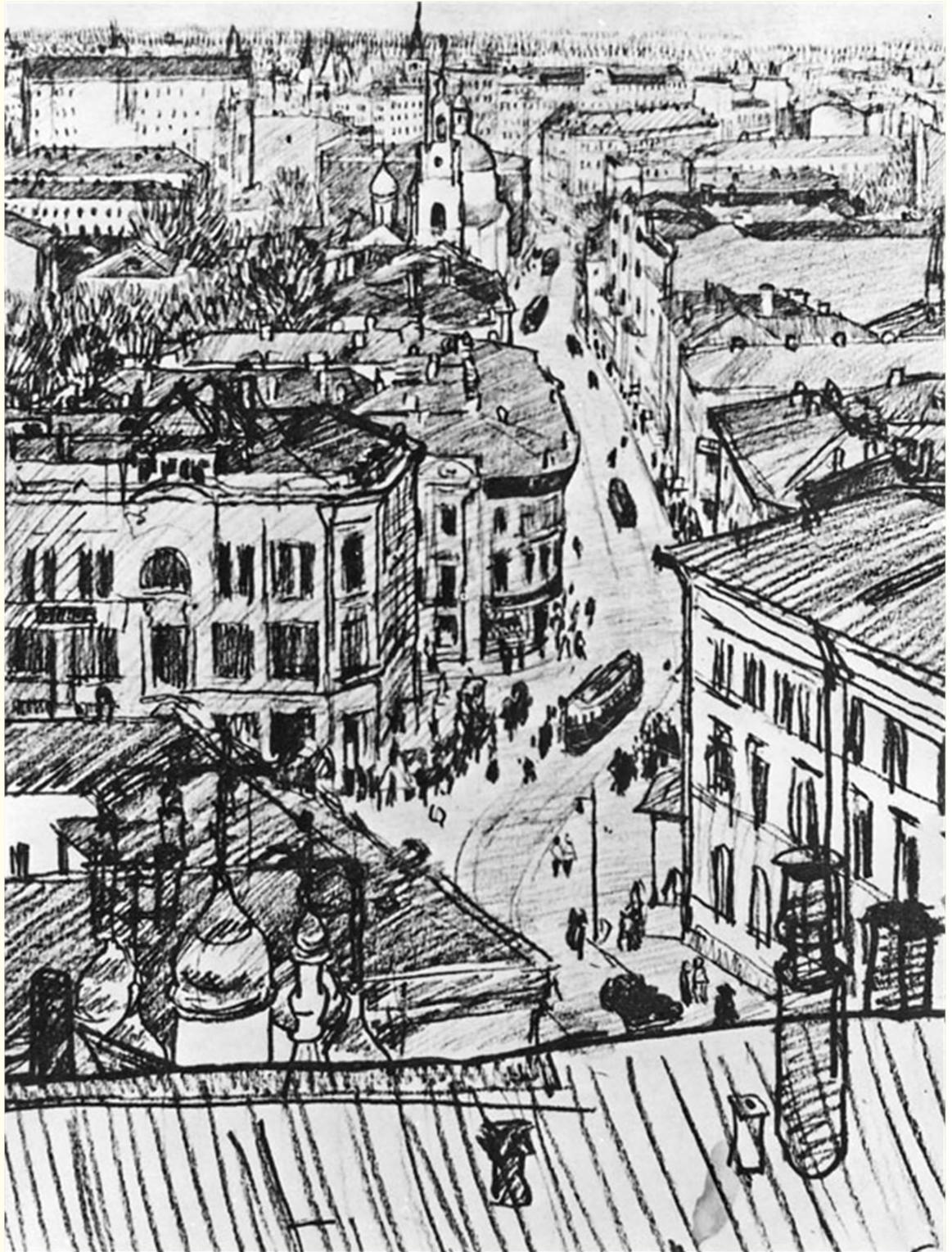
На откосы, Волга, хлынь,  
Волга, хлынь,  
Гром, ударь в тесины новые,  
Крупный град, по стеклам двинь, —  
грянь и двинь, —  
А в Москве ты, чернобровая,  
Выше голову закинь.  
Чародей мешал тайком с молоком  
Розы черные, лиловые  
И жемчужным порошком и пушком  
Вызвал щеки холодовые,  
Вызвал губы шепотком...  
Как досталась – развяжи, развяжи —  
Красота такая галочья  
От индейского раджи, от раджи, —  
Алексею, что ль, Михайлычу,  
Волга, вызнай и скажи.  
Против друга – за грехи, за грехи —

Берега стоят неровные,  
И летают поверхи, поверхи  
Ястреба тяжелокровные —  
За коньковых изб верхи...  
Ах, я видеть не могу, не могу  
Берега серо-зеленые:  
Словно ходят по лугу, по лугу  
Косари умалишенные...  
Косит ливень луг в дугу.

*4 июля 1937*

«Галочья», казачья красота Лили Поповой накладывается на волжские впечатления и вызывает ряд исторических и фольклорных ассоциаций: время царя Алексея Михайловича, украденная то ли персидская, то ли «индейская» княжна (деталь имеет некую параллель в эпизоде северокавказского детства Поповой, о котором, возможно, знал поэт: девочку хотели купить у ее деда какие-то горцы). Одним из тех людей, которых посещали Мандельштамы в нелегкие 1930-е годы, был старый знакомый поэта художник Лев Александрович Бруни. Подобно Яхонтову, Лев Александрович готов был не только посочувствовать опальному поэту, но и реально помочь – и помогал. Жил он в Замоскворечье.

**У Л.А. Бруни и А.А.  
Осмеркина. Большая  
Полянка, д. 44, кв. 57, и  
улица Мясницкая  
(Кирова), д. 24, кв. 105.  
1932–1938**



Замоскворечье – один из старейших и колоритнейших московских районов. Сами названия тут нередко дышат далекой стариной и доносят до нас атмосферу ста-

рой Москвы. Так, дом 44 стоит на углу Большой Полянки и Первого Спасоналивковского переулка. Замечательны оба названия; второе, однако, требует некоторого комментария. Еще в начале XVI века здесь были поселены стрельцы для защиты подходов к Москве с юга. Есть версия, что их поселение получило название «Наливки» от глагола «наливать», так как они имели право пить вино не только по праздникам, как большинство населения Москвы, но и в другое время. Есть и другие объяснения. Позднее здесь появилась церковь Спаса Преображения, что в Наливках, снесенная в советскую эпоху. Отсюда название «Спасоналивковские переулки» (Первый и Второй).

У Мандельштама, однако, Замоскворечье не вызвало теплых чувств. Мандельштамы жили здесь – по крайней мере – дважды: зимой 1923–1924 года на Большой Якиманке и в начале 1930-х годов – на улице Большая Полянка (см. «Список адресов»). Э.Г. Герштейн пишет, имея в виду второй адрес: «Я радовалась, что они в Замоскворечье, но Осип Эмильевич не разделял моего умиления переулками из Островского» [385] .

Отношение Мандельштама к этому району выразилось в книге «Путешествие в Армению», где он вспоминает недавнюю жизнь на Большой Полянке: «Рядом со мной проживали суровые семьи трудящихся. Бог отказал этим людям в приветливости, которая все-таки украшает жизнь. Они угрюмо сцепились в страстно-потребительскую ассоциацию, обрывали причитающиеся им дни по стригущей талонной системе и улыбались, как будто произносили слово “повидло”». И далее идет описание комнат соседей, напоминающих восточные «кумирни»

(это описание уже было приведено выше, в главе о Доме Герцена, в связи с «китайской темой» у Мандельштама).



Большая Полянка, д. 44

«И я благодарил свою звезду за то, что я лишь случайный гость Замоскворечья и в нем не проведу своих лучших лет», – подводит итог своему сатирическому описанию Мандельштам. Л.А. Бруни

А Мандельштам входил с Первого Спасоналивковского переулка в подъезд («Входили с Первого Спасоналивковского» – так рассказывала автору книги покойная Нина Константиновна Бальмонт-Бруни, вдова художника), поднимался по темной лестнице на пятый этаж, к квартире 57. Вошедший в квартиру попадал в «захлащенный витиеватый коридор» коммуналки (так пишет в своих воспоминаниях о семье Бруни Лидия Либединская). Коридор вел к комнатам, принадлежавшим семье художника. Н.К. Бальмонт-Бруни

Работал он вообще много и разнообразно. Лидии Либединской он запомнился таким: «В его благородном облике было что-то от мастерового. Я тогда впервые подумала, что искусство художника – это прежде всего большой и тяжелый физический труд. Седые, редящие волосы, высокий, с залысинами лоб, мохнатые, кустистые брови. Небольшие глаза посажены глубоко, левый немного косит... Глаза его сразу схватывают тебя...» [386] Лев Александрович знал и любил поэзию. Он любил, чтобы ему во время работы читали стихи и прозу вслух. Л. Либединская предполагает, что стихотворные ритмы могли помогать художнику в его труде. С Мандельштамом он был знаком еще до революции и интересовался его стихами. Во второй половине 1914-го – первой половине 1915-го года Осип Мандельштам бывал по четвергам в петербургской мастерской Льва Бруни, в квартире № 5 Деламотского флигеля Академии художеств, где собирав-

ся кружок художников и поэтов: Натан Альтман, искусствовед Николай Пунин, Петр Митурич, Николай Клюев, сын Константина Бальмонта композитор и поэт Николай Бальмонт – старший брат будущей жены художника Нины – и другие. Художник отмечал в стихах Мандельштама точность, «классичность» языка и стремление к строгости формы. В 1915 году Лев Бруни, сравнивая живопись Н. Альтмана и стихи Мандельштама, писал: «Как в поэзии Мандельштам сделал из русского языка латынь не потому, что язык нашел свои законченные формы и перестал развиваться, а потому, что еврейская кровь требует такой чеканки, что вялостью кажется еврею гибкость русского языка, – такое же желание вылить свое живописное чувство в абстрактные, то есть в органические формы есть и у Альтмана» [387]. Л. Бруни написал в то время один из самых замечательных портретов Мандельштама. Гордое, прекрасное, несмотря на определенную неправильность черт, лицо поэта, знающего о своем высоком предназначении и погруженного в одинокий и торжественно-печальный мир своей души – таким показан молодой Осип Мандельштам на этом полотне. Сравним со стихотворением «Автопортрет» 1914 года:

В поднятьи головы крылатый  
Намек – но мешковат сюртук;  
В закрытьи глаз, в покое рук —  
Тайник движенья непочатый;  
Так вот кому летать и петь  
И слова пламенная ковкость, —  
Чтоб прирожденную неловкость  
Врожденным ритмом одолеть!

Интерес к стихам Мандельштама Л. Бруни сохранил и в те годы, когда Осип Эмильевич бывал в доме на Большой Полянке, – в 1930-е. Э.Г. Герштейн запомнила бледное лицо Льва Бруни, который напряженно вслушивался («он был глуховат») в чтение на вечере Мандельштама в Политехническом музее 14 марта 1933 года. Л.А. Бруни. Портрет Осипа Мандельштама. 1910-е

Н.В. Соколову поразил контраст между стихами самого любимого ее поэта и его реальным обликом и поведением (мемуаристке было тогда шестнадцать лет): План одной из комнат в квартире Л.А. Бруни на Большой Полянке. Рисунок В.Л. Бруни. В кресле любил сидеть Мандельштам

Лидия Либединская пишет о доме Бруни: «В этом доме было много всего – детей и бабушек, картин и книг, стихов и музыки, споров об искусстве, гостеприимства и бескорыстия. Мало было жилплощади и денег» [396] . Действительно, денег и «метров» было мало. Ведь после ареста брата Николая «осталась, – пишет Либединская, – жена с шестью детьми, все мал мала меньше». Лев Александрович взял на себя заботу и о них. А ведь у него и Нины Константиновны были свои дети (к середине 1930-х – пятеро). «У нашего папы восемнадцать иждивенцев», – с гордостью говорили старшие дети. Нелегко было жить, кормить семью и оставаться при этом истинным человеком искусства, подлинным художником. «Леву все любили. Он продолжал жить и быть человеком, несмотря на все испытания, которые ему послала судьба», – пишет Н. Я. Мандельштам [397] . Лев Александрович с Ниной Константиновной и дети жили в комнатах площадью 18 и 11, 5 кв. м. В одной жил художник с женой, другая, неправильной формы, служила детской. Правда, комнаты были высокие (3,5 метра), и в детской были устроены откид-

ные кровати у стенок. Такой запомнилась квартира художника одной из его учениц: речь идет именно об интересующем нас времени – 1930-х годах: О том же свидетельствуют воспоминания В. Некрасовой: «Дом Бруни стал для меня местом, куда я могла придти со всем, что во мне было, и где меня, как и многих других, принимали без лишних слов. Сама атмосфера дома умиротворяла и давала силы, и не только мне, а многим».

Всеми любимые,  
Нужные всем, —  
Полянка, сорок четыре,  
Квартира пятьдесят семь.

Приведя это немудреное четверостишие, неизвестно кем из друзей семьи Бруни сочиненное, В.Б. Некрасова подтверждает, что «оно соответствовало истине» [400] .  
Музыку поэт очень любил. Как не вспомнить мандельштамовские стихи 1921 года:

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,  
И ни одна звезда не говорит,  
Но, видит Бог, есть музыка над нами...

*«Концерт на вокзале»*

Среди архивных записей В. Яхонтова и Е. Поповой имеется и словесный портрет М.В. Юдиной: «На плечах у Марии Юдиной был яркий русский платок. Она была очень красива. Ходила в длинных черных шерстяных платьях, повязанных широким шелковым шнуром, с длинными рукавами. В этом платье было что-то монашеское. Она была религиозна, но религия ее уходила в страстный темперамент музыканта. Круглый овал лица с большими серыми глазами, большие темно-русые волосы, сверну-

тые в тяжелый пучок на затылке. Это была большая величественная русская (последнее слово в рукописи зачеркнуто. – Л.В.) женщина» [403] . (М.В. Юдина была еврейкой и православной по вероисповеданию.) Импрессионисты в Музее нового западного искусства. 1930-е

Мандельштам, как вспоминала Нина Константиновна Бруни, бывал у них и один, и с Надеждой Яковлевной. Осип Эмильевич, в силу своей импульсивности и рассеянности, иногда попадал в комические ситуации (Н.К. Бруни не конкретизировала это утверждение). Он любил сидеть в старинном «дедушкином» кресле, обтянутом свиной кожей, и в этом кресле и был изображен художником в доме на Мясницкой улице, где Бруни жили до переезда на Большую Полянку (это тот самый вышеупомянутый погибший портрет). На самом деле никакой изначально одинаковой, общей для всех действительности, по мнению Мандельштама, не существует. Освоение действительности есть творческий процесс. Художник (в узком и широком смысле – поэт, музыкант, певец, скульптор) не копирует жизнь, а преобразует ее.

Л.В. Горнунг вспоминал (речь идет о вечере Мандельштама в Клубе художников 3 апреля 1933 года): «Перед чтением Осип Эмильевич сказал довольно странную, во всяком случае, экстравагантную речь о реализме, о глазе художника. Он сказал, что никто не может быть реалистом, что действительности как данности нет, есть действительность как искомое, как проблема» [406] .

Через день, 5 апреля, Мандельштам утверждает в письме к М. Шагинян: «Материальный мир – действительность – не есть нечто данное, но рождается вместе с нами. Для того чтобы данность стала действительностью,

нужно ее в буквальном смысле слова воскресить. Это-то и есть наука, это-то и есть искусство».

Открытая, «воскрешенная» и преображенная художником действительность становится общей – мы воспринимаем жизнь в тех формах и в том виде, в каких художник увидел или услышал ее. «Клод Моне продолжался, от него уже нельзя было уйти» (после выхода на улицу из музея), – говорится в записях к «Путешествию в Армению».

Впечатления Мандельштама от живописи были связаны в основном с посещением Музея нового западного искусства на Кропоткинской улице (ныне Пречистенка, улице возвращено старое название; сейчас в этом здании размещается Академия художеств). Исключительные по ценности собрания С.И. Щукина и И.А. Морозова были после революции национализированы и объявлены Первым и Вторым музеями новой западной живописи. В 1923 году они получили общий статус единого Государственного музея нового западного искусства, а в 1928-м две коллекции были объединены в бывшем особняке Ивана Абрамовича Морозова на Кропоткинской (д. 21). В 1948 году музей был расформирован, его фонды распределили между Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и ленинградским Эрмитажем.

«Возникло из посещения музея», по словам Э. Герштейн, и стихотворение «Импрессионизм».

*Художник нам изобразил  
Глубокий обморок сирени  
И красок звучные ступени  
На холст, как струпья, положил.  
Он понял масла густоту;*

*Его запекшееся лето  
Лиловым мозгом разогрето,  
Расширенное в духоту.  
А тень-то, тень – все лиловойй!  
Свисток иль хлыст как спичка  
тухнет.  
Ты скажешь: повара на кухне  
Готовят жирных голубей.  
Угадывается качель,  
Недомалеваны вуали,  
И в этом сумрачном развале  
Уже хозяйничает шмель.*

*23 мая 1932*

«Жирная» летняя жара и густой «развал» сирени ощущаются в этом стихотворении почти физически. Вероятно, поводом для написания этих стихов послужила в первую очередь картина Клода Моне «Сирень на солнце» (ныне в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). Н. Мандельштам в «Третьей книге» дает короткий комментарий к этому стихотворению: «Сохранился беловик моей рукой. Аксенов подошел к окну [407] и сказал, что это русский художник, потому что французы пишут тонко, лессировками... Это не совсем так: масло и у них сохраняет свою специфику» [408]. Иван Александрович Аксенов – поэт и литературный критик. В статье 1922 года «Литературная Москва» Мандельштам высоко оценил его понимание значения скончавшегося В. Хлебникова для русской поэзии: «...в Москве... И.А. Аксенов, в скромнейшем из скромных литературных собраний, возложил на могилу ушедшего вели-

кого архаического поэта прекрасный венок аналитической критики, осветив принципом относительности Эйнштейна архаику Хлебникова и обнаружив связь его творчества с древнерусским нравственным идеалом шестнадцатого и семнадцатого веков...». Лессировка – нанесение тонкого дополнительного красочного слоя (или слоев) поверх другого, высохшего красочного слоя. Используется, в частности, для обогащения колорита. Сквозь лессирующий красочный слой просвечивает покрытый им нижний. Ул. Мясницкая, д. 24. Справа под крышей – окно мастерской А. Осмеркина

Осмеркин последовал совету Мандельштама, очевидно, потому, что в суждении поэта проявился его «острый глаз», точность образа. А это художник в Мандельштаме понимал и ценил. Так, Осмеркин восхищался характеристикой земли в стихах о голодном Крыме («На войлочной земле голодные крестьяне...»). «"Войлочная земля, как это точно!" – воскликнул Александр Александрович Осмеркин... Он узнавал Крым, в котором бывал, писал там с натуры. Он объяснял мягкость тамошней земли тем, что "с деревьев что-то сыплется". А коктебельцы еще указывают, что уже ранней весной в верхнем слое почвы появляются проростки зеленовато-голубой полыни и коричневого чабреца. Все это вместе дает в Крыму ощущение мягкого ковра под ногами» [415]. Ул. Мясницкая, д. 24. Справа под крышей – окно мастерской А. Осмеркина

Осмеркин внес очень весомый вклад в иконографию Мандельштама. Это было в 1937 году, то есть незадолго до второго ареста и гибели поэта. У себя в мастерской на улице Кирова (д. 24, кв. 118) художник запечатлел образ

поэта. Ул. Мясницкая, д. 24. Вход в подъезд, где жил А. Тышлер

И еще один эпизод, выразительно характеризующий отношение Осмеркина к поэзии Мандельштама. «А уже гораздо позднее, может быть, в военные годы, – заканчивает свои мемуары о поэте Елена Константиновна Осмеркина-Гальперина, – у нас была Анна Андреевна Ахматова. Она читала много своих стихов. И уже совсем поздно, после ужина, когда мы просили ее почитать еще, она сказала: “Только не свои. Сейчас прочту я стихи Мандельштама”. Она прочла несколько стихотворений. Вдруг Осмеркин вскочил и стал возбужденно ходить по комнате, все время повторяя: “Вот это стихи! Вот это действительно стихи!” Я как хозяйка дома была смущена до крайности этой бестактностью по отношению к Анне Андреевне. Украдкой я взглянула на нее. На ее лице не было никакого недовольства. Она задумчиво повторяла вслед за Осмеркиным: “Да, это действительно стихи!” Осмеркин опомнился, подошел к Анне Андреевне и, целуя ее руку, сказал: “Ты прекрасна, слова нет, но...” Но тот, кто был ее прекрасней, не спал в хрустальном гробу, а был стерт с лица земли» [417] . В. Милашевский. Мясницкие ворота. 1929

Но вернемся к дому Бруни – на Большую Полянку. Было в этом дружеском доме художника Льва Бруни о чем говорить, о чем вспомнить. Вероятно, хотя бы иногда могла идти речь о начале века, о символизме и о бунте против него футуристов и акмеистов. Хотя Мандельштам в молодые годы выпустил ряд критических стрел по адресу символистов, он, естественно, прекрасно сознавал всю огромную значимость этого движения в русской культуре; неслучайно он писал про «родовое лоно символизма», общее для всей новой поэзии. После написания

антисталинских стихов Мандельштам неотвратимо шел к гибели. Он и сам это признавал, хотя периодами надеялся на лучшее. Но, прежде чем рассказать о последнем московском жилье поэта, надо еще вспомнить о доме, где он бывал у Марии Петровых – адресата стихотворений, написанных зимой 1933–1934 годов.

**У М.С. Петровых.  
Гранатный переулок, д.  
2/9, кв. 22. 1933–1934**



Мария Сергеевна Петровых родилась в 1908 году в семье инженера, работавшего на Норской фабрике неподалеку от Ярославля. В Ярославле прошли ее детство и юность, там она писала свои первые стихи. В 1925 году семнадцатилетняя Маруся приехала в Москву и вскоре

поступила на Литературные курсы при Всероссийском Союзе поэтов. Она была принята на учебу вместе с Арсением Тарковским и поэтессой Юлией Нейман, с которыми навсегда сохранила дружеские отношения. Сначала М. Петровых жила у родителей в Замоскворечье (Второй Казачий переулок), но затем поселилась у сестры Екатерины в Гранатном переулке, рядом с Никитскими воротами.

Дом 2/9, «утюгом», стоящий на развилке Гранатного и Спиридоновки (позднее назывались улица Щусева и улица Алексея Толстого, в настоящее время возвращены старые названия), состоит из двух объединенных разновременных частей: «На самом углу здание, построенное в 1902 году по проекту архитектора В.А. Величкина, а часть по улице Щусева выстроена в 1899 году архитектором Г.А. Кайзером» [420]. Мария Петровых и ее старшая сестра Екатерина жили во втором от развилки со Спиридоновкой подъезде дома по Гранатному переулку, в квартире на четвертом этаже. Поднявшись на лестничную площадку четвертого этажа, нужно было звонить в первую квартиру налево от лестницы. По словам Е.С. Петровых, квартира имела номер 22. Это подтверждается и данными справочников «Вся Москва». До «коммунальных» времен квартира принадлежала семье архитектора Сергея Борисовича Залесского (автора сравнительно недавно снесенного здания Военторга на Воздвиженке), с которым семья Петровых познакомилась еще в дореволюционное время. С. Залесский возводил ряд построек на Норской фабрике и, приезжая на место строительства, останавливался у знакомого инженера и управляющего фабрикой Сергея Алексеевича, отца будущей поэтессы. В 1924 году Екатерина Петровых переехала в Москву и вскоре поселилась у Залесских. Семье архитектора грозило «уплотнение», так как у них имелся излишек жилой

площади. Не желая, чтобы к ним в квартиру поместили неизвестно кого, они оставили у себя девушку из хорошо знакомой семьи в порядке «самоуплотнения» [421]. Во «Все́й Москве» на 1925 год мы обнаруживаем живущего именно в этой квартире «Залесского Б.» (кто это, неясно; может быть, это ошибка в справочнике и имеется в виду Залесский С.Б.), а во «Все́й Москве» на 1930-й – «Залесскую Любовь Сергеевну» – это дочь архитектора. (Семья Залесского, по словам Е.С. Петровых, состояла из трех человек: глава семьи, его жена и их дочь.)

В Москве Екатерина Петровых окончила курсы английского языка и до замужества работала в Библиотеке иностранной литературы. В 1938 году на ней женился Виктор Викторович Чердынцев, ученый-геофизик и геохимик, человек разносторонних интересов и обширных знаний.

Десятью годами раньше, в 1927 году, ее младшая сестра Мария вышла замуж за Петра Алексеевича Грандицкого, с которым познакомилась еще в Ярославле – он также писал стихи и был участником местного союза поэтов. Грандицкий был специалистом в области сельского хозяйства. Переехав в Москву, он поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономики. «Вместе с М.С. Петровых посещал Высшие государственные литературные курсы (ВГЛК) при Всероссийском союзе поэтов» [422]. После окончания аспирантуры в 1929 году Грандицкий был направлен на работу в Воронежский сельскохозяйственный институт. Его служба была сопряжена с нередкими долгими командировками.

В 1933 году Мария Петровых познакомилась в Ленинграде с Анной Ахматовой. Анне Андреевне понравив-

лись стихи двадцатипятилетней москвички. Со временем М. Петровых стала одной из самых близких подруг Ахматовой, высоко ценившей стихи и переводы Марии Сергеевны. Возможно, именно Ахматова представила Марию Петровых Мандельштамам. Через некоторое время знакомство переросло со стороны Мандельштама во влюбленность.

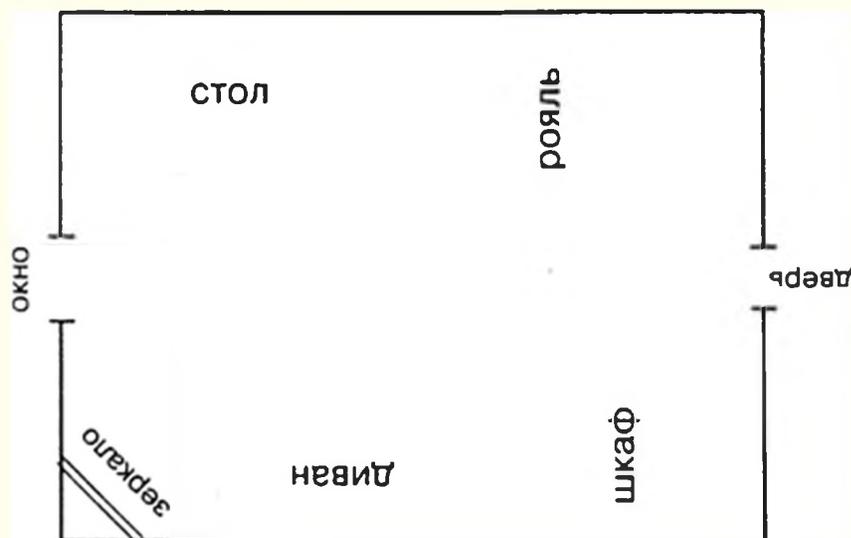
«В 1933–1934 годах Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблен в Марию Сергеевну Петровых», – пишет Анна Ахматова в «Листках из дневника» [423]. В этот период поэт и бывал у сестер Петровых в доме на развилке Спиридоновки и Гранатного переуллка.

Как жили тогда сестры Петровых? Мы можем в определенной мере представить их тогдашнюю жизнь – и Мандельштама в их доме – по воспоминаниям Екатерины Сергеевны, которыми она любезно поделилась с автором этой книги (Е.С. Петровых прожила долгую жизнь: она родилась в 1903-м, а скончалась в 1998 году.) В 1988 году она прочитала фрагмент из своих мемуаров в Ярославле на вечере, посвященном восьмидесятилетию со дня рождения Марии Петровых (была сделана фонозапись). Позднее ее воспоминания были опубликованы [424].

Коммунальная квартира состояла из пяти комнат. По словам Екатерины Сергеевны, ей с сестрой принадлежало жилье размером в десять квадратных метров (в опубликованных воспоминаниях говорится о восьмиметровой комнате). Мария Сергеевна была замужем, но П. Грандицкий бывал в Москве наездами. В 1934 году М. Петровых разошлась с мужем и осталась здесь вдвоем с сестрой.

(С П.А. Грандицким у Марии Петровых сохранились и после развода теплые дружеские отношения.)

В комнате сестер было, естественно, тесно. У входа в комнату справа помещался рояль (не пианино, а именно рояль определенной модификации – он занимал примерно третью часть пространства). Налево от входа – шкаф красного дерева с посудой и немногочисленными книгами. За роялем – письменный столик, у шкафа – тахта (в мемуарах Е.С. Петровых упоминает две кровати; одной из них, видимо, надо считать тахту), ближе к окну во двор – зеркало. За стеной проживал колоритный сосед – сын известного купца Саввы Морозова Савва Саввич, «которого в знак благодарности к его отцу содержал на своем довольствии театр, основанный Саввой Морозовым» [425] (имеется в виду Московский художественный театр, с 1920 года – Московский художественный академический театр, МХАТ). У С.С. Морозова была во МХАТе незначительная и малопонятная должность, что-то по административной части. Позднее, по утверждению Е.С. Петровых, его выслали из Москвы.



План комнаты, где жили сестры Петровых. По рисунку Е.С. Петровых-Чердынцевой

Несмотря на тесноту и нелегкое время, жили весело. Марии Петровых в это время было около двадцати пяти. Собирались друзья, знакомые, в том числе товарищи по литературному ремеслу: молодой, очень красивый Арсений Тарковский, Юлия Нейман, поэт и переводчик Владимир Державин и другие. Танцевали фокстрот, сдвигая все, что можно было сдвинуть, в угол, «много смеялись», по словам Екатерины Сергеевны. Мария Петровых была увлеченной театралкой. Это ее пристрастие отражено в эпиграмме Мандельштама:

Уста запеклись и разверзлись чресла,

Весь воздух в столах родовых:

Это Мария Петровых

Рождает близнецов – два театральные кресла.

*Зима 1933–1934*

«Вначале я не обратила на Марусю никакого внимания. <...> Маруся мне показалась тривиальной, – пишет Э. Герштейн. – Косыночка, похожая на пионерский галстук, мечта сшить себе новое платье, чтобы пойти в нем на премьеру “Двенадцатой ночи” во 2-м МХАТе, оживленные рассказы о кавказских приключениях, где кто-то злонамеренно разлучил ее в гостинице с мужем – Петрусем, кажется, агрономом по профессии. Она щебетала о вечеринках у себя дома, когда стулья сдвигались в угол и молодежь танцевала фокстрот под стук разбуженных соседей в стенку... Я попыталась насмешливо отозваться о ее детском тоне и пустоте рассказов, но не тут-то было. Мандельштамы относились к ней серьезно. Осип Эмильевич уже признал ее хорошей профессиональной перевод-

чицей стихов. И он, и Надя настоятельно приглашали ее, и она, видимо, охотно на это отзывалась» [426] . М.С. Петровых. Фотография начала 1930-х гг. Архив А.В. Головачевой

Увлечение Мандельштама можно понять. Мария Петровых была человеком во всех отношениях замечательным. Наделенная незаурядным поэтическим даром и талантом переводчика (ее стихи любила и хвалила не только Ахматова; талант Петровых был очевиден для Пастернака, Заболоцкого и целого ряда других поэтов и знатоков поэзии), она выделялась и внешностью, которую нельзя было не заметить. Е.С. Петровых

Увлеченный сестрой, Мандельштам приходил, как помнится Екатерине Сергеевне, часто, иногда даже несколько раз в день. Он присаживался, а нередко и стоя у закрытой двери беседовал с сестрами. Читал стихи. Как запомнилось Е.С. Петровых, высоко поднятая голова Мандельштама напоминала посадку головы у верблюда; во время чтения стихов он закидывал голову еще больше. Говорил Мандельштам и читал нередко долго; в некоторых случаях это становилось утомительным. Человек очень эмоциональный и экспансивный, Мандельштам не всегда «чувствовал момент», не всегда сознавал уместность или неуместность своего поведения в конкретной ситуации. Надо также принять во внимание, что Мария Петровых в это время расходилась с первым мужем и собиралась замуж вторично. (Ее вторым мужем стал филолог Виталий Дмитриевич Головачев; в 1937 году он был арестован и умер в лагере в 1942-м.) В этих обстоятельствах увлечение Мандельштама не могло не выглядеть в глазах сестер достаточно комично; надо вдобавок принять во внимание, что в то же самое время равнодушен был к Марии Сергеевне и молодой Лев Гумилев, сын

покойного Н.С. Гумилева и А.А. Ахматовой (которому зимой 1933–1934 годов шел двадцать второй год). Приезжая в Москву, он останавливался у Мандельштамов на улице Фурманова (см. «Список адресов»). Осип Эмильевич и «Левушка-Гумилевушка», «старец» и «младенец», как говаривали сестры, бывало, приходили и вместе. Дело в том, что, по воспоминаниям Э. Герштейн, они немало времени проводили в «какой-то столовке или забегаловке у Никитских ворот», поджидая Алексея Толстого. Толстого в этом месте можно было встретить: неподалеку Дом Герцена, Дом печати и особняк Горького на Малой Никитской. «Лева должен был подстергать его, чтобы вовремя подать сигнал Мандельштаму. Тогда Осип Эмильевич должен был возникнуть перед “графом” и дать ему пощечину». (Уже упоминалось о том, что Мандельштам действительно выполнил свое намерение в отношении Алексея Толстого, несправедливо рассудившего, по мнению поэта, его конфликт с Саргиджаном, но это произошло позднее, весной 1934 года, в Ленинграде.) От Никитских ворот – рукой подать до Гранатного переуллка, и Мандельштам с Л. Гумилевым не раз заходили вместе к Марии Петровых. «Она не служила [432] , – пишет Э.Г. Герштейн, – и несомненно они забегали к ней в дневные часы» [433] . Переводы, которыми много занималась Мария Петровых, послужили поводом к написанию шуточного стихотворения Мандельштама:

Марья Сергеевна, мне ужасно хочется  
Увидеть вас старушкой-переводчицей,  
Неутомимо с головой трясущейся,  
К народам СССР влекущейся,  
И чтобы вы без всякого представительства

Вошли к Шенгели в кабинет издательства  
И вышли, нагруженная гостинцами —  
Недорифмованными украинцами.

*Начало 1934*

(Шенгели Г.А. – поэт и переводчик, знакомый Мандельштама и Марии Петровых. Работал в период написания стихотворения в отделе литературы народов СССР Государственного издательства художественной литературы.) А любовное соперничество со Львом Гумилевым отразилось, в свою очередь, в эпиграммах «Сонет» («Мне вспомнился старинный апокриф...») и «Большевикам мил элеватор...» (обе написаны зимой 1933–1934 годов):

Мне вспомнился старинный апокриф:

Марию лев преследовал в пустыне

По той святой, по той простой причине,

Что был Иосиф долготерпелив.

Сей патриарх, немного почудив,

Марииной доверился гордыне —

Затем, что ей людей не надо ныне,

А лев – дитя – небесной манной жив.

А между тем Мария так нежна,

Ее любовь так, боже мой, блажна,

Ее пустыня так бедна песками,

Что с рыжими смешались волосками

Янтарные, а кожа – мягче льна —

Кривыми оцарапана когтями.

\* \* \*

Большевикам мил элеватор,  
Французам мил стиль élevé [434] ,  
А я хотел бы быть диктатор,  
Чтоб скромность воспитать во Льве.

Екатерина Сергеевна Петровых помнила и такие интересные детали. Осенью 1917 года девятилетняя Маруся Петровых задумала издавать «художественно-политический» журнальчик «Весенняя звездочка» (к сожалению, он был утрачен во время Великой Отечественной войны). Журнал был рукописный, но писала Маруся печатными буквами. Размер – примерно 10 на 6 сантиметров. На последней странице красовался нарисованный грач с раскрытым клювом, из которого вылетали слова: «Голосуйте за номер 2, будут у вас и хлеб, и дрова» – агитационный призыв к выборам в Учредительное собрание. (По списку № 2 шли на выборы в Ярославской губернии кадеты – Партия народной свободы.) Журнал открывало следующее стихотворение:

Весенняя звездочка  
Весенняя звездочка на небе сверкала,  
Весенняя звездочка на землю упала,  
Весенняя звездочка все людям рассказала:  
Исус Христос вознесшийся  
И Божью Матерь взял,  
И там Он всемогущий  
С Нею отдыхал.

Мандельштам этим журнальчиком восхищался, особенно «редакторской статьей» такого содержания: «Мастерица виноватых взоров...». Фрагмент автографа. Архив А.В. Головачевой

Несмотря на вышеприведенные шуточные стихи, увлечение Мандельштама была вполне серьезным, что и проявилось в обращенном к М.С. Петровых стихотворении «Мастерица виноватых взоров...»:

Мастерица виноватых взоров,  
Маленьких держательница плеч,  
Усмирен мужской опасный нор,  
Не звучит утопленница-речь.  
Ходят рыбы, рдея плавниками,  
Раздувая жабры. На, возьми,  
Их, бесшумно охающих ртами,  
Полухлебом плоти накорми!  
Мы не рыбы красно-золотые,  
Наш обычай сестринский таков:  
В теплом теле ребрышки худые  
И напрасный влажный блеск зрачков.  
Маком бровки мечен путь опасный...  
Что же мне, как янычару, люб  
Этот крошечный, летуче-красный,  
Этот жалкий полумесяц губ...  
Не серчай, турчанка дорогая:  
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь;

Твои речи темные глотая,  
За тебя кривой воды напьюсь.  
Ты, Мария, – гибнущим подмога.  
Надо смерть предупредить – уснуть.  
Я стою у твердого порога.  
Уходи. Уйди. Еще побудь.

*13–14 февраля 1934*

Другой вариант первого стиха последнего четверостишия: «Наша нежность – гибнущим подмога» (автограф в архиве М.С. Петровых – у ее дочери А.В. Головачевой) некоторые текстологи считают основным. К этому вопросу мы вернемся ниже. Имеется также другое прочтение стиха седьмого: «Их, бесшумно окающих ртами», а не «охающих». Существуют различные трактовки мандельштамовского стихотворения, его содержание и «устройство» богаты и открывают широкое поле для исследований. М.В. Безродный усматривает в «Мастерице...» связь с пушкинским «Бахчисарайским фонтаном» и образом Офелии из «Гамлета» [439] (последнее тем более вероятно, что в концовке стихотворения, с нашей точки зрения, звучит гамлетовский мотив – об этом ниже). О связи «Мастерицы» (и, в частности, стиха «надо смерть предупредить – уснуть») с Гамлетом писал и О.А. Лекманов. На подтекст из «Бахчисарайского фонтана» и стихотворения «Константинополь» (1911) Н. Гумилева указывает М.Л. Гаспаров [440] :

Сегодня ночью на дно залива  
Швырнут неверную жену,  
Жену, что слишком была красива

И походила на луну.

.....

Отец печален, но понимает

И шепчет мужу: «Что ж, пора?»

Но глаз упрямых не поднимает,

Мечтает младшая сестра:

«Так много, много в глухих заливах

Лежит любовников других,

Сплетенных, томных и молчаливых...

Какое счастье быть среди них!»

*«Константинополь»*

Не исключен в «Мастерице...» отклик и на «Дон Жуана» Байрона, где нравы в султанской Турции описываются так (Песнь пятая, строфа 149; перевод Г. Шенгели):

А если иногда бывали неувязки,

То слухов не было, – кто согрешил и в чем:

Все рты безмолвствуют; виновных для острастки

В мешок и в море: шлеп – и снова тишь кругом [441]

И погребен секрет навеки без огласки,

И сплетен в публике не больше, чем в моем

Труде, и нет газет, что всех травить могли бы;

Мораль улучшилась, и поживились рыбы.

Несколько раньше, в строфе 92, говорится о мешках зашитых (слуга в разговоре с Дон Жуаном):

Босфор недалеко, и быстро в нем течение;  
Еще последняя не догорит звезда,  
Как в море Мраморном придется, без сомненья,  
Плыть мне и вам, в мешках зашитыми. Такой  
Род навигации у нас в ходу порой [442] .

В байроновском оригинале упомянуты в строфе 92 именно зашитые мешки (как в «Мастерице...»): "...Stitch'd up in sacks – a mode of navigation / A good deal practised here upon occasion". Упоминание о такого рода казни за любовные прегрешения есть и у Пушкина в «Каменном госте» (Лепорелло в беседе с монахом о Дон Гуане):

М о н а х

Его здесь нет,  
Он в ссылке далеко.

Л е п о р е л л о  
И слава богу.

Чем далее, тем лучше. Всех бы их,  
Развратников, в один мешок да в море [443] .

И еще одна связь, представляющаяся нам очень вероятной, – с «Облаком в штанах» Маяковского, где лирический герой поэмы обращается к не отозвавшейся на его любовь героине по имени, заметим, Мария:

Мария!

Поэт сонеты поет Тиане,

а я —

весь из мяса,

человек весь —

тело твое просто прошу,  
как просят христиане —  
«хлеб наш насущный  
даждь нам днесь» [444] .

(Ср. у Мандельштама: «Полухлебом плоти накорми!  
») **Поэт**

Не сам ли сердце я сковал зимой?  
Не сам ли сделал я свой дом тюрьмой?  
Не сам ли я сказал любви: «Прощай,  
Не прилетай, пока не будет май!»  
Любовь стучится в дверь, как поздний гость,  
И сердце снова гнется, словно трость:  
Оно горит и бьется; не хотя, —  
Его пронзило дивное дитя.  
Он спит, мой гость, в предрассветный час,  
Звезда бледна, как меркнувший топаз;  
Не мне будить его, проснется сам,  
Открывши двери новым чудесам.  
Я жду, я жду: мне страх вздымает грудь.  
Не уходи, мой гость: побудь, побудь [446] .

Можно предположить, что в финальном стихе отразилась строка популярного романса «Не уходи, побудь со мною...». (Романс был опубликован во второй части «Полного сборника либретто для граммофона», которая вышла в свет на рубеже 1904–1905 годов.) Независимо от того, считать ли более текстологически обоснованным стих «Ты, Мария, – гибнущим подмога» или «Наша неж-

ность – гибнушим подмога» (с нашей точки зрения, с Мандельштамом больше «вяжется» последнее), надо отметить, что имя милосердной спасительницы присутствует в скрытом виде в фонетической ткани стихотворения. «Мандельштам, – пишет О. Ронен, – вообще очень часто насыщает свои тексты анаграммами ключевого по смыслу слова» [458]. В «Мастерице...» перед нами именно такой случай. Стихотворение начинается со строки, в которой первое слово уже содержит имя адресата любовного обращения, причем ударение падает на тот же звук, что в имени Мария:

МАстеРИца виноватых взоров...

Первый гласный звук в строке – редуцированный, мы, естественно, не произносим «мАстерица». Но мы так пишем, и, как представляется автору книги, надо принять во внимание то обстоятельство, что у нас возникает (по крайней мере нередко) вид написанного слова при его произнесении. Это, думается, имеет значение. Ведь и в самом имени Мария первый звук редуцируется, но, произнося имя, мы отчетливо сознаем, как оно пишется, и, следовательно, «видим» внутренним зрением это «а». Второй стих также начинается с первого слога имени героини; представлены в стихе и другие звуки анаграммы:

МАленькИх деРЖАтельнИца плеч...

Здесь это «ма» звучит вполне отчетливо. В первом слове третьего стиха «именование» продолжено:

усМИРен Мужской опАсный ноРов...

Во втором четверостишии, как было сказано выше, представлено «пыхтение» жутковатых, алчущих женской плоти рыб. Думается, что эти рыбы имеют отношение к тем, которые упомянуты поэтом в письме Н.Я. Мандель-

штам от 13 марта 1930 года, написанном в разгар мучительного для поэта разбирательства о «плагиате» в связи с изданием «Тилия Уленшпигеля»: «Здесь не люди, а рыбы страшные». Слабая героиня живет в мире онемевших (сравним: «Наши речи за десять шагов не слышны...») агрессивных существ. Таковы мужчины-рыбы. (Сравним с одичанием в антисталинском стихотворении: «Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет...».) Мужчины сами по себе агрессивны и плотоядны, а теперь они еще и онемели – налицо деградация, как в стихотворении «Ламарк». Слабой, нежной героине приходится жить в таком мире и как-то «усмирять» вождедеющих ее плоти чудовищ. Но не только пыхтение рыб представлено в четверостишии. Заметим, что в концовке каждого стиха мы встречаем здесь набор звуков и букв все того же имени: имени той, чей удел – раздавать «полухлеб» своей «плоти»:

плавникАМИ

НА возьМИ

РтАМИ

нАкорМИ

(Еще раз заметим: мы сознаем, что, например, в слове «накорми» первый гласный звук при произнесении редуцируется.) В третьей строфе автор возвращается к описанию героини, и ее имя снова начинает звучать в строке:

Мы не Рыбы кРАсно-золотые

(Примем во внимание и возможное старое произношение: «золотЫЯ»; отзывается имя Мария и в другом возможном произношении – «золотЫИ».) В четвертой строфе портрет героини дорисовывается. Первый стих четверостишия снова начинается с первого слога имени

Мария (причем «а» ударное), но к этому дело не сводится:

МАком бРовки Мечен путь опАсный...

что же Мне, как янычАРу, люб...

Автор книги не хочет сказать, что Мандельштам сознательно «вставлял» имя Мария в свое стихотворение. Но так или иначе оно присутствует в звуковой ткани «Мастерицы...». Глубокая печаль, неприкрытая нежность и сознание вины чувствуются в стихотворении «Твоим узким плечам под бичами краснеть...», которое обращено, очень вероятно, также к М.С. Петровых – хотя это и не очевидно:

Твоим узким плечам под бичами краснеть,

Под бичами краснеть, на морозе гореть.

Твоим детским рукам утюги поднимать,

Утюги поднимать да веревки вязать.

Твоим нежным ногам по стеклу босиком,

По стеклу босиком да кровавым песком...

Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть,

Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

*1934*

Стихотворение написано, видимо, в конце весны или летом 1934 года. Н. Мандельштам в своем комментарии, предполагая, что стихи могут относиться к ней, в то же время сомневается в этом: «О.М. не свойственно было бояться за меня, он не представлял себе, что у меня может быть отдельная судьба или что я его переживу. <...> ...Меня удивляют в этих стихах последние две строчки – о черной свечке и “молиться не сметь”. Они звучат так,

будто относятся скорее к чужой женщине, когда перед своей нельзя выдать тревогу и горе. Может, это следствие допросов, когда его пугали тем, что я тоже в тюрьме? Или разговоры во время моей болезни: “Вот до чего ваша неосторожность довела Надю”?.. “Неосторожность” – это то, что все умоляли его не читать посторонним людям стихи о Сталине и не давать их переписывать. <...> И все же сомнение мое не рассеивается – ход этот мне непонятен» [463] . В. Милашевский. Портрет Осипа Мандельштама. 1933

Почему свеча «черная»? Почему «молиться не сметь»? В мае 1934 года Мандельштам был арестован. Находясь в здании на Лубянке, в состоянии психического шока он назвал в числе тех, кому читал антисталинские стихи, и имя М.С. Петровых. «Ведь она, – пишет П.М. Нерлер, – по словам самого О.М., была единственной, кто запомнил и записал это стихотворение с голоса, так что О.М., возможно, имел нешуточные основания подозревать в ней доносчика» [464] . В деле действительно имеется показание Мандельштама, что «Петровых записала это [произв<едение>] стихотворение с голоса, обещая, правда, впоследствии уничтожить» [465] . О том, что список антисталинских стихов Мандельштам увидел во время допроса на столе следователя, причем это был список того варианта, который знала лишь М. Петровых, известно только со слов Н. Мандельштам, которая, естественно, сама этого списка не видела. Поэт же испытал на Лубянке психический шок и вышел оттуда в состоянии травматического психоза. Насколько точно он мог определить, какая бумага лежит на столе следователя (причем большого времени на рассмотрение документа, наверное, не было), судить трудно. «Но не исключен и такой вариант, снимающий тяжесть подозрения именно с

Петровых: никакой эпиграммы на Сталина у следствия не было, кто-то донес о ней в общих чертах – и впервые Шиваров не без изумления услышал ее из уст самого автора. Никакого другого списка этой эпиграммы, кроме авторского и шиваровского, в следственном деле нет. Сама Мария Сергеевна, по словам ее дочери, категорически отрицала то, что ей вменяла в вину Н.М., – факт записи прочитанного ей вслух этого стихотворения», – пишет П. Нерлер [466] . (Н.Х. Шиваров – следователь, который вел дело Мандельштама в 1934 году. На Лубянке Мандельштам написал стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...», эта рукопись имеется в деле; содержится в следственном деле и список стихотворения рукой следователя.)

Как сообщила автору книги Е.С. Петровых, психически травмированный Мандельштам сказал жене, что он хотел бы, чтобы Марию Сергеевну отправили в ссылку вместе с ним, – там она его оценит и полюбит. То же самое говорится в опубликованных воспоминаниях Екатерины Сергеевны [467] . От Надежды Мандельштам это известие дошло до Марии Сергеевны. Свидание с арестованным мужем в кабинете следователя Н. Мандельштам получила 28 мая 1934 года, и в этот же или на следующий день Мандельштамы были отправлены в Чердынь, к месту ссылки. Во второй половине июня, во время переезда поэта из Чердыни в Воронеж, Мандельштамы провели в Москве два-три дня. Таким образом, сама возможность узнать об этих словах Мандельштама, сказанных в заключении, – если считать сведения Е.С. Петровых соответствующими действительности (а оснований не верить ей мы не видим) – у Марии Петровых могла быть.

Екатерине Сергеевне запомнилось, что все, кто узнал о словах Мандельштама на Лубянке, смотрели на

ее сестру как на обреченную. У Екатерины Сергеевны осталось в памяти, как Мария Сергеевна сказала ей о том, что Борис Пастернак смотрит на нее глазами, полными ужаса, сострадания и бессилия помочь.

Вероятно, знание этих обстоятельств может быть бесполезно для понимания стихотворения «Твоим узким плечам под бичами краснеть...». Можно предположить, что в стихах выражено не предчувствие вины, а сознание вины пришедшего в себя после шока поэта. П. Нерлер пишет о том, что Мандельштам со временем переменил мнение, что «источник беды» – Мария Петровых: «об этом у него был разговор с Ахматовой в Воронеже, и когда бы не так, то, конечно же, не было бы между Петровых и Ахматовой той многолетней и ничем не омраченной дружбы, какая между ними была» [468]. Ахматова приехала в Воронеж 5 февраля 1936 года. Нам кажется, что чувство вины и раскаяния могло прийти к поэту и ранее. Во всяком случае (если посчитать стихотворение «Твоим узким плечам под бичами краснеть...» обращенным к М. Петровых), нам представляется логичной и обоснованной точка зрения Э. Герштейн: «...Назвать единственного человека, который их (стихи о Сталине. – Л.В.) записывал, – это значило подвергнуть его более строгой статье обвинения: “распространение контрреволюционного материала”. И это, вероятно, терзало совесть Мандельштама. Стихотворение о черной свечке – это оправдание или раскаяние» [469]. Хотим еще раз подчеркнуть: нельзя говорить с полной уверенностью, что стихотворение о «черной свечке» обращено к Марии Петровых; это только предположение, хотя и вероятное.

Судьба Марии Петровых действительно была трудной и непростой, хотя, к счастью, не такой страшной, как

у героини стихотворения «Твоим узким плечам под бичами краснеть...».

*Судьба за мной присматривала  
в оба,  
Чтоб вдруг не обошла меня  
утрата.  
Я потеряла друга, мужа, брата,  
Я получала письма из-за гроба*

---

написала она в 1967 году («Судьба за мной присматривала в оба...») [470] .

Об увлечении Мандельштама Марией Петровых рассказано в различных мемуарах – Н.Я. Мандельштам, Э.Г. Герштейн, А.А. Ахматовой... Нелишним будет привести и мнение С.И. Липкина (он вспоминает о разговоре с Н. Мандельштам «незадолго до ее смерти»):

«Стали вспоминать прошлое – и давнее, и более близкое. <...> Такой элегический ход разговора позволил мне сказать Надежде Яковлевне, что во второй ее книге много несправедливого (я выразился мягче), и это соседствует с прекрасными мыслями, наблюдениями, что особенно мне неприятен в книге портрет М.С. Петровых, благородной женщины, истинной христианки, замечательного поэта, чей облик автором искажен, а я дружил с ней с юношеских лет и знаю, что она виновна только в том, что Мандельштам – дело прошлое – был в нее влюблен, а она ему не отвечала взаимностью.



### Дом, где жили сестры Петровых

Надежда Яковлевна встретила мои слова неожиданно спокойно, спросила задумчиво: “Вы так думаете?” Станный вопрос...» [471] . Мария Сергеевна надолго пережила Мандельштама – она скончалась в 1979 году. Память ее возвращалась к дням ее молодости, к дому в Гранатном переулке. В стихотворении «Назначь мне свиданье на этом свете...» (1953), которое Ахматова охарактеризовала как одно из лучших любовных стихотворений в русской поэзии XX столетия, сказано:

Пусть годы умчатся в круженье обратном  
И встретимся мы в переулке Гранатном...

К Мандельштаму эти стихи отношения не имеют. Погибший поэт назван (точнее, воспет) в стихах 1962 года.

Ахматовой и Пастернака,  
Цветаевой и Мандельштама  
Неразлучимы имена.  
Четыре путеводных знака —  
Их горный свет горит упрямо,  
Их связь таинственно ясна.  
Неугасимое созвездье!  
Навеки врозь, навеки вместе.  
Звезда в ответе за звезду.  
Для нас четырехзначность эта —  
Как бы четыре края света,  
Четыре времени в году.  
Их правотой наш век отмечен.  
Здесь крыть, как говорится, нечем  
Вам, нагоняющие страх.  
Здесь просто замкнутость квадрата,  
Семья, где две сестры, два брата,  
Изба о четырех углах... [472]

Образ Мандельштама, каким он вырисовывается в этой главе, как бы двоится: никуда не уйдешь от определенной комичности ситуации, в которой протекало увлечение поэта; с другой стороны, стихи, адресованные М. Петровых, трагичны. Такое сочетание не случайно, а вообще характерно для личности Мандельштама. Он был импульсивен, необыкновенно возбудим, непредсказуем — чудаковат. «Чудак? Конечно, чудак!» — соглашается Анна Ахматова, рассказывая о нем [473]. Он был человек «не

от мира сего» (это не исключает необыкновенно точного зрения и провидческого дара!) в том же смысле, что и герой Чаплина или Дон Кихот: и на того, и на другого поэт был похож – и на Дон Кихота тоже, несмотря на свой невысокий (средний) рост. Рыцарь бедный, трагический чудак... Таким Мандельштам запомнился Арсению Тарковскому, чье имя уже упоминалось в этой главе. Он, как мы знаем, бывал в Гранатном переулке у своей бывшей соученицы по Литературным курсам. С Мандельштамом Тарковский был знаком. Известно, что в 1931 году Мандельштам слушал в доме Рюрика Ивнева стихи трех молодых поэтов – А. Штейнберга, Н. Берендгофа и А. Тарковского. Может быть, могли они встретиться и здесь, в Гранатном переулке? *Жил на свете рыцарь бедный...*

Эту книгу мне когда-то  
В коридоре Госиздата  
Подарил один поэт;  
Книга порвана, измята,  
И в живых поэта нет.  
Говорили, что в обличье  
У поэта нечто птичье  
И египетское есть;  
Было нищее величье  
И задерганная честь.  
Как боялся он пространства  
Коридоров! постоянства  
Кредиторов! Он, как дар,  
В диком приступе жеманства

Принимал свой гонорар.  
Так елозит по экрану,  
С реверансами, как спяну,  
Старый клоун в котелке  
И, как трезвый, прячет рану  
Под жилеткой из пике.  
Оперенный рифмой парной,  
Кончен подвиг календарный, —  
Добрый путь тебе, прощай!  
Здравствуй, праздник гонорарный,  
Черный белый каравай!  
Гнутым словом забавлялся,  
Птичьим клювом улыбался,  
Встречных с лету брал в зажим,  
Одиночества боялся  
И стихи читал чужим.  
Так и надо жить поэту.  
Я и сам спую по свету,  
Одиночества боюсь,  
В сотый раз за книгу эту  
В одиночестве берусь.  
Там в стихах пейзажей мало,  
Только бестолочь вокзала  
И театра кутерьма,

Только люди как попало,  
Рынок, очередь, тюрьма.  
Жизнь, должно быть, наболтала.  
Наплела судьба сама [475] .

На поверхности нередко – чудачество, непредсказуемые реакции, скандальность, небрежность в одежде. Но за этим-то главное – небесный дар, чистый поэтический голос. А можно было увидеть только поверхность. И – «вместо трагической фигуры редкостного поэта, который и в годы воронежской ссылки продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи, – мы имеем “городского сумасшедшего”, проходимца, опустившееся существо» (Анна Ахматова. «Листки из дневника») [476] . Рассказом о последнем московском адресе поэта мы завершим знакомство с мандельштамовской Москвой.

**Последняя московская  
квартира. Улица  
Фурманова  
(Нащокинский  
переулок), д. 3–5, кв. 26.  
1933–1938**



В конце 1933 года Осип и Надежда Мандельштам оставляют правый флигель Дома Герцена и переезжают на улицу Фурманова. Такое название улица официально

носила с 1926 года. Здесь, в доме 14, Дмитрий Фурманов, автор «Чапаева», провел последние годы жизни (1923–1926). До 1926 года этот арбатский переулок (а это именно переулок, а никак не улица) назывался Нащокинским. Так его по привычке нередко называли в 1920–1930-е годы и после переименования: в ходу были оба названия.

В начале 1930-х здесь появился один из первых кооперативных домов в Москве. «Здание сооружено в 1933–1934 годах способом надстройки на 2 и 3 этажа бывших старинных каменных Нарышкинских палат и капитальной реконструкции Российским жилищно-строительным кооперативом товарищества “Советский писатель”. Председателем правления был А.А. Жаров, в Комиссии по надзору за строительством – Мате Залка», – сообщает исследователь жизни и творчества М.А. Булгакова, московский краевед Б.С. Мягков [479] . («Палаты» – во всяком случае, к середине XVIII века – были не Нарышкинские, а Нащокинские; по этой усадьбе переулок и получил свое историческое название.)

Поэтому дом нередко именовали «писательской надстройкой». Согласно воспоминаниям Эстер Маркиш, вдовы писателя Переца Маркиша, «дом представлял собой трехэтажную надстройку над двумя соседними домами» [480] . Строители «сдавали» дом частями, некоторые жители въезжали в свои новые квартиры и ранее 1933 года. А другим приходилось ждать и ждать. И ждали с нетерпением – перебраться в отдельную благоустроенную квартиру было заветной мечтой. В дневнике Елены Сергеевны Булгаковой, жены Михаила Булгакова, это нетерпение хорошо чувствуется:

«23 сентября (1933 года. – Л.В.).

Было общее собрание жильцов корпуса А, опять откладывается стройка. На собрании М. Залка и Шкловский сводили счета. <...>

18 октября.

С М.А. и Сережкой [481] на новой стройке в Нащокинском. Авось в январе переедем. <...>

19 октября.

Опять на стройке. М.А. волнуется – только бы переехать. <...>

2 ноября.

<...> М.А. ходит почти каждый день на стройку, нервничает. Там ставят перегородки. <...>

9 ноября.

Тревожит вопрос о квартире. Пошли к Матэ Залка – тот успокаивает – скоро будет, к концу года. <...>

1 декабря.

Днем ездили на стройку. Несмотря на морозы, «подвигается».

15 января (1934 года. – Л.В.)

<...> На квартире осталось только – внутренняя окраска, проводка электрическая, проводка газа, пуск воды. Но сколько еще это протянется? <...>» [482] .

Въехали Булгаковы в свою новую квартиру (44) 18 февраля 1934 года. Но пользоваться газом (и, соответственно, греть воду в ванной) они смогли только начиная с октября 1934-го.

Здание было снесено в конце 1970-х годов, и Москва лишилась дома, где жили долго ли, коротко ли многие

писатели: К. Тренев, С. Клычков, Всеволод Иванов, С. Кирсанов, В. Ардов, В. Билль-Белоцерковский, Антал Гидаш, Мате Залка, И. Ильф, Е. Петров, А. Файко, Перец Маркиш, Ю. Нагибин и др. В этом доме жил до своей кончины и писал «закатный» роман «Мастер и Маргарита» М.А. Булгаков.

А в квартире 26 поселились Мандельштамы (Мандельштам и Булгаков жили в соседних подъездах).



Ул. Фурманова, д. 3-5

До недавнего времени определить, когда Мандельштамы въехали в дом в Нащокинском, было затрудни-

тельно. Если судить по уже цитированному письму Мандельштама отцу (примерно середина ноября 1933 года – см. главу «Снова при Доме Герцена...»), где Осип Эмильевич пишет о намерении въехать в новую квартиру «в начале декабря», то выходит, что Мандельштамы обосновались на улице Фурманова не ранее конца осени. Н.Я. Мандельштам отмечает в «Воспоминаниях», что «через полгода (после въезда в писательский дом. – Л.В.) О. М. забрали» [483]. Поскольку Мандельштам был арестован в середине мая 1934-го, вселение надо, таким образом, датировать ноябрем 1933-го. Но во «Второй книге» мемуаров Н. Мандельштам сказано иначе: «В Москву мы вернулись в конце июля (1933 года, из Крыма. – Л.В.) и сразу переехали на новую квартиру, откуда в следующем мае увели Мандельштама на Лубянку» [484]. Э.Г. Герштейн в своих воспоминаниях сообщает о переезде так: «Вскоре после возвращения в Москву Мандельштамы переехали на новую квартиру» [485]. Анна Ахматова в «Листках из дневника»: «Осенью 1933 года Мандельштам наконец получил (воспетую им) квартиру в Нащокинском переулке...» [486] Осип Мандельштам. Москва, февраль 1934

Марк Владимирович Талов – поэт и переводчик, знакомый Мандельштама. С 1913 по 1922 год жил во Франции. Вернувшись на родину, вскоре познакомился с Мандельштамом. В книгу, изданную в 2006 году, вошли его стихи, переводы и воспоминания. С 1931 года М. Талов вел дневник. 18 октября 1933-го помечена запись, говорящая о посещении Мандельштамов в их новой квартире: Г. Чулков, М. Петровых, А. Ахматова, О. Мандельштам. Москва, ул. Фурманова

Мандельштамы были гостеприимны, и в их доме стали нередко появляться знакомые и друзья. Упомянем

первым поэта Владимира Нарбута, товарища еще по гумилевскому акмеистическому «Цеху поэтов» (Б. Кузин, отмечая, что дружба Мандельштаму была необходима и что при этом он не может назвать никого, кого бы он мог считать близким другом поэта, – «у меня сложилось мнение, что по-настоящему близким его другом был только Н.С. Гумилев» [502] , – выделяет все же В.И. Нарбута). У Нарбута Мандельштамы и сами неоднократно бывали в Марьиной Роще (см. «Список адресов»). Когда Нарбут занимал ответственные партийные посты и руководил издательством «Земля и фабрика», он давал работу и помогал Мандельштаму; однако в это время, в 1933–1934 годах, Нарбут уже был исключен из партии, потерял влияние, и Мандельштам старался ему помочь, чем мог. Бывали у Мандельштама поэты Михаил Зенкевич (тоже в прошлом акмеист), Георгий Шенгели и Сергей Клычков; Мария Петровых и Борис Кузин; художник Александр Тышлер, Эмма Герштейн, брат Надежды Яковлевны Евгений Хазин, Владимир Яхонтов и Лиля Попова; жил здесь некоторое время вернувшийся из ссылки поэт Владимир Пяст; наезжал, как уже упоминалось, Лев Гумилев («Где мой дорогой мальчик?» – спрашивал Осип Эмильевич, когда приходил домой в отсутствие «Лёвы»). В это время Нарбут работает над новыми стихами, в духе так называемой «научной поэзии», приверженцем которой он тогда был (цикл «Под микроскопом»). Логично предположить, что старый товарищ-поэт мог познакомить Мандельштама со своими новыми сочинениями. В цикл входит, в частности, стихотворение «Садовод». Стихам предпослан эпиграф – слова И.В. Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы: взять их у нее – наша задача». Стихи страшноватые: работу «садовода» автор стихотворения сравнивает с холощением животных; в природу надо

вторгаться активно, без церемоний, и также смело надо «переделывать» и стихи:

.....  
Перхоть, клей, подрагиванье, тренье,  
На губах – любовь: не продохнешь!  
В суматохе зреет подозренье:  
Приготовь для кесарева нож...  
Только бы в саду не растеряться:  
По деревьям – свальный грех, содом...  
Лестница, —  
И жарко от кастраций...  
Марлевый сачок повис потом.  
(Как у нас лущили, холостили,  
В балке поднимали на попье.  
И клещи мошонку защемили.  
Плавают яичников тряпье.  
Как у нас, без всяких фанаберий  
Переделывают ямб, хорей.  
Интонационный стих оперил  
Мысли, чтобы ритм не захирел.)

.....  
Я прошу:  
среди пасмурного дыма  
Веток и пыльцы (с весной стык),  
Мудрый садовод,

Неукротимый

Обуздай наукою мой стих!

Вариант этого стихотворения под еще более интересным для нас названием «Садовник» сохранился в архиве В.Б. Шкловского. Стихи посвящены И.В. Мичурину.

Это скрещиванье, опыление —

Что, как не древесная любовь?

Медленно, однако, поколенья

Лезет семечками из плодов.

А у нас ни сроков, ни охоты

Сохранять врожденное лицо:

Черенок и нож подтянут всходы,

Банка светится уже пыльцой.

Слыша, как под песни комсомолок

Перестраивается страна,

Улыбается в усы помолог:

– Молоды еще мы, старина! —

Над Козловом день – высок, лазурен.

Но куда лучистой воля, ум

У того, кого зовут Мичурин,

Кто в зеленый окунулся шум.

Селекционер, он в мире первый

Показал (трезвейший чародей!),

Сколько превращений и гипербол

Спрятано в растении, в плоде.

.....  
Выводя породу за породой,  
Дичь и косность мы на части рвем.  
Что ж, повозимся еще с природой,  
Поработаем и поживем!  
В долголетьи нет стране отказа, —  
Нас гормоны новые бодрят.  
Нам социализм широкоглазой  
Веткой машет дни и ночь подряд.  
Сами из породы полноправных,  
Садоводы чувств и головы,  
Мы вконец спокойны за питомник,  
За сады, в движении молвы,  
Если есть у нас такой садовник,  
Как, Иван Владимирович, Вы! [504]

В примечании к «Садовнику» Н. Бялосинская и Н. Панченко сообщают: «М.б., глава из задуманной поэмы о Мичурине. В АШ (архив В.Б. Шкловского. – Л.В.) сохранились черновики, планы, выписки к этому замыслу» [505]. То есть над замыслом Нарбут работал в течение определенного времени; есть все основания предполагать, что он мог познакомить Мандельштама со своими стихами на эту тему.

Известно, что Мандельштам не принимал «научную поэзию» как направление, хотя сам никак не чуждался научно-философской проблематики (об этом свидетельствуют стихи о Ламарке и «Восьмистишия», созданные в 1933–1935 годах). Воспоминание о его выступлении на

соответствующем диспуте оставила Н.Я. Мандельштам: «Выступал он очень редко – ведь все с самого начала покрылось густым слоем официальщины и не располагало к свободному разговору. При мне он лишь однажды ввязался в спор на литературном собрании в ГИХЛе, посвященном... “научной поэзии”. Мандельштам выступал очень резко и оспаривал самое понятие “научная поэзия”. Нарбут ликовал: настоящее литературное собрание. Санников, второй адепт этого вида поэзии, чернел от гнева» [506] .

7 июня 1935 года, то есть в период работы поэта над воронежскими «Стансами», умер И.В. Мичурин. Этот факт не мог пройти мимо внимания Мандельштама. Мичурин скончался в городе Мичуринске (в 1932 году город Козлов получил имя селекционера), достаточно близко от Воронежа, места мандельштамовской ссылки; более того, Мичуринск в то время входил в состав Воронежской области (Тамбовская область была выделена из Воронежской в 1937 году). О смерти знаменитого восьмидесятилетнего садовника, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного знамени, сообщали центральная и региональная пресса и радио. Смерть Мичурина могла напомнить о нарбутовских стихах, посвященных селекционеру. Стихи Нарбута, прославляющие бодрое вторжение в природу с ножом в руке, вполне могли отозваться, в свою очередь, в характеристике Гитлера – фюрер разделял, как известно, идеи социал-дарвинизма, был фанатичным приверженцем идей расовой селекции, выбраковки ущербных и «расово неполноценных» – именно это он и предлагал осуществить и осуществлял на практике в человеческом обществе, руководствуясь, разумеется, собственным представлением о том, кто ущербен, а кто нет. Во избежание кривотолков оговоримся, пусть эта оговор-

ка и будет звучать комично: Мичурин, естественно, никакого отношения к фашизму и Гитлеру не имел. Для нас в данном случае имеет значение только то, что он был садовник и селекционер. Известие о кончине Мичурина могло вызвать у Мандельштама мысль об идеях расовой селекции, которых придерживался и которые воплощал в жизнь Гитлер. Мандельштам был приверженцем идеи об эволюции как следствии, в первую очередь, изначально присущего жизни креативного импульса, «творческой эволюции» (вспомним его увлечение Бергсоном и Ламарком). Мысль о механическом вмешательстве в этот процесс «со стороны» и сортировке, во всеоружии самонадеянного невежества и предвзятости, «нужных» и «негодных» – такая мысль была ему, очевидно, совершенно чужда. Такова, по нашему мнению, по крайней мере одна из причин странного на первый взгляд объединения в характеристике Гитлера «садовника» и «палача».

Возвратимся к писательскому дому. Жизнь на улице Фурманова, как и ранее, была бедной и неустроенной. Опубликованное в майской книжке журнала «Звезда» «Путешествие в Армению» вызвало откровенно недоброжелательную реакцию Н. Оружейникова в «Литературной газете» и, что еще более важно, резко отрицательный отзыв С. Розенталя в «Правде», главной газете страны (30 августа 1933 года). Была надежда лишь на случайные литературные подработки. «...Бродячая жизнь как будто кончилась, – пишет Анна Ахматова. – Там впервые у Осипа завелись книги, главным образом старинные издания итальянских поэтов (Данте, Петрарка). На самом деле ничего не кончилось. Все время надо было куда-то звонить, чего-то ждать, на что-то надеяться. И никогда из этого ничего не выходило» [507] .

Лев Николаевич Гумилев рассказывал о своем пребывании у Мандельштамов: однажды, когда в доме не было папирос и не было денег на их покупку, он (Гумилев), увидев нищего, стоявшего на углу Гагаринского переулка и улицы Фурманова, продал ему кусок хлеба и купил папиросы на эти деньги. Надежда Яковлевна, по словам Гумилева, долго его ругала за то, что он хлеб продал нищему – нищему можно подать или не подать, но продавать нехорошо.

Деньги были нужны, и Мандельштам решил продать государству свой архив. В 1933 году был создан Центральный музей художественной литературы, критики и публицистики (ЦМЛ). Руководил им видный старый большевик В.Д. Бонч-Бруевич. Музей покупал архивы литераторов. Как сообщает С.В. Шумихин, Михаил Кузмин, например, в декабре 1933-го – то есть тогда, когда Мандельштамы обживали квартиру на улице Фурманова – продал свой архив музею за 25 000 рублей. С. Шумихин пишет: «3 марта 1934 года Мандельштам принес в музей, который помещался тогда на 1-м этаже дома № 5 по Рождественке, свой архив...» [508] Уточним – здесь был музейный отдел рукописей и фольклора. Комиссия экспертов определила стоимость архива Мандельштама в 500 рублей. Поэт продавать архив отказался. В ЦМЛ он уже сам не пошел. 21 марта 1934 года датирована доверенность, выданная Мандельштамом жене на получение его бумаг из Литмузея обратно. Чего бы сейчас только не дали исследователи всего мира за одну только возможность посмотреть эти рукописи!

У Мандельштама состоялся телефонный разговор с Бонч-Бруевичем; в продолжение разговора Мандельштам отправляет руководителю музея раздраженное письмо (21 марта 1934 года), где, в частности, заявляет: «Назна-

чать за мои рукописи любую цену – ваше право. Мое дело – согласиться или отказаться. Между тем вы почему-то сочли нужным сообщить мне развернутую мотивировку вашего неуважения к моим трудам.

Таким образом покупку писательского архива вы превратили в карикатуру на посмертную оценку. **Безо всякого повода с моей стороны** вы заговорили со мной так, как если бы я принес на утильпункт никому не нужное барахло, скупаемое с неизвестной целью».

Эта история послужила поводом для написания эпитаграммы:

*На берегу эгейских вод  
Живут архивяне – народ  
Довольно древний. Всем на  
диво  
Начальству продавать архивы  
Паршивый промысел его.  
Священным трепетом листвы  
И гнусным шелестом бумаги  
Они питаются – увы! —  
Неуважаемы и наги...  
Чего им нужно?*

*1934*

Выразительный эпизод, характерный для быта Мандельштамов, находим в дневнике В.Н. Горбачевой, жены С.А. Клычкова: «Мандельштамы живут в нашем подъезде на самом верхнем этаже. Они иногда стучатся к нам в дверь... просят взаймы. Анна Ахматова. 1930-е

Мандельштама житейские неурядицы обычно не смущали. Когда он сочинял стихи, то бегал, как вспоминал Л.Н. Гумилев, по квартире, бормотал про себя, «шумел, гудел, когда на него накатывало». Как и ранее, свойственные поэту неистребимые открытость жизни и приятие ее выражались, в частности, в юморе, остротах, шутливых прозвищах и наименованиях. Так, например, свою комнату поэт стал именовать «Запястье», потому что она была расположена за той, в которой жил Пяст. Комната, где останавливалась Ахматова («будущая кухня»), получила прозвище «Капище» (В. Нарбут однажды, по словам Н. Мандельштам, обратился к Ахматовой: «Что Вы валяетесь, как идолище в своем капище?» и посоветовал ей пойти на какое-нибудь заседание). Надежде Яковлевне поэт придумал однажды имя «Маманас» (то есть «наша мама» – имелись в виду сам Мандельштам и Ахматова). Главы своих поэм В.А. Пяст именовал отрывками. Это слово попало в эпиграмму, написанную в начале 1934 года:

Слышу на лестнице шум быстро идущего Пяста,  
Вижу: торчит из пальто семьдесят пятый отрыв,  
Чую смущенной душой запах голландского сыра  
И вождедею отнять около ста папирос.

Содержалась ли в шутливом прозвище Маманас какая-то доля правды по отношению к Мандельштаму? Известно, что мать Мандельштам очень любил, и ее смерть в 1916 году была для него тяжелым ударом. Так или иначе, нелегко быть женой неприкаянного, по-житейски абсолютно неустроенного, а затем и гонимого человека. Надежда Яковлевна Мандельштам относится, бесспорно, к той категории самоотверженных любящих женщин, что и Настасья Марковна, жена протопopa Аввакума, Софья

Андреевна Толстая, Анна Григорьевна Достоевская и Елена Сергеевна Булгакова. Мандельштама соединяли с женой любовь и настоящее духовное родство. Поэт мог увлечься Марией Петровых, ему могла нравиться Лиля Яхонтова, но накрепко связан он был, несомненно, только со своей Надей. «Осип любил Надю невероятно, неправдоподобно... <...> Он не отпускал Надю от себя ни на шаг, не позволял ей работать, бешено ревновал, просил ее советов о каждом слове в стихах, – пишет Ахматова. – Вообще я ничего подобного в своей жизни не видела. Сохранившиеся письма Мандельштама к жене полностью подтверждают это мое впечатление» [512] . Именно в это время, в период жизни на улице Фурманова, был создан убийственный стихотворный портрет Сталина (ноябрь 1933).

Мы живем, под собою не чуя страны,  
Наши речи за десять шагов не слышны,  
А где хватит на полразговорца,  
Там припомнят кремлевского горца.  
Его толстые пальцы, как черви, жирны,  
И слова, как пудовые гири, верны,  
Тараканьи смеются усища  
И сияют его голенища.  
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,  
Он играет услугами полулюдей.  
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,  
Он один лишь бабачит и тычет,  
Как подкову, дарит за указом указ:

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него – то малина

И широкая грудь осетина.

Подобно ряду текстологов, автор данной книги склоняется к мнению, что основным вариантом седьмого стиха надо считать «Тараканьи смеются глазища». Все же, что ни говори, сам поэт написал именно так (автограф в следственном деле 1934 года), и, с нашей точки зрения, это должно быть решающим фактором. А.Г. Мец указал на «нераспознанную ранее цитату в “Листках из дневника” Ахматовой: “Из каждого окна на нас глядели тараканьи усища виновника торжества”». «“Листки из дневника”, – подчеркивает А. Мец, – писались в 1957–1963 годах, до первой публикации стихотворения (1963) [514], что повышает ценность цитаты как текстологического источника». Это сильный аргумент, как и то, что, по словам А. Меца, вариант «тараканьи глазища» «не встречается больше ни в одной записи свидетелей-современников» [515]. Но все же авторская запись, хотя и сделанная в условиях экстремальных, представляется более авторитетным источником; кроме того, совсем недавно обнаружен список стихотворения, сделанный при жизни автора – «видимо, тайно, с голоса и по памяти» – и принадлежащий перу Бориса Кузина, а в нем в соответствующем стихе – «глазища» [516]. «Мы живем, под собою не чуя страны...» Автограф

Выскажем также следующее соображение: «глазища» больше соответствуют поэтической стратегии Мандельштама – его установке на высокую концентрацию, сгущение смысла за счет использования многозначности, фонетических возможностей и «спрессовывания» словесного материала: произнося «глазища», мы не можем не

слышать и «усища»; мы видим не только глаза, но в нашем сознании неизбежно возникают заодно и сталинские усы. Автор данной книги назвал бы прием, о котором идет речь, «два в одном». Выше, в первой главе о Доме Герцена, говорилось, в связи со стихотворением «А небо будущим беременно...», о замечательном наблюдении Б. А. Успенского: напомним, что, как показал исследователь, у Мандельштама нередко через слово в переносном, метафорическом значении «проглядывает» другое, первичное, в этой конструкции замененное, и взаимодействие замещенного, но осознаваемого, и того, что стало на его место, создает определенный контекст. Как мы пытались показать, в строке «А небо будущим беременно...» «сквозь» «небо» мы слышим «время» – из более привычного выражения «время беременно будущим». Нам кажется, что этот прием действует не только в тех случаях, когда можно говорить о метафорах, но имеет и более широкую область применения. Так (и об этом тоже шла речь выше), в стихотворении «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..» странная рифма к слову «обуян» – «Франсуа» – останавливает наше внимание, что и требуется: за «Франсуа» «просматривается» неназванный и «лучше» рифмующийся с «обуян» Вийон («Виллон»). Так и в стихах о Сталине – Мандельштам убивает двух зайцев разом, одним словом рисует сразу две детали сталинского портрета: пронизательные хитрые глаза и усы. «Со Сталиным во главе». Плакат

Атмосфера этих стихов столь же страшна, как в пушкинском сне Татьяны из «Евгения Онегина», откуда, думается, и явились «полулюди». Люди, нормальные люди, немеют и, как в жутком сне, не чувствуют земли под ногами, а нечисть, окружающая кремлевского «душегубца», рассвистелась и расшипелась. Татьяна у Пушкина

немеет от страха, ни язык, ни ноги ее не слушаются (подобно тем, кто обозначен в стихах Мандельштама «мы»); Онегин в ее сне выступает в качестве «хозяина»-предводителя сборища уродов, издающих нечеловеческие звуки: «Лай, хохот, пенье, свист и хлоп, / Людская молвь и конский топ! <...> Он знак подаст – и все хлопчут; / Он пьет – все пьют и все кричат; / Он засмеется – все хохочут; / Нахмурит брови – все молчат; / Он там хозяин, это ясно...». «Хозяин» – так уже говорили о Сталине в период написания мандельштамовского стихотворения. И ниже: «...вдруг Евгений / Хватает длинный нож...» [517] . Примем во внимание строки, которые, по свидетельству Н. Мандельштам, присутствовали в ранней редакции антисталинского стихотворения: «Только слышно кремлевского горца, / Душегубца и мужикоборца» [518] . Нож – неизменный атрибут «душегубца». О. Ронен устанавливает связь стихов о кремлевском горце с произведением А. К. Толстого. «В ней [520] Мандельштам возродил традицию фольклоризованной гражданской сатиры XIX века. <...> Своим ритмико-интонационным строем, риторикой негодования, смягченного просторечивым юмором и позой простодушного изумления, и несколькими конкретными деталями эти знаменитые стихи восходят к не менее знаменитой “песне” Толстого “Поток-Богатырь”» [521] . Действительно, в балладе А.К. Толстого древнерусский богатырь засыпает во времена великого князя киевского Владимира Святославича, а просыпается в Москве XVI века. Картина, которая предстает перед его глазами, вызывает у богатыря недоумение и негодование:

11

.....

Вдруг гремят тулумбасы, идет караул,

Гонит палками встречных с дороги;  
Едет царь на коне в зипуне из парчи,  
А кругом с топорами идут палачи —  
Его милость собираются тешить:  
Там кого-то рубить или вешать.

12

И во гневе за меч ухватился Поток:  
«Что за хан на Руси своеволит?»  
Но вдруг слышит слова: «То земной едет бог,  
То отец наш казнить нас изволит!»  
И на улице, сколько там было толпы, —  
Воеводы, бояре, монахи, попы,  
Мужики, старики и старухи, —  
Все пред ним повалились на брюхи [522] .

Образ Сталина в стихотворении Мандельштама фольклорен и плакатен, портрет нарисован сочными красками, приводящими на память древнерусские былины, лубочные картинки XVII века, «Капричос» Гойи и окна РОСТА Маяковского. Сравним:

Он поехал нунь, татарин да поганьи,  
А Идолище великое,  
А великое да страшное...

.....

Говорит ему Иванище могучее:  
«Там татарин с великии,

А великии Идолище да страшныи;  
Он по́ кулю да хлеба к выти ест,  
По ведру вина да он на раз-то пьет, —  
Так не смею я идти туда к татарину».

.....

Тут Идолищу поганому не кажется,  
Как ухватит он ножище да кинжалище,  
Да как махне он в казáка Илью Муромца...

*«Илья Муромец и Идолище в Киеве»*

Тут несли как Тугарина за дубовый стол,  
Да несло двенадцать слуг да ведь уж князевых,  
Да на той же доске да раззолоченной.

.....

Да и говорит-то Тугарин-от Змеевич же:  
«Еще хошь ли, Алешенька, я живком схвачу,  
Еще хошь ли, Алешенька, я конем стопчу,  
Я конем-то стопчу, да я копьем сколю?»  
Да по целой-то ковриге да кладет за щеку.

*«Алеша и Тугарин в Киеве» [523]*

Сталин и показан Мандельштамом как такое «Идолище» поганое или Тугарин Змеевич (о некоем «змееподобии» или «драконоподобии» Сталина мы писали выше, упоминая наблюдения Д. Лахути и Г. Левинтона). Его толстые жирные пальцы, его «глазища» (сквозь которые проглядывают неназванные «усища») и «голенища» заставляют вспомнить о былинных «идолищах» и «ножищах»-«кинжалищах». «Кремлевский горец» и говорит по-

варварски: «бабачит» на своем полузверином наречии. Он не совсем человек, подобно герою былины о Тугарине Змеевиче: «глазища» у него тараканьи (а таракан существо хитрое, «подпольное» и человеку противное) и язык соответствующий: тычет и бабачит. Герой стихотворения – огромный таракан (вспоминается, конечно, и «Тараканница» Чуковского), поэтому у него «глазища». Удовольствие испытывает от казней, от убийства: всякая казнь для него – «малина»; сравним с вкрадчивым, «ласковым» обещанием Тугарина «Алешеньку» конем стоптать или копьем сколоть. «Мы живем, под собою не чуя страны...» последовательно продолжает «фольклорную» стилистику стихотворения о «неправде» («Я с дымящей лучиной вхожу...»), о котором говорилось выше, в главе о жизни в Старосадском переулке. Заключительная строка стихов о кремлевском горце кажется, при таком явно гротескном портрете, бледноватой для завершения. Известно, что Мандельштам не был удовлетворен финалом. Нельзя не согласиться с М.Л. Гаспаровым, что оставшийся в памяти некоторых слушателей другой вариант концовки кажется более соответствующим стилистике произведения: «И широкая ж... грузина» [524]. «В русской поэзии есть грузинская традиция. Когда наши поэты прошлого столетия касаются Грузии, голос их приобретает особенную женственную мягкость и самый стих как бы погружается в мягкую влажную атмосферу:

На холмы Грузии легла ночная мгла... [525]

Может быть, во всей грузинской поэзии нет двух таких стихов, по-грузински пьяных и пряных, как два стиха Лермонтова:

Пену сладких вин

Сонный льет грузин [526].

<...> Б.Л. Пастернак

Нужен был лишь внешний раздражитель, чтобы это настроение выразилось в стихах. И такой повод явился. Однажды к Мандельштамам на улицу Фурманова пришел Б.Л. Пастернак – посмотреть, как они устроились. Н. Мандельштам вспоминала о том, какую реакцию вызвали доброжелательные слова Бориса Леонидовича: «“Ну, вот, теперь и квартира есть – можно писать стихи”, – сказал он, уходя. “Ты слышала, что он сказал?” – О.М. был в ярости... Он не переносил жалоб на внешние обстоятельства – неустроенный быт, квартиру, недостаток денег, – которые мешают работать. По его глубокому убеждению, ничто не может помешать художнику сделать то, что он должен, и обратно – благополучие не может служить стимулом к работе. Не то чтобы он чурался благополучия, против него он бы не возражал... Вокруг нас шла отчаянная борьба за писательское пайковое благоустройство, и в этой борьбе квартира считалась главным призом. Несколько позже начали выдавать за заслуги и дачки... Слова Бориса Леонидовича попали в цель – О.М. проклял квартиру и предложил вернуть ее тем, для кого она предназначалась: честным предателям, изобразителям и тому подобным старателям... В словах Пастернака, вполне естественных, добросердечных и по-житейски понятных, Мандельштаму послышалось, вероятно, пожелание примириться с действительностью. Мандельштам очень высоко ценил Пастернака-поэта, на этот счет имеется не одно высказывание; поздравляя Пастернака с Новым годом, Мандельштам напишет ему из Воронежа:

«Дорогой Борис Леонидович.

Когда вспоминаешь весь великий объем вашей жизненной работы, весь ее несравненный жизненный охват – для благодарности не найдешь слов.

Я хочу, чтобы ваша поэзия, которой мы все избалованы и незаслуженно задарены, – рвалась дальше к миру, к народу, к детям...» (письмо от 2 января 1937 года).

Но Мандельштаму не была близка некая, как ему это виделось, уравновешенность Пастернака, «отрешенность» от жгучих и кричащих фактов жизни, некое всепонимающее гётеанство, «принятие» действительности. В записной книжке Мандельштама этот аспект отношения к Пастернаку выражен так: «Набрал в рот вселенную и молчит. Всегда-всегда молчит. Аж страшно» (записи дневникового характера).

Л.Я. Гинзбург в своих записях, отмечая, что «Пастернак выражает сознание “приемлющего интеллигента” (как Мандельштам выражает сознание интеллигента в состоянии самозащиты)», фиксирует еще одно вероятное высказывание Мандельштама о Пастернаке: «Будто бы Мандельштам сказал: “Я не могу иметь ничего общего с Борисом Леонидовичем – у него профбилет в кармане”» [534] . Мандельштам же в этот период (начало 1930-х годов) считал, что не надо и невозможно оправдывать действительность: «Я очень запомнила один из наших тогдашних разговоров о поэзии, – вспоминает Ахматова. – О.Э., который очень болезненно переносил то, что сейчас называется культом личности, сказал мне: “Стихи сейчас должны быть гражданскими” и прочел “Под собой мы не чуем...”» [535] .

(мелко копировано) 2/10/37  
Дорогой Борис Александрович,  
Куда выдумывает все вышло  
отца вечно и уныло рать.  
Все и неразрешимые вопросы  
отца - для выслушивания не над-  
едаю снов.  
А как, что? Вам хорошо, что  
Торос не вы убогого и не  
сознание задарил - рваный эдак  
и мару, и мару, и дубаю.  
Хотел бы в углу издохнуть счаст-  
лив: счастье же вы и же вы, что  
это - вы? - что "не вы".  
Прощай, что я пишу вам, как  
было вечно. А вы же вы  
своем не выслушай: прощай и прощай  
дождя и вечно. Прощай, прощай.  
Все выслушав вы выслушав  
О. Мандельштам

Письмо О. Мандельштама Б. Пастернаку от 2 января 1937

Так появилось стихотворение «Квартира тиха, как бумага...».

Квартира тиха, как бумага,

Пустая, без всяких затей,  
И слышно, как булькает влага  
По трубам внутри батарей.  
Имущество в полном порядке,  
Лягушкой застыл телефон,  
Видавшие виды манатки  
На улицу просятся вон.  
А стены проклятые тонки,  
И некуда больше бежать,  
И я как дурак на гребенке  
Обязан кому-то играть.  
Наглей комсомольской ячейки  
И вузовской песни бойчей,  
Присевших на школьной скамейке  
Учить щебетать палачей.  
Пайковые книги читаю,  
Пеньковые речи ловлю  
И грозное баюшки-баю  
Колхозному баю пою.  
Какой-нибудь изобразитель,  
Чесатель колхозного льна,  
Чернила и крови смеситель,  
Достоин такого рожна.  
Какой-нибудь честный предатель,

Проваренный в чистках, как соль,  
Жены и детей содержатель,  
Такую ухлопает моль.  
И столько мучительной злости  
Таит в себе каждый намек,  
Как будто вколачивал гвозди  
Некрасова здесь молоток.  
Давай же с тобой, как на плахе,  
За семьдесят лет начинать —  
Тебе, старику и неряхе,  
Пора сапогами стучать.  
И вместо ключа Ипокрены  
Давнишнего страха струя  
Ворвется в халтурные стены  
Московского злого жилья.

*Ноябрь 1933*

Очевидно, что наиболее интригующей деталью в стихотворении является некрасовский молоток. Не определив его значение, мы упускаем нечто наверняка очень важное из того, что говорит поэт. В стихотворении «Сумерки», выражая негодование обычаем усеивать гвоздями запятки кареты – это делалось для того, чтобы уличные мальчишки не могли на них вскочить (отметим, что вскакивали не только из озорства или желания прокатиться; так «работали» и воришки-«поездошники»: вскочив, они быстро перерезали ремни, которыми прикреплялись к экипажу чемоданы и другие вещи, а затем вместе

с ожидавшими подельниками разбегались с уворованными вещами в разные стороны), – Некрасов пишет:

Увидав, как читатель иной  
Льет над книгою слезы рекой,  
Так и хочешь сказать: «Друг любезный,  
Не сочувствуй ты горю людей,  
Не читай ты гуманных книжонок,  
Но не ставь за каретой гвоздей,  
Чтоб, вскочив, накололся ребенок!

В стихотворении «Карета» также выражается негодование жестоким обычаем:

О филантропы русские! Бог с вами!  
Вы непритворно любите народ,  
А ездите с огромными гвоздями,  
Чтобы впотьмах усталый пешеход  
Или шалун мальчишка, кто случится,  
Вскочивши на запятки, заплатил  
Увечьем за желанье прокатиться  
За вашим экипажем... [538]

Фет же в мемуарах (к которым обращается К. Чуковский в своей работе) сообщает, что однажды увидел на Невском проспекте встречную коляску, чьи запятки были снабжены гвоздями, и с удивлением опознал в седоке Некрасова, гневного обличителя жестокого обычая. (Достоверность данного воспоминания Фета и справедливость его осуждения могут вызывать некоторые сомнения. Он пишет, что сначала заметил у встречного экипажа его

заднюю часть – запятки с гвоздями, но при этом не видел седока, и только потом, когда экипаж поравнялся с ним, понял, что в коляске едет Некрасов. Это несколько странно. Кроме того, нельзя исключить и возможность того, что Некрасов – если это действительно был он – мог ехать на извозчике, в чью коляску он сел, просто не обратив внимания на то, утыканы ли гвоздями запятки или нет. Но для нас в данном случае степень достоверности эпизода из воспоминаний Фета, естественно, значения не имеет.) Для нас особенно важно в данном случае указание О. Ронена на неоспоримый подтекст из стихотворения Некрасова «В.Г. Белинский»:

В то время как в родном краю

Открыто зло торжествовало,

Ему лишь «баюшки-баю»

Литература распевала.

Литература подпевает злу, умиляется и сюсюкает.

### **Песня Еремушке**

«Стой, ямщик! жара несносная,

Дальше ехать не могу!»

Вишь, пора-то сенокосная —

Вся деревня на лугу.

У двора у постоялого

Только нянюшка сидит,

Закачав ребенка малого,

И сама почти что спит;

Через силу тянет песенку

Да, зевая, крестит рот.

Сел я рядом с ней на лесенку,  
Няня дремлет и поет:  
«Ниже тоненькой былиночки  
Надо голову клонить,  
Чтоб на свете сиротиночке  
Беспечально век прожить.  
Сила ломит и соломушку —  
Поклонись пониже ей,  
Чтобы старшие Еремушку  
В люди вывели скорей.  
В люди выдешь, все с вельможами  
Будешь дружество водить,  
С молодницами пригожими  
Шутки вольные шутить.  
И привольная и праздная  
Жизнь покатится шутя...»  
Эка песня безобразная!  
«Няня, дай-ка мне дитя!»  
– «На, родной! Да ты откуда?»  
– «Я проезжий, городской».  
– «Покачай, а я покудова  
Подремлю... да песню спой!»  
– «Как не спеть! спою, родимая,  
Только, знаешь, не твою.

У меня своя, любимая...

– Баю-баюшки-баю!»

И далее «проезжий, городской» в своей колыбельной проклинает «пошлый опыт – ум глупцов», проповедует дитяти «необузданную, дикую / К угнетателям вражду» и призывает ребенка к борьбе за светлые идеалы («Братством, Равенством, Свободою / Называются они»). Этой агитационной колыбельной отведено девять четверостиший. Проповедь продолжилась бы, но ребенок просыпается и снова попадает в руки к няне.

«...И тогда-то...» Вдруг проснулося

И заплакало дитя.

Няня быстро встрепенулася

И взяла его, крестя.

«Покормись, родимый, грудкою!

Сыт?.. Ну, баюшки-баю!»

И запела над малюткою

Снова песенку свою...

*1859 [541]*

Нянина мораль проста: приспособленчество и преклонение перед силой. «Проезжий» герой стихотворения с характерным для Некрасова пафосом и не менее характерным многословием опровергает нянину жизненную позицию. (*Подражание Лермонтову*)

Спи, пострел, пока безвредный!

Баюшки-баю.

Тускло смотрит месяц медный

В колыбель твою.

Стану сказывать не сказки —

Правду пропою;

Ты ж дремли, закрывши глазки,

Баюшки-баю.

По губернии раздался

Всем отрадный клик:

Твой отец под суд попался —

Явных тьма улик.

Но отец твой – плут известный —

Знает роль свою.

Спи, пострел, покуда честный!

Баюшки-баю.

К сожалению, предвидит няня, младенец подрастет  
и пойдет по той же дорожке:

Тих и кроток, как овечка,

И крепонек лбом,

До хорошего местечка

Доползешь ужом —

И охулки не положишь на руку свою.

Спи, покуда красть не можешь!

Баюшки-баю.

Купишь дом многоэтажный,

Схватишь крупный чин

И вдруг станешь барин важный,

Русский дворянин.

Заживешь – и мирно, ясно

Кончишь жизнь свою...

Спи, чиновник мой прекрасный!

Баюшки-баю.

*1845 [542]*

В «Песне Еремушке» и «Колыбельной» Некрасов пишет о приспособленчестве, сервильности, воспитании этих качеств и капитуляции перед злом («силой»). Именно такому пестованию уподоблены в мандельштамовской «Квартире...» баюканье «колхозного бая» и работа с постановкой голоса у лепечущих палачей; в последнем случае в стихах «Квартиры» отразилась недолгая служба Мандельштама литконсультантом в газете «Московский комсомолец». «Колхозный бай» – новый хозяин на селе, «грозное» баюканье мы понимаем как сочувственное «подпевание», поощрение дальнейших суровых мер в ходе «великого перелома» в деревне. «Жилищный» мотив также присутствует у Некрасова: «Купишь дом многоэтажный...» (естественно, мы не отождествляем доходный дом и квартиру в писательском кооперативе). Герой стихотворения Мандельштама сознает себя оказавшимся в роли приспособленца-соблазнителя, конформиста, «подлеца душой», он «играет на гребенке» в соответствии с начальственными установками и может быть уподоблен некрасовской няньке из «Песни Еремушке» с ее рабской моралью: «Сила ломит и соломушку – / Поклонись пониже ей...». То есть в случае героя «Квартиры...» – надо пойти на службу к «силе». Сравним с писавшимся одновременно с «Квартирой...» стихотворением:

У нашей святой молодежи  
Хорошие песни в крови —  
На баюшки-баю похожи  
И баю борьбу объяви.  
И я за собой примечаю  
И что-то такое пою:  
Колхозного бая качаю,  
Кулацкого пая пою.

Из комментария Н. Мандельштам к этому стихотворению: «Он сам смеялся над этими стихами: смотри, перепутал – колхозный бай и кулацкий пай... <...> Оба восьмистишия... [543] отделились от “Квартиры”...» [544] . (В рамках кампании по конфискации имущества у кулаков они исключались из кооперативных организаций, а их паи и вклады в кооперативах передавались в фонд коллективизации.) Надо все бросить и начать сначала, как «за семьдесят лет» – то есть в определенном смысле вернуться к своей культурной родословной, к разночинцам 1860-х годов:

Давай же с тобой, как на плахе,  
За семьдесят лет начинать,  
Тебе, старику и неряхе,  
Пора сапогами стучать.

Сравним (близость данных текстов не раз отмечалась): «Чур, не просить, не жаловаться! Цыц! / Не хныкать – / для того ли разночинцы / Рассохлые топтали сапоги, / чтоб я теперь их предал? / Мы умрем как пехотинцы, / Но не прославим / ни хищи, ни поденщины, ни лжи» («Полночь в Москве. Роскошно буддийское ле-

то...»). И так, «сапоги» рвутся на волю, к стихам, вон из писательского дома. Этот порыв был подготовлен в начале стихотворения:

Видавшие виды манатки

На улицу просятся вон.

Надо ли говорить о том, что Мандельштам прекрасно знал о поэтических достижениях Некрасова? Свидетельством творческого интереса к наследию Некрасова служит, в первую очередь, сама «Квартира...». Отношение Мандельштама к Некрасову – равнодушно-пристрастное; отношение, в котором притяжение неразрывно связано с отталкиванием. Упомянутая в «Квартире...» «мучительная злость» непрямым образом, но все же связана с пассажем из «Шума времени» (уже цитировавшимся в книге), в котором Мандельштам воспевает кровно-личное, страстное отношение к литературе. Напомним: «Литературная злость! Если б не ты, с чем бы стал я есть земную соль? Ты приправа к пресному хлебу пониманья, ты веселое сознание неправоты, ты заговорщицкая соль, с ехидным поклоном передаваемая из десятилетия в десятилетие, в граненой солонке, с полотенцем! < ...> Как хорошо, что вместо лампадного жреческого огня я успел полюбить рыжий огонек литературной... злости!» («Шум времени»). Андрей Белый

8 января 1934 года умер Андрей Белый. 9 января состоялась гражданская панихида в помещении Оргкомитета Союза советских писателей – в доме 50 на улице Воровского (ныне снова Поварская). На следующий день, 10 января, были похороны. Была произведена кремация. 18 января урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище. Мандельштам пришел попрощаться с покойным. «По сообщению Л.Н. Гумилева, бывшего вместе с Ман-

дельштамом на похоронах А. Белого 10 января 1934 года, поэт сначала обиделся на то, что его не пригласили в почетный караул, но затем, постояв немного над гробом, умиротворился и, недолго побыв, ушел» [549] . Андрей Белый в гробу

Стихи Мандельштама, посвященные ушедшему из жизни поэту, являются подлинным гимном Андрею Белому.

Голубые глаза и горячая лобная кость —  
Мировая манила тебя молодящая злость.  
И за то, что тебе суждена была чудная власть,  
Положили тебя никогда не судить и не клясть.  
На тебя надевали тиару – юрода колпак,  
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!  
Как снежок, на Москве заводил кавардак гоголек, —  
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легóк...  
Собиратель пространства, экзамены сдавший пте-  
нец,  
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец.  
Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей  
Под морозную пыль образуемых вновь падежей.  
Часто пишется – казнь, а читается правильно –  
песнь.  
Может быть, простота – уязвимая смертью болезнь?  
Прямизна нашей мысли не только пугач для детей?  
Не бумажные дести, а вести спасают людей.  
Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,

Налетели на мертвого жирные карандаши.  
На коленях держали для славных потомков листы,  
Рисовали, просили прощенья у каждой черты.  
Меж тобой и страной ледяная рождается связь —  
Так лежи, молодежь и лежи, бесконечно прямясь.  
Да не спросят тебя, молодые, грядущие – те,  
Каково тебе там – в пустоте, в чистоте-сироте...

*10–11 января 1934; 1935*

### **Утро 10 января 1934 года**

I

Меня преследуют две-три случайных фразы, —  
Весь день твержу: печаль моя жирна.  
О Боже, как жирны и синеглазы  
Стрекозы смерти, как лазурь черна...  
Где первородство? Где счастливая повадка?  
Где плавкий ястребок на самом дне очей?  
Где вежество? Где горькая украдка?  
Где ясный стан? Где прямизна речей,  
Запутанных, как честные зигзаги  
У конькобежца в пламень голубой,  
Когда скользит, исполненный отваги,  
С голуботвердой чокаясь рекой?  
Он дирижировал кавказскими горами  
И, машучи, ступал на тесных Альп тропы

И, озираючись, пустынными берегами  
Шел, чуя разговор бесчисленной толпы.  
Толпы умов, влияний, впечатлений  
Он перенес, как лишь могущий мог:  
Рахиль гляделась в зеркало явлений,  
А Лия пела и плела венки.

## II

Когда душе столь тóропкой, столь робкой  
Предстанет вдруг событий глубина,  
Она бежит виющеюся тропкой —  
Но смерти ей тропина не ясна.  
Он, кажется, дичился умиранья  
Застенчивостью славной новичка  
Иль звука-первенца в блистательном собраньи,  
Что льется внутрь в продольный лес смычка.  
И льется вспять, еще лентясь и мерясь,  
То мерой льна, то мерой волокна,  
И льется смолкой, сам себе не верясь,  
Из ничего, из нити, из темна,  
Лиясь для ласковой, только что снятой маски,  
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,  
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки  
Крупнозернистого покоя и добра.

## III

Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось,  
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот.  
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось  
На полшага продвинуться вперед.  
А посреди толпы стоял гравировальщик,  
Готовясь перенести на истинную медь  
То, что обугливший бумагу рисовальщик  
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.  
Как будто я повис на собственных ресницах,  
И созревающий, и тянущийся весь, —  
Доколе не сорвусь – разыгрываю в лицах  
Единственное, что мы знаем днесь.

*16–22 января 1934*

Существуют разные варианты стихов памяти Андрея Белого, и отбор того или иного варианта в качестве «основного» представляет собой непростую задачу для публикатора. Кроме того, в разных изданиях читатель встречается с различной пунктуацией, а пунктуация, естественно, может в ряде случаев определять смысл высказывания. Так, например, в четырехтомнике Мандельштама, изданном в 1993–1997 годах, знаки расставлены так: «Прямизна нашей мысли не только пугач для детей – / Не бумажные дести, а вести спасают людей» (без вопросительного знака в конце первой процитированной строки); в том же стихотворении: «Каково тебе там в пустоте, в чистоте, сироте...» [551] (а не «чистоте-сироте»). В «Реквиеме», как, по свидетельству Н. Мандельштам, кратко именовал стихи сам автор, образ умершего писателя вырастает в большой мере из стихов и прозы самого

Белого, из его творческой речи, в том числе и самохарактеристик. Голубой цвет – цвет неба, скончавшийся поэт, «бирюзовый учитель», «принадлежал небу», его талант – небесный дар; голубой цвет приводит на память программный поэтический сборник Андрея Белого «Золото в лазури» (1904) – весной 1934 года исполнялось тридцать лет со дня выхода этой книги. Вообще два главных цвета в стихах памяти Андрея Белого – голубой и белый (они заявлены уже в первой строке стихотворения «Голубые глаза и горячая лобная кость...»): «бирюзовый», «снежок», «морозную пыль», «ледяная... связь» (Леонид Ледяной – один из псевдонимов Андрея Белого), «синеглазы стрекозы смерти», «лазурь черна», «пламень голубой», «с голуботвердой... рекой». «Пламень голубой» – конечно, пушкинский, из «Медного всадника»: «Шипенье пенистых бокалов / И пунша пламень голубой». Четырьмя строками выше у Пушкина, кстати, поминается «недвижный воздух и мороз». Андрей Белый умер в январе, что, очевидно, могло отразиться в зимних образах мандельштамовских стихотворений. Пушкинский «пламень голубой» стал у Мандельштама знаком принадлежности к дружескому избранному кругу русской литературы: «Скинув шубу, с мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали приходящим о самолюбии, дружбе и смерти» («Шум времени»). Мандельштамовские стихи написаны на смерть поэта, несомненно принадлежавшего к этому высокому и трагическому избранничеству. Мажорное сочетание белого и голубого цветов обладает, конечно, широким диапазоном символических и религиозных значений. «Белой славы торжество» наполняет небеса в мандельштамовской «Оде Бетховену» (1914); «белый мажор синайской славы» (также в связи с музыкой Бетхове-

на) упомянут в статье «Скрябин и христианство» (< 1917>).

Герой мандельштамовского «реквиема» – весь динамика, порыв, стремление, полет: «конькобежец и первенец». Его речь запутанна и сложна, но это сложность постижения непростого мира. К изначальной, не несущей в себе познанную сложность простоте и столь же первичной прямоте Мандельштам вообще относится с некоторым подозрением, усматривая в них неразвитость, элементарность, отсутствие глубины понимания, уход от подлинной сложности жизни. В 1916 году он сказал о кремлевской колокольне: «Без голоса Иван Великий / Как виселица прям и дик», а о себе в Воронеже он напишет: «Мало в нем было линейного». «Прямизна... мысли» не дается сразу, не первична, к ней ведет извилистый и трудный путь, и именно такой путь – честный, отсюда парадоксальные строки: «...прямизна речей, / Запутанных, как честные зигзаги / У конькобежца в пламень голубой».

Основываясь на таком понимании, автор данного сочинения не склонен принять предположение М.Л. Спивак, высказанное ею в замечательной и очень убедительной во всем остальном работе, посвященной мандельштамовским стихам памяти Андрея Белого. Анализируя машинописный список стихотворения «10 ноября 1934 года», находящийся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в фонде ГИХЛа, М. Спивак обратила внимание на то, что в этом документе напечатано не «честные зигзаги», а «чертные зигзаги». Хотя сама же М. Спивак пишет о том, что «"гихловский" список буквально пестрит опечатками и ошибками», что машинопись неряшлива и неприглядна, она полагает, что в указанном случае есть основания считать слово «чертные» не ошибкой, а оригинально-мандельштамовским.

«Определение зигзагов как “честных” вызывает некоторое недоумение, – пишет М. Спивак, – тогда как указание... на то, что зигзаги были начерчены, скорее проясняет группу образов» [552] . С нашей же точки зрения, во-первых, определение «чертные» к рисуемой картине не прибавляет ничего (мы и так понимаем, что конькобежец «чертит» коньками зигзаги на льду) и, во-вторых (это главное), – слово «честные», как нам видится, очень значимо, поскольку, именуя зигзаги «честными», Мандельштам говорит о том, что извилистый, противоречивый путь Андрея Белого – путь благородный, путь настоящего ищущего художника.

Другое предположение М. Спивак кажется более приемлемым. В мемуарах близкого друга Андрея Белого Петра Никаноровича Зайцева стихотворение «Голубые глаза и горячая лобная кость...» имеет существенное отличие: не «Так лежи, молодежь и лежи, бесконечно прямась...», а «Так лежи, молодежь, и лети, бесконечно прямась...». Действительно, употребление слова «лежи» дважды в одной строке представляется избыточным, в то время как «лети» вводит тему посмертного триумфального полета и продолжает важный для «реквиема» мотив стремительного движения. «Автографа стихотворения “Голубые глаза и горячая лобная кость...” нет, только списки», – пишет М. Спивак [553] ; это обстоятельство ставит текстологов в очень непростую ситуацию. Сделать однозначный выбор становится в принципе невозможным. «Лежи... лети» видится более логичным; с другой стороны, как быть с почти точным повтором в стихе «Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец»? Ведь, казалось бы, и здесь некое «излишество». Ничего не остается, как оставить вопрос нерешенным; не везде гармония поверяется алгеброй.

Жизненные устремления Андрея Белого – всегда вверх, к вершинам духа, и неслучайно в стихах помянуты кавказские горы (указание на очерки Белого «Ветер с Кавказа») и Альпы – в Швейцарии Белый принимал участие в строительстве антропософского храма. Встающие в сознании читателя покрытые вечными снегами горные вершины поддерживают мотив белого цвета.

Рахиль и Лия, названные в первой части стихотворения «Утро 10 января 1934 года», отсылают читателя к «Божественной комедии» Данте. Библейские героини символизируют там («Чистилище», песнь XXVII) два отношения к миру, два пути его познания и освоения: деятельный (Лия) и созерцательный (Рахиль). Андрею Белому, чьи широта интересов и многообразие талантов заставляют вспомнить о творцах эпохи Возрождения, были свойственны оба заявленных у Данте подхода к постижению действительности. Химия, биология, философия, поэзия, филология, религиозная сфера – все было ему открыто, везде он был на своем месте, все схватывал с быстротой, присущей гению. «Толпы умов, влияний, впечатлений / Он перенес, как лишь могущий мог...» Не исключено, что эти строки перекликаются со стихотворением А.Н. Апухтина о любимом Мандельштамом Тютчеве:

*Искусства, знания, события  
наших дней —*

*Все отклик верный в нем  
будило неизбежно...*

«Памяти Ф.И. Тютчева» [554]

И еще о гетеанской по духу жажде познания и способности Андрея Белого к постижению мира – в одном из вариантов:

Ему солей трехъярусных растворы,  
И мудрецов германских голоса,  
И русские блистательные споры  
Представились в полвека, в полчаса.  
Сравним со «Скифами» Александра Блока:  
Мы любим все – и жар холодных числ,  
И дар божественных видений,  
Нам внятно все – и острый галльский смысл,  
И сумрачный германский гений... [555]

«Поэзия – это власть», – так Мандельштам сказал однажды Ахматовой. «Чудная власть» – небесный дар – была отпущена Андрею Белому, и это избранничество делает его, по словам Мандельштама, в определенном и высоком смысле «неподсудным». Но обычная участь гения в земной жизни – непонимание и насмешки, и Белому с его «странностями» досталось того и другого с лихвой (как и Мандельштаму, который, безусловно, прославляя и оплакивая ушедшего собрата по поэзии, соотносил судьбу покойного со своей судьбой). «Студентик», чьи поэтические устремления и вкусы уже в родном доме воспринимались очень скептически, «веком гонимый взащей» «юрод», «дурак»... Последние характеристики восходят к стихотворению Белого из сборника «Золото в лазури» – указано еще Н.И. Харджиевым в 1973 году:

Полный радостных мук  
утихает дурак,  
Тихо падает на пол из рук  
сумасшедший колпак.

*«Вечный зов»*

Сравним со строками из открывающего книгу «Золото в лазури» стихотворения «Бальмонту»:

Поэт, ты не понят людьми.

В глазах не сияет беспечность.

Глаза к небесам подними:

С тобой бирюзовая Вечность.

И еще одна цитата из знаменитого сборника:

Стоял я дураком

в венце своем огнистом,

в хитоне золотом,

скрепленном аметистом...

*«Жертва вечерняя» [556]*

Андрей Белый, автор романа «Петербург», питерской фантазмагии, автор книги «Мастерство Гоголя», над которой он работал в последний период жизни (опубликована уже после его смерти, в апреле 1934 года), был несомненным продолжателем гоголевской традиции в русской литературе. «Гоголек» – так называл Андрея Белого Вячеслав Иванов. Белый воспринимался как своего рода новое воплощение Гоголя; отсюда – строки Мандельштама в одном из вариантов «реквиема»:

Откуда привезли? Кого? Который умер?

Где...? Мне что-то невдомек...

Здесь, говорят, какой-то Гоголь умер?

Не Гоголь. Так себе. Писатель. Гоголек.

(Часть текста во втором стихе после слова «Где...» не сохранилась. – Л.В.) Смерть, ее загадка и торжество – Мандельштам думал об этом. Смерть художника – это как бы его последнее произведение, финальный аккорд. Об этом Мандельштам писал еще в статье «Скрябин и христианство», дошедшей до нас в отрывках. «Мне кажется, смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено», – утверждает Мандельштам. «Часто пишется – казнь, а читается правильно – песнь». Андрей Белый не был казнен, но в конце жизни тяжелые переживания доставило ему уничижительное и высокомерное предисловие Л.Б. Каменева к его мемуарам «Начало века» (книга вышла в ноябре 1933 года). Речь в предисловии идет о том, что Белый главного в описываемой им эпохе не понимал и понять не мог, а творчество писателей его круга – это свидетельство разложения буржуазного общества в сфере культуры. Уже во второй фразе своего предисловия Каменев говорит о том, что Белый провел годы перед революцией 1905 года «на самых затхлых задворках истории, культуры и литературы». Слово «задворки» повторяется в предисловии Каменева неоднократно. Круг литераторов, к которому принадлежал в начале XX века Андрей Белый, характеризуется как «галерея умственных импотентов, выставка идейных инвалидов, всяческих убогих и уродов». Отсюда, видимо, – мандельштамовские строки в одном из вариантов:

Из горячего черепа льется и льется лазурь

И тревожит она литератора-Каина хмурь.

(Не лишен интереса в этой связи такой факт: согласно уже цитировавшемуся выше тексту разговора на

заседании комиссии по «чистке» парторганизации ГИХЛа 23 октября 1933 года, Каменев собирался написать предисловие к избранным произведениям Мандельштама, которые издательство собиралось опубликовать, но отказался от выполнения этой задачи: «Л.Б. Каменев взялся, три раза перечитал и ничего не понял» [557] .) В Москве же создаются стихотворения, которые позднее образуют цикл «Восьмистишия» (работа над ними, впрочем, как и над стихами Андрею Белому, продолжалась в Воронеже). Главная тема философских «Восьмистиший» – познание мира. Художественное познание, во всяком случае, может быть только творческим, и именно в момент творческого освоения мира возникает то динамическое напряжение, которое можно назвать гармонией, возникает, собственно говоря, сам мир: умозрительно представимая, не вступившая в контакт с человеческим творящим разумом действительность есть лишь неоформленный хаос, в котором, однако, кроется «дремлющая» возможность превратиться в гармонизированный космос. Мы уже цитировали выше оставшееся в памяти Л. Горнунга высказывание Мандельштама, что действительности «как данности нет», что действительность есть «искомое»; приводились выше и слова Мандельштама из письма М. Шагинян от 5 апреля 1933 года – утверждение, что действительность не дается просто так, ее надо «воскресить», и в этом задача науки и искусства. Об этом, в частности, идет речь в цитируемых «Восьмистишиях»:

Люблю появление ткани,  
Когда после двух или трех,  
А то – четырех задыханий  
Придет выпрямительный вздох.

И дугами парусных гонок  
Зеленые формы чертя,  
Играет пространство спросонок —  
Не знавшее люльки дитя.

*Ноябрь 1933; июнь 1935*

Люблю появление ткани,  
Когда после двух или трех,  
А то – четырех задыханий  
Придет выпрямительный вздох.

И так хорошо мне и тяжело,  
Когда приближается миг,  
И вдруг дуговая растяжка  
Звучит в бормотаньях моих.

*Ноябрь 1933*

Из хаоса звуков рождается их гармоническое плетение-ткань, бормотанье превращается в значимый непреложный текст, вДРУГ появляется ДУГовая растяжка, парус напрягается ветром, безличный покой сменяется движением, возникают «зеленые», новорожденные формы. Эти стихи напоминают о том месте в «Разговоре о Данте», где Мандельштам пишет об искусстве управления парусами: «Давайте вспомним, что Дант Алигьери жил во времена расцвета парусного мореплавания и высокого парусного искусства. Давайте не погнушаемся иметь в виду, что он созерцал образцы парусного лавирования и маневрирования. Дант глубоко чтит искусство современного ему мореплавания. Он был учеником этого наиболее

уклончивого и пластического спорта, известного человеку [562] с древнейших времен».

Когда, уничтожив набросок,  
Ты держишь прилежно в уме  
Период без тягостных сносок,  
Единый во внутренней тьме,  
И он лишь на собственной тяге,  
Зажмурившись, держится сам,  
Он также отнесся к бумаге,  
Как купол к пустым небесам.

*Ноябрь 1933*

Еще один образ возникающей гармонии, динамического напряжения: купол, появляющийся на фоне пустого неба.

Преодолев затверженность природы,  
Голуботвердый глаз проник в ее закон:  
В земной коре юродствуют породы  
И, как руда, из груди рвется стон.  
И тянется глухой недоразвиток  
Как бы дорогой, согнутою в рог, —  
Понять пространства внутренний избыток,  
И лепестка, и купола залог.

*Январь 1934*

Существуют разные интерпретации последнего стихотворения, вплоть до понимания его как описания женских родов (Н.Н. Мазур). И для такого понимания есть ос-

нования (хотя, с нашей точки зрения, это только одна из возможных интерпретаций, не единственная): ведь речь идет о рождении формы из бесформенности, существа из косного вещества – причем это вещество ждет и жаждет оформления: в нем уже содержится «и лепестка, и купола залог». Еще в мае 1932 года (тогда же, когда «Ламарк») было написано восьмистишие, имеющее несомненную связь со стихами о французском биологе. Речь в нем идет об эволюционном потенциале, о возможностях дальнейшего эволюционного развития, не всегда, однако, реализованных и реализующихся. Какие-то потенциальные возможности остались не использованными в низших формах жизни. Человеку тоже не гарантирован дальнейший «подъем». Развитие не происходит автоматически и мерно, оно требует творческого «скачка» – креативного ответа на эволюционный вызов, на понуждающий «запрос» среды. «Недостижимое» – «близко», но переход к нему не является запрограммированным, решенным заранее.

Шестого чувства крошечный придаток

Иль ящерицы теменной глазок,

Монастыри улиток и створчаток,

Мерцающих ресничек говорок.

Недостижимое, как это близко:

Ни развязать нельзя, ни посмотреть,

Как будто в руку вложена записка —

И на нее немедленно ответь...

Вслед за сильно повлиявшим на него французским философом Анри Бергсоном Мандельштам противопоставляет рационально-логическое, «геометрическое» от-

ношение к миру и познание творческое, в котором большую роль играет интуиция, образное мышление, прозрение, порыв. Каждый из этих подходов правомерен в своей области: интеллект выполняет практически-инструментальные задачи, творческое сознание создает новое.

Скажи мне, чертежник пустыни,

Арабских песков геометр,

Ужели безудержность линий

Сильнее, чем дующий ветер?

– Меня не касается трепет

Его иудейских забот —

Он опыт из лепета лепит

И лепет из опыта пьет.

*Ноябрь 1933*

Об этом восьмистишии автор данной книги написал отдельную работу [564] . В «арабских песках» мы склонны видеть замечательный образ неструктурированной, хаотической материи (она же и безличное время). Это подтверждается другими произведениями Мандельштама: в статье о Чаадаеве поэт говорит о противоположности «косной глыбы и организующей идеи» («Петр Чаадаев»), в стихотворении «В таверне воровская шайка...» (1913) вечность сравнивается с песком: «У вечности ворует всякий, / А чуть ниже прямо назван и песок: «Вязнет чумный Египта песок» (в одном из вариантов). «Геометру», подходящему к действительности с практически-рациональными целями, противостоит «ветр», символизирующий человека-творца, поэта (ветер – старый символ поэтического вдохновения). Но у Мандельштама мы встречаем не «ветер», а именно «ветр» – архаичная,

свойственная в первую очередь поэзии XVIII – первой половины XIX века форма заставляет нас вспомнить о Пушкине:

Зачем крутится ветер в овраге,  
Подъемлет лист и пыль несет,  
Когда корабль в недвижной влаге  
Его дыханья жадно ждет?  
Зачем от гор и мимо башен  
Летит орел, тяжел и страшен,  
На черный пень? Спроси его.  
Зачем арапа своего  
Младая любит Дездемона,  
Как месяц любит ночи мглу?  
Затем, что ветру и орлу  
И сердцу девы нет закона.  
Гордись: таков и ты, поэт,  
И для тебя условий нет [565] .

У Мандельштама «шевеленье губ», говорение, «шепот» да и «лепет» – это, как правило, обозначение поэтической речи, творчества, а отнюдь не бесплодной болтовни. Из «бормотанья» и рождаются стихи. Сравним с воронежским стихотворением «О, как же я хочу...» (1937): «Он только тем и луч, / Он только тем и свет, / Что шепотом могуч / И лепетом согрет...» (курсив мой. – Л.В.). Нельзя не согласиться с К.Ф. Тарановским, который писал о «Чертежнике пустыни»: «Мы не думаем, что в этом контексте лепет имеет отрицательный оттенок значения. В "Разговоре о Данте", тоже написанном в 1933

году, Мандельштам хвалит “инфантильность итальянской фонетики” и “детскую заумь Данта”» [566] . Еще один аспект темы творческого познания мира представлен в следующем восьмистишии:

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,  
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,  
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,  
Считали пульс толпы и верили толпе.  
Быть может, прежде губ уже родился шепот,  
И в бездревесности кружились листья,  
И те, кому мы посвящаем опыт,  
До опыта приобрели черты.

*1933*

Песни Шуберта (в связи с водой, видимо, имеется в виду его «Баркарола» с пометой «На воде петь»), музыка Моцарта (в данном случае «птичий гам» восходит, очевидно, к «Волшебной флейте»), творчество других художников теснейшим образом связаны с народным сознанием, уходят корнями в народную (и природную) почву. В самом плеске воды, в шелесте листы, в пенье птиц и в народной душе уже содержатся в потенциале будущие стихи Гете или музыка великих композиторов. В сущности, высказанная Мандельштамом мысль вполне сопрягается опять же с идеями «Творческой эволюции» А. Бергсона. Креативный импульс порождает соответствующее материальное воплощение: «шепот» рождается «прежде губ». Отозвалось в этом восьмистишии и «народничество» Мандельштама: идущее от славянофилов и народников стойкое убеждение в том, что на глубинном, сущностном уровне народ является носителем правды. И мо-

жет быть, все отдельные явления и создания складываются в общую гармонию, сами не подозревая об этом, – в соразмерное стройное сверхъединство, подобное храму Святой Софии (Айя-София; София – мудрость, Премудрость Божия) в Константинополе?

И клена зубчатая лапа  
Купается в круглых углах,  
И можно из бабочек крапа  
Рисунки слагать на стенах.  
Бывают мечети живые —  
И я догадался сейчас:  
Быть может, мы – Айя-София  
С бесчисленным множеством глаз.

*Ноябрь 1933*

Природа подобна архитектуре, архитектура подобна природе; в парусах Святой Софии в Стамбуле (ставшей в XV веке мечетью) изображены серафимы с мощными крыльями. Подобные кленовым листьям с их лопастями (лопасти образуют «лапу»), серафимы заполняют так называемые паруса, «круглые углы», – треугольные выгнутые конструктивные элементы, осуществляющие переход от стен к венчающему куполу (или, в других случаях, «ножке» купола – так называемому барабану). Арабская вязь на стенах Айя-Софии напоминает «крап» на крыльях бабочек. Храм светлый: помимо других многочисленных окон, в основании купола расположены венчающие сорок «глаз», образуя световое кольцо. Восьмистишие перекликается с ранними стихами Мандельштама:

Прекрасен храм, купающийся в мире,

И сорок окон – света торжество,  
На парусах, под куполом, четыре  
Архангела – прекраснее всего.

*«Айя-София», 1912*

От шестикрылых серафимов, «похожих на бабочек» (так предполагает М.Л. Гаспаров в своей комментарии), и «мечети» Мандельштам переходит к восьмистишию о бабочке-«мусульманке». (Или, может быть, мысль шла в обратном порядке: от бабочки в «бурнусе» – к стамбульской Айя-Софии?)

О, бабочка, о, мусульманка,  
В разрезанном саване вся —  
Жизняночка и умирашка,  
Такая большая – сия!  
С большими усами кусава  
Ушла с головою в бурнус.  
О, флагом развернутый саван,  
Сложи свои крылья – боюсь!

*Ноябрь 1933*

Назвать это изображение описанием бабочки (описанием в том смысле слова, который мы обычно вкладываем в это понятие) было бы неверно. Подобно тому как в «Путешествии в Армению» Мандельштам не «описывает» картины «французов», а воспроизводит в слове живопись Моне или Ван Гога, находя соответствующие языковые эквиваленты, так и в этом восьмистишии он воссоздает бабочку в словесном материале, «переводит» ее существование в слово. И это не бабочка «вообще», это

конкретное представленное в зрительной памяти существо (вряд ли в ноябре можно было увидеть бабочку в натуре) – «сия!». Для воссоздания в словесном образе эфемерного существа во всей его непосредственности, трепетной жизненности Мандельштаму недостаточно общего словаря, отсюда – «жизняночка», «умиранка», «кусава» (так же как для характеристики Сталина поэту потребовалось изобрести емкий глагол «бабачить»). В звуковом отношении определяющая роль в стихотворении принадлежит звукам «з»-«с». Это очевидно: «в разрезанном Саване вся», «С большими усами куСава», «Сложи Свои крылья – боюСь!». Из восьми рифмующихся, то есть стоящих в сильной, ударной позиции, слов только в одном нет звука «с». Последний звук в финальном слове стихотворения – «с'» («с» мягкое). Эти «с»-«з» порождены господствующим в стихах в смысловом отношении словом «саван» (только это слово употреблено в стихотворении дважды). Жизнь бабочки коротка, в стихотворении звучит тема краткости жизни и близости неизбежной смерти. Жизнь несет в себе смерть, в ней содержится некая изначальная ущербность – в слове «умиранка» мы не можем не услышать «ранка». Дополнительным основанием для многочисленных «з»-«с» могло послужить, наверно, представление о легком скольжении бабочки в воздухе, о складывании, «сложении» ее трепетных крыльев. Стихи написаны в ноябре 1933 года, то есть тогда же, когда Мандельштам создал портрет «кремлевского горца»; поэт думал о близкой смерти и ждал ее. В «Восьмистишиях» Мандельштам обращается также к философским проблемам причинности и соотношения времени и пространства. К материальному миру, в котором господствуют причинно-следственные отношения и смерть, мироздание не сводится.

В игольчатых чумных бокалах  
Мы пьем наважденье причин,  
Касаемся крючьями малых,  
Как легкая смерть, величин.  
И там, где сцепились бирюльки,  
Ребенок молчанье хранит —  
Большая вселенная в люльке  
У маленькой вечности спит.

*Ноябрь 1933*

И я выхожу из пространства  
В запущенный сад величин  
И мнимое рву постоянство  
И самосогласье причин.  
И твой, бесконечность, учебник  
Читаю один, без людей —  
Безлиственный дикий лечебник,  
Задачник огромных корней.

*Ноябрь 1933*

Сколько бы мы ни старались, мы не сможем «пересказать» эти стихи, объяснить то, что в них сказано, полностью, «без остатка». Они принципиально несводимы к логическому пересказу; их истина, логика и правота – поэтические. Анализ способен лишь указать на параметры смысла, но не может исчерпать смысловое содержание текста. К примеру, изумительная формула «Большая вселенная в люльке / У маленькой вечности спит» дает возможность для различных интерпретаций. Вообще ман-

дельштамовские восьмистишия приводят на ум дзэнские загадки-коаны с их нелинейной, образной логикой или сады камней: являясь стимулом для созерцания и размышления, они не могут трактоваться однозначно. *Petrarca* [568]

Речка, распухая от слез соленых,  
Лесные птахи рассказать могли бы,  
Чуткие звери и немые рыбы,  
В двух берегах зажатые зеленых,  
Дол, полный клятв и шепотов каленых,  
Тропинок промуравленных изгибы,  
Силой любви затверженные глыбы  
И трещины земли на трудных склонах:  
Незыблемое зыблется на месте,  
И зыблюсь я... Как бы внутри гранита  
Зернится скорбь в гнезде былых веселий,  
Где я ищу следов красы и чести,  
Исчезнувшей, как сокол после мыта,  
Оставив тело в земляной постели.

*Декабрь 1933 – январь 1934*

II *Petrarca* [569]

Как соловей, сиротствующий, славит  
Своих пернатых близких ночью синей  
И деревенское молчанье плавит  
По-над холмами или в котловине,

И всю-то ночь щекочет и муравит  
И провожает он, один отныне, —  
Меня, меня! Силки и сети ставит  
И нудит помнить смертный пот богини!  
О, радужная оболочка страха!  
Эфир очей, глядевших в глубь эфира,  
Взяла земля в слепую люльку праха —  
Исполнилось твое желанье, пряха,  
И, плачучи, твержу: вся прелесть мира  
Ресничного недолговечней взмаха.

*Ноябрь-декабрь 1933*

III *Petrarca* [570]

Когда уснет земля и жар отпышет,  
И на душе зверей покой лебяжий,  
Ходит по кругу ночь с горящей пряжей  
И мощь воды морской зефир колышет, —  
Чую, горю, рвусь, плачу – и не слышит,  
В неудержимой близости все та же:  
Целую ночь, целую ночь на страже  
И вся как есть далеким счастьем дышит.  
Хоть ключ один – вода разноречива:  
Полужестка, полусладка. Ужели  
Одна и та же милая двулична?  
Тысячу раз на дню, себе на диво,

Я должен умереть на самом деле  
И воскресаю так же сверхобычно.

*14–24 декабря 1933*

IV *Petrarca* [571]

Промчались дни мои – как бы оленей  
Косящий бег. Срок счастья был короче,  
Чем взмах ресницы. Из последней мочи  
Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений.

По милости надменных оболъщений  
Ночует сердце в склепе скромной ночи,  
К земле бескостной жметя. Средоточий  
Знакомых ищет, сладостных сплетений.

Но то, что в ней едва существовало, —  
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,  
Пленять и ранить может, как бывало.

И я догадываюсь, брови хмуря, —  
Как хороша – к какой толпе пристала —  
Как там клубится легких складок буря...

*4–8 января 1934; июнь 1935*

Мандельштам «тщательно сохраняет ритм (перебои ударений, разрушающие привычный русскому читателю ямб) и синтаксис подлинника (громоздкие, обычно упрощаемые периоды), – замечает М.Л. Гаспаров, – но решительно меняет его стиль: вместо образов изящных и нежных вводит нарочито резкие, в духе собственной поэтики этих лет. Такие слова как “шепоты каленые”, “тропинки промуравленные”, “трещины земли”, “незыблемое зыб-

лется”, “как сокол после мыта (линьки)”, “щекочет и муравит”, “деревенское молчанье плавит”, “силки и сети ставит”, “о радужная оболочка страха!”, “люлька праха”, “ресничного взмаха”, “покой лебяжий”, “с горячей пряжей”, “вода разноречива”, “сверхобычно”, “косящий бег”, “в горсть зажал пепел наслаждений”, “к земле бескостной”, “очаг лазури”, “клубится складок буря” и т. п., целиком принадлежат переводчику» [572] . Фотография Мандельштама, сделанная при первом аресте

Всю ночь шел обыск. Анна Ахматова в «Листках из дневника»: «Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. <...> Следователь при мне нашел “Волка” [574] и показал О.Э. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня». Искали стихи, ходили по выброшенным на пол из сундука рукописям. Стены в доме, как писал Мандельштам в «Квартире...», были «халтурные». Из соседней квартиры в другом подъезде – там жил поэт С. Кирсанов – доносились звуки гавайской гитары. «Его увели в семь утра. Было совсем светло», – вспоминала Ахматова [575] . Изъяты были сорок восемь листов рукописей. В.И. Нарбут

Запись рукой следователя: Мы не знаем, с какой интонацией Сталин сказал: «Но ведь он же мастер!» Представляется, что с вопросительной, хотя это, видимо, не подчеркивалось. Судя по всему, Сталин выяснял у «специалиста», насколько Мандельштам значителен как поэт, проводил своего рода экспертизу («проверял» суждение Бухарина). Сталин, несомненно, очень заботился о том, каким его будут видеть потомки. В том, что имя его навсегда останется в истории, вождь не сомневался. Войти в историю как убийца большого поэта Сталин, очевидно, не хотел. Судя по его теориям, высказываниям и практике, вождь явно полагал, что ради великой цели можно

жертвовать отдельными людьми и тысячами людей, как пешками, – история все спишет: ведь это было сделано ради «прогресса», «социализма», ради «всеобщего счастья», «всеобщего блага», «державы», это было, главное, «исторически неизбежно», необходимо и т. п. Но это в случае людей ординарных. Великие же художники остаются в истории, как вожди, – с ними надо обращаться бережнее. Сам писавший в юности стихи, Сталин не был к поэзии равнодушен. О них – великих писателях, музыкантах, художниках – не забудут. Поэт оскорбил в стихах лично его, Сталина. Глупо было бы его убивать – это послужило бы лишним подтверждением слов из мандельштамовского стихотворения: «Что ни казнь у него – то малина». Умнее было, напротив, проявить гуманность и благородство (тем более в преддверии писательского съезда и на фоне гитлеровского варварства) – не наказывать нельзя, это будет понято всеми, но каждый может видеть, как бережно относится Советская власть к поэзии, к культуре: ведь наказание за такие стихи (а слухи о них могут идти, а все списки, может, и не выловишь) – всего лишь высылка (с женой!) из Москвы на три года. Советская власть за безумие не расстреливает! А антисталинские стихи – очевидное безумие, написание их – поступок явно психически ненормального человека, которого многие, кстати, давно считали полусумасшедшим, юродивым. И незачем делать из юродивого мученика. Сурово карать за эти стихи – значит считать их чем-то серьезным, придавать им некое значение, раздувать этот неприятный факт. Итак, «изолировать, но сохранить».

Так можно было строить политику, но надо было выяснить, а на самом ли деле этот Мандельштам – действительно большой поэт? Надо с этим считаться и в какой мере? Ведь за него хлопотали Пастернак и Ахматова, в

поэтической «квалификации» которых Сталин не сомневался.

Доказать ничего тут нельзя, но, кажется, логика власти в данном случае могла быть примерно такой, и звонок Сталина Пастернаку, помимо решения других задач (предстать перед интеллигенцией в качестве милосердного, гуманного, хотя и авторитарного правителя), ставил целью выяснение масштаба фигуры Мандельштама в поэзии.

«Изолировать, но сохранить» в Чердыни не получилось. Уже 10 июня [594] , до сталинского звонка Пастернаку, особое совещание при коллегии ОГПУ пересмотрело дело, отменило ссылку и разрешило Мандельштаму проживание «на оставшийся срок» там, где он пожелает, за исключением Московской и Ленинградской областей и десяти других городов (это называлось коротко «минус двенадцать»). Надо учитывать еще одно важное обстоятельство: как указывает Л. Флейшман, именно в это время выходит в Нью-Йорке книга американского социалиста М. Истмена «Художники в мундирах» ("Artists in Uniform"), в которой советский режим обвинялся в тоталитаризме и подавлении литературной свободы – причем Истмен связывал с этими особенностями жизни в СССР самоубийства советских поэтов, в частности Есенина и Маяковского. Как показывает Л. Флейшман, «первый завуалированный отклик» на книгу Истмена «содержался в статье В. Кирпотина "Две литературные политики"», опубликованной в «Правде» 31 мая 1934 года, в разгар истории с Мандельштамом. Что для нас в данном случае особенно важно, в статье Кирпотина подчеркивалась мысль, что СССР, в противовес гитлеровской Германии, – оплот культуры (приводим цитату по книге Флейшмана):

«Клеветническое обвинение пролетарского социализма в казарменном обезличивании людей продиктовано враждебным отношением к марксизму. На деле же солдатский дух в современную жизнь – и в современную литературу – несут именно фашисты. Они и деятелей литературы и искусства хотят превратить в духовных штурмовиков Гитлера» [595] . Самоубийство Мандельштама на таком фоне и в преддверии писательского съезда было крайне нежелательным.

Мандельштамы в Чердыни выбирают Воронеж – его хвалил знакомый биолог Н.Д. Леонов, друг Б.С. Кузина. Кроме того, его отец работал там тюремным врачом, что могло пригодиться.

Мандельштамы выезжают из Чердыни 16 июня и в начале последней декады месяца проводят два-три дня в Москве по дороге к новому месту ссылки. «В Москве Мандельштамы задержались дня на два, на три, – пишет Э. Герштейн. – Осип был в состоянии оцепенения, у него были стеклянные глаза. Веки воспалены, с тех пор это никогда не проходило, ресницы выпали [596] . Рука на перевязи, но не в гипсе. У него было сломано плечо – вследствие прыжка из окна второго этажа чердынской больницы.

Пока Надя бегала оформлять документы в соответствующем управлении ГПУ, я осталась с ним. Осип лежал на постели с застывшим взглядом. Мне было жутковато оставаться с ним вдвоем. Кажется, мы выходили гулять. Я повязывала ему галстук. Он кричал сердито: «Осторожно... рука» [597] .

На вокзал Мандельштамов провожали Е.Я. Хазин, А. Э. Мандельштам и Э.Г. Герштейн.

В Воронеже Мандельштам постепенно пришел в себя.

Надежда Мандельштам нередко бывала в Москве, привозила стихи Мандельштама, написанные в Воронеже. В квартире в Нащокинском переулке жила мать Надежды Яковлевны, Вера Яковлевна Хазина.

Надо напомнить, что во время ссылки Мандельштам испытал определенный душевный кризис. Об этом уже шла речь в главе, посвященной взаимоотношениям поэта с Яхонтовым и Поповой. Этот надлом выражался, в частности, в чувстве отщепенства (но без убеждения в своей правоте, как на рубеже 1920—1930-х годов), в сознании вины перед народом, чья воля проявлялась, как виделось, в сталинском строительстве новой империи. Стихи Мандельштама, его письма и воспоминания людей, с которыми поэт встречался в Воронеже, говорят о том, что Мандельштам не играл в раскаяние, что он искренне хотел переменить себя, признать «правоту эпохи». Вина и желание «жить, дыша и большевея», диктовали строки воронежских «Стансов» 1935 года, стихотворения «Средь народного шума и спеха...» и ряда других стихов. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и то, что Сталин вмешался в его дело и, собственно, спас ему жизнь. Нет ничего удивительного и невероятного в том, что Мандельштам мог испытывать к Сталину чувство благодарности — скорее всего, так и было (это не означает, что в другие минуты опальный, привязанный к Воронежу поэт не мог думать о вожде с совершенно другими чувствами).



Н.Е. Штемпель. 1930-е

В Воронеже в 1937 году была написана и так называемая «Ода» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы...») – ода Сталину. Начинаясь эта вещь, может быть, как вымученная, как попытка спастись, переиграть судьбу. Однако рассматривать ее только так было бы, думается, неверно. Мандельштам был, несомненно, увлечен Сталиным (об этом в книге уже шла речь). Позднее, уже после возвращения из Воронежа, Мандельштам сам определил в разговоре с Анной Ахматовой этот настрой: «Я теперь понимаю, что это была болезнь» [598] . Это была болезнь, которой болела вся страна, и заражались даже самые чистые, самые духовно здоровые. «Ода» – не подделка и не подделка, хотя позже Мандельштам и просил воронежскую знакомую Н.Е. Штемпель уничтожить эти стихи (как сообщает Н. Мандельштам) [599] . Возвраще-

ние в Москву виделось в Воронеже желанной целью. В воронежских «Стансах» читаем:

И ты, Москва, сестра моя, легка,  
Когда встречаешь в самолете брата  
До первого трамвайного звонка:  
Нежнее моря, путаней салата  
Из дерева, стекла и молока...

Первый стих, видимо, отсылает к блоковскому восклицанию: «О, Русь моя! Жена моя!..» (Ю.Л. Фрейдин указал автору книги, что этот стих откликается и на пастернаковское «сестра моя жизнь».) Блоковский (и пастернаковский) подтекст вполне уместен в стихотворении, где Мандельштам говорит о намерении преодолеть свое отщепенство и желании стать одним из тех, кто строит новую Россию – советскую державу: «Но, как в колхоз идет единоличник, / Я в жизнь вхожу – и люди хороши». «Стансы» заявляют если не о примирении с действительностью, то по крайней мере о желании такого примирения. Но кто этот «брат»? Советский летчик или, может быть, немецкий эмигрант, беглец из нацистского ада – самолет несет его к спасительнице Москве. В слове «сестра» в «Стансах» просвечивает и значение «сестра милосердия» – примем во внимание то, что сказано в «Стансах» о «немецких братьях» и «садовнике и палаче» Гитлере. Здесь, думается, мы слышим снова мотив, прозвучавший в стихотворении, которое от «Стансов» также отделяет небольшой временной промежуток, – «Мастерица виноватых взоров...»: о лучшем в женщине говорится: «Наш обычай сестринский таков...» – и ниже: «гибнущим подмога». Основания для предположения, что встречаемый Москвой «брат» «в самолете» может быть немецким

эмигрантом, имеются: в наиболее ранней из известных редакций «Стансов» стихи о прилете в Москву стоят не после строфы о Чердыни, а именно вслед за упоминанием немецких «братьев»:

Я должен жить, дыша и большевея,  
Работать речь, не слушаясь, сам-друг.  
Я слышу в Арктике машин советских стук,  
Я помню все: немецких братьев шеи  
И что лиловым гребнем Лорелеи  
Садовник и палач наполнил свой досуг.

(В одном из вариантов: «Я помню всё: германских братьев шеи / И что проклятым гребнем Лорелеи...».) Когда дошел до стиха «Ясность ясенева, зоркость яворова», перебил сам себя: «Ах, как хорошо!..

Ясность ясенева, зоркость яворова  
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,  
Полуобмороками затоваривая  
Оба неба с их тусклым огнем —

ах, какой полет... какое движенье!..” Все так же сидя по-турецки, он скакал на пружинном матраце и повторял, жмурясь от удовольствия: «ясность ясенева...», «чуть-чуть красная мчится в свой дом...» Закончил бравурно, концертно, твердо, глядя мне прямо в глаза:

В ненадежном году, и столетья  
Окружают меня огнем!

Он умел завершать чтение своих стихов апофеозом. Но эти гениальные стихи известны, к счастью, по другим

записям. Мандельштам говорит от лица всех убитых, причисляет себя к ним и благословляет их.

Миллионы убитых задешево  
Протоптали тропу в пустоте —  
Доброй ночи, всего им хорошего  
От лица земляных крепостей.  
А небо XX века определено как  
Неподкупное небо окопное,  
Небо крупных оптовых смертей...

В одном из черновых вариантов этого произведения была строка:

Это зренье пророка смертей.

Мандельштама, безусловно, в некоторых случаях посещало нечто, подобное дару пророчества. Он сам это знал. Л.К. Наппельбаум

И – возвращаясь к «Стихам о неизвестном солдате» – никакой слезливости в этой поэме, никаких жалоб – ясное, чеканное мужество:

Нам союзно лишь то, что избыточно,  
Впереди не провал, а промер,  
И бороться за воздух прожиточный —  
Эта слава другим не в пример.

Вернувшись в Москву, Мандельштам был настроен сначала довольно оптимистично. Ему хотелось «еще пожить и поиграть с людьми» («Стансы», 1935). Он радуется весенней Москве, ее движению, встреченным знакомым, теплу, музыке, детям. Людмила Константиновна Корнилова (Наппельбаум), вдова Льва Моисеевича

Наппельбаума (сын известного фотографа, архитектор), рассказывала автору книги, что Мандельштам, приходя к ним на улицу Воровского (ныне снова Поварская улица; см. «Список адресов»), играл с ее маленьким сыном. Сын Людмилы Константиновны, Эрик, родился в апреле 1936 года. Однажды Мандельштам сказал, что у ее сына и имя, и одежда королевские: мальчик стоял в кроватке, держась за нее, в халатике лилового цвета с рисунком из лилий. Мандельштам посвятил ребенку стихотворение, из которого Людмила Константиновна помнила, к сожалению, только два стиха:

Кинешь око удивленное

На прошедшие года.

Строки эти, конечно, перекликаются с двумя строками из стихотворения «Твой зрачок в небесной корке...», которое было создано в Воронеже в январе 1937 года:

Омут ока удивленный, —

Кинь его вдогонку мне!

Может быть, это был вариант? Важно не забыть о тех, кто остался человеком, кто с риском для собственной жизни принимал, кормил, оставлял ночевать гонимых, не имевших права жить в Москве. Тех, кто боялся, как все люди, и за самих себя, и за своих детей — но не мог закрыть двери перед бездомным поэтом и его женой. Нельзя забыть о тех, кто давал деньги, дарил одежду, помогал чем мог.



### В.Б. Шкловский

Таких людей оказалось в Москве немало. Владимир Яхонтов, Соломон Михоэлс, Валентин Катаев, Евгений Петров, Перец Маркиш, Эмма Герштейн, Александр Осмеркин, Лев Бруни, Илья Эренбург, Николай Харджиев, Семен Кирсанов... Н.И. Харджиев. 1930-е. Собрание А.А. Попова

Для Мандельштама после Воронежа жилище Харджиева было нередко убежищем и пристанищем в прямом смысле этих слов. В 1937 году Мандельштам привел к Харджиёву своего воронежского друга Наталью Евгеньевну Штемпель (она гостила у Мандельштамов в Савелово; поэт знакомил ее со своим московскими друзьями). В своих воспоминаниях она рассказала об этом визи-

те (квадратные скобки – в цитируемом тексте): Н.И. Харджиев у своего дома в Марьиной Роще. Амстердамский городской музей

И еще об одном доме нужно рассказать – доме литератора Игнатия Игнатьевича Бернштейна. Он был критиком и автором детских книг. Печатался под псевдонимом Александр Ивич. В первой книге своих мемуаров Н. Мандельштам пишет: «Раз, когда мы сидели у Шкловских, пришел Саня Бернштейн (Ивич) и позвал нас ночевать к себе. Там прыгала крошечная девочка “Заяц”; уютная Нюра, жена Сани, угощала нас чаем и болтала. Худой, хрупкий, балованный Саня с виду никак не казался храбрым человеком, но он шел по улице, посвистывая как ни в чем не бывало, и нес всякую чепуху о литературе, словно ничего не случилось и он не собирался спрятать у себя в квартире страшных государственных преступников – меня и О.М. Руновский переулок. Дом, где жил А. Ивич. Фото автора

Софья Богатырева считает соответствующим реальности тот вариант рассказа о передаче рукописей, который мы находим в «Третьей книге» воспоминаний Н. Мандельштам. «Взять с собой эту папку я не рискнула... [617] . Отложить отъезд я не могла – с трудом добытый билет был у меня в руках, и я уже опаздывала к началу учебного года. В моем положении это могло быть использовано, чтобы выгнать меня и лишиться хлеба – того самого черствого хлеба, который мне давала служба. Я крепко выругалась, схватила папку и побежала к Сергею Игнатьевичу Бернштейну... Мандельштам «лез на глаза», без права на то «таскался» по Москве, встречался с писателями. Его надо было убрать. Руководители Союза писателей прекрасно понимали, что в случае чего спросят и с них – почему не реагировали? В.П. Ставский, глава Сою-

за писателей СССР, отправляет – через неделю после того, как Мандельштамы прибыли в «Саматиху», – письмо наркому Н.И. Ежову.

«Копия Наркомвнудел тов. Ежову Н.И.

Уважаемый Николай Иванович! Еще раз прошу Вас помочь решить этот вопрос об Осипе Мандельштаме.

С коммунистическим приветом Верно: Подпись».

(Заметим: Ставский пишет о том, что Мандельштам – автор «похабных клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа», как о факте, хорошо известном и ему, и адресату. Это на тему «Был ли знаком Сталин со своим стихотворным портретом?»: неужели Ежов и Ставский о «похабных стихах» знали, а Сталин их не знал?) О. Мандельштам. Фотографии, сделанные при втором аресте

Дело 1938 года – совершенно беспочвенное, высосанное из пальца, неряшливое по сути и по форме (вплоть до того, что даже фамилия подследственного написана неправильно – «Мандельштамп»). Следователь младший лейтенант П. Шилкин шил дело, и шито оно белыми нитками. Обстоятельства были тяжелые, но не умевшему темнить и прятать концы в воду Мандельштаму было, видимо, отвечать на вопросы несложно: ему нечего было скрывать и не в чем признаваться. Внутренний двор Бутырской тюрьмы

Так повернулась жизнь – теперь, в 1938 году, Краснушкин осматривал арестованного поэта на предмет вменяемости. Ося.

Шурочка, пишу еще. Последние дни я ходил на работу, и это подняло настроение. Из лагеря дошли до нас

последние, видимо, стихи Мандельштама о Москве, удержавшиеся в памяти его солагерника Д.М. Маторина:

Река Яузная,

Берега кляузные...

Этого города он всегда пугался, но с течением времени вжился в московскую жизнь и в определенной степени полюбил ее. Напряженные, противоречивые отношения, которые у Мандельштама сложились с Москвой, никак не случайны: еще в молодости у поэта выработалось твердое сознание причастности его личной судьбы российской судьбе (точнее, это был акт выбора, волеия); он сделал этот выбор сознательно и навсегда, при ясном понимании последствий такой позиции – но связь на такой глубине (хочется процитировать стихи на смерть Андрея Белого: «Меж тобой и страной ледяная рождается связь...») предполагает с некой даже неизбежностью контакт с Москвой как олицетворением и символом России. Москвой, ее кремлевской властью, он был уничтожен. Конкретика же относится к явлениям более низкого порядка: костенеющая система органически не переносила свободного человека (даже если он сам искренне хотел поладить с ней, стать «одним из»). И все же об этом городе Мандельштам однажды сказал: «Москва, сестра моя...». А о себе написал: «Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье...». У «сестры» Москвы, у «сестры» России он был непризнанным братом. Пришло время признания; не признания Мандельштама – кто мы такие перед ним, чтобы даже помыслить о праве его признавать? – но другого признания: «Что мы сделали, россияне, и кого погребли!» (эти слова Феофана Прокоповича, сказанные на смерть Петра I, Е. Боратынский цитиру-

ет, говоря о смерти Пушкина, – письмо А.Л. Боратынской, зима 1840-го).

2 января 1939 года Надежда Мандельштам отправила мужу посылку.

«Сейчас меня грызет мысль, – пишет она Б. Кузину, – что, упаковывая ее на почте, я забыла положить сало – и это ужасно. Главное – нельзя проверить.

Вчера перебирала для отправки вещи – белье и т. п. Я до сих пор думала, что выражение: сердце обливается кровью – фигуральное. Как это там – метафора? А на самом деле это совершенно точно, физиологически точно. Это невыносимое болезненное чувство, известное очевидно только матерям и женам».

В письме Кузину от 6 января Н. Мандельштам уточняет:

«Положила немного белья, сало, сгущенное какао, фрукты – сухие и т. д. Посылка небольшая, потому что я не уверена в адресе. Но довольно толковая. Вес – 11 кило».

Но посылки уже не требовались. 30 января Н. Мандельштам сообщает Б. Кузину:

«Боря, Ося умер. Я больше не могу писать. Только – наверное придется уехать из Москвы. Завтра решится. Куда – не знаю. Завтра Женя [631] напишет.

Надя

Я не пишу – мне трудно» [632] .



Н.Я. Мандельштам. 1938

Сразу уехать не получилось, и 5 февраля 1939 года Надежде Мандельштам вернули на почте посланный ею в лагерь денежный перевод с простыми ясными словами: «За смертью адресата». Ее жизнь, как и жизнь «адресата», кончилась, но жить надо было. Нина Константиновна Бруни вспоминала: «...Я помню, что пришла Надежда Яковлевна *(в феврале 1939 года, на квартиру Бруни – Б. Полянка, д. 44, кв. 57 [633] )* и сказала мне, встретив меня на лестнице: “Ося умер”. Я... я уходила из дома. Но вернулась с ней, и она у нас провела весь день. И все время рассказывала о нем и писала его стихи... на память... карандашом...» [634] Н.Я. Мандельштам в последний год жизни. Фото И. Дроздовой

В комнате, помимо кровати и платяного шкафа, помещался обыкновенный дешевый обеденный стол, на котором стопками лежали книги и папки и стояли сухие букеты цветов в банках. Более важные книги, в том числе Библия и запретные издания Мандельштама, были затиснуты вместе с письмами и рукописями в старинный секретер, стоявший у кровати. У кровати еще был столик с телефоном, книгами (часто английскими детективами), записными книжками, карандашами, записочками. И кресло. Над кроватью, на стене, как картины, висели в ряд несколько старинных икон, из которых мне особенно запомнилось "Вознесение пророка Илии на огненной колеснице". Немного позже в красном углу на отдельной треугольной полочке появился образ Спасителя. Под ним иногда горела лампадка, и угол низкой комнаты закопился до черноты» [636] . Могила Н.Я. Мандельштам. Кенотаф (памятный камень) О.Э. Мандельштаму. Кунцевское кладбище, старая часть

Осип Мандельштам был неопознанным Иосифом Прекрасным своего времени (подобно библейскому тезке, он был избранником судьбы, «царевичем» и провидцем; наделен был и властью, хотя и не министерской: дар такой красоты и мощи – это власть, и Мандельштам это сознавал). Памятник ему – небо его поэзии – вознесся неизмеримо выше «пустячка» новых египетских пирамид его кровавого тезки. Мандельштамовское стихотворение 1913 года, в котором упомянут «Иосиф, проданный в Египет» («Отравлен хлеб и воздух выпит...»), завершается словами о том, что «событий рассеивается туман» и остается главное – сама песнь, сливающаяся с миром:

И если подлинно поется

И полной грудью, наконец,

Всё исчезает – остается

Пространство, звезды и певец!

А московским летом 1931-го Мандельштам прикрикнул на смерть и заявил, что он ей неподвластен:

Ты, могила,

Не смей учить горбатого – молчи!

*«Отрывки уничтоженных стихов»*

Молчи, смерть, не до тебя. Что, Александр Герцович, на улице темно? Брось, Александр Сердцевич, чего там! Все равно!

## **Список адресов и других памятных мест мандельштамовской Москвы (Составлен при участии П.М. Нерлера)**

Публикуемый список никак не претендует на исчерпывающую полноту – в процессе дальнейшего изучения жизни и творчества Мандельштама перечень, несомненно, может быть расширен.

Список состоит из трех частей.

В первую часть включены адреса Осипа Мандельштама и Надежды Мандельштам, адреса их знакомых и друзей, а также адреса различных организаций, учреждений, редакций, музеев и т. п., с которыми так или иначе

была связана жизнь поэта. Пункты перечня обозначены арабскими цифрами. Указания на адреса редакций и издательств, в которых бывал Мандельштам и печатались его произведения, даются с учетом соответствующих годов.

Во второй части упоминаются те наиболее значимые для Мандельштама места в Москве, которые нашли отражение в его творчестве (адреса обозначены римскими цифрами).

В третьей части содержатся сведения о местах, где в той или иной форме увековечена память о поэте (обозначаются буквами).

Для удобства ориентации предпочтение отдается современным названиям улиц и площадей. Старые названия, в случае необходимости, также приводятся в описаниях. По возможности сообщаются сведения о сохранности включенных в перечень городских объектов. При ссылках на справочники «Вся Москва» имеются в виду, кроме специально оговоренных случаев, алфавитные указатели лиц, упомянутых в справочниках, либо «Списки постоянных жителей».

Принятые сокращения: улица – ул., переулок – пер., проезд – пр., площадь – пл., бульвар – бул.

#### Часть первая

1. В 1916 г.: Мандельштам бывал у М.И. Цветаевой: Борисоглебский пер., д. 6, кв. 3. Ныне – музей Марины Цветаевой. Здесь же были Мандельштамы в 1922 году, незадолго до отъезда Цветаевой за границу. Об этой последней встрече Цветаевой и Мандельштама упоминает Н. Мандельштам во «Второй книге».

2. Кремль. Знакомство с Московским Кремлем во время первых приездов в Москву в 1916 году. Кремлевские впечатления отражены в обращенных к М. Цветаевой стихах этого года. Вероятно посещение Мандельштамом, помимо кремлевских соборов, также Благовещенской церкви в Кремле (по чтимой иконе нередко именовалась также церковью Нечаянная Радость). Церковь упомянута в стихах М. Цветаевой, обращенных к Мандельштаму («Из рук моих – нерукотворный град...», 1916). Храм не сохранился.

В 1918 году, после переезда из Петрограда в Москву, Мандельштам короткое время жил в Кремле у Н.П. Горбунова, секретаря Совнаркома [638]. 12 октября 1923 года поэт был на проходившем в Большом Кремлевском дворце заседании Первой международной крестьянской конференции (не исключено, что Мандельштам мог побывать на конференции и в другой день). См. очерки «Первая международная крестьянская конференция. набросок» и «Международная крестьянская конференция» (оба – 1923).

3. Иверская часовня у Красной пл. Вероятно посещение этой часовни М. Цветаевой и Мандельштамом в 1916 году. Упомянута в стихотворении М. Цветаевой, обращенном к Мандельштаму, – «Из рук моих – нерукотворный град...» (1916) – как «часовня звездная». Часовня была разрушена в советское время; восстановлена на прежнем месте.

4. В 1916 году Мандельштам в январе-феврале по меньшей мере дважды посетил в Москве поэта Вячеслава Иванова [639] : Zubovskiy bul., d. 25. «Вся Москва» на 1916 год: «Иванов Вячеслав Ив. Zubovskiy bul'var, 25.

407–77 (номер телефона. – Л.В.). Литератор». Дом сохранился.

5. 25 января (7 февраля) Мандельштам был в гостях у матери поэта М. Волошина. Е.О. Кириенко-Волошина жила тогда у В.Я. Эфрон: Малая Молчановка, д. 8, кв. 27. Дом сохранился.

6. Вероятно посещение Мандельштамом в 1916 году В.Ф. Ходасевича. В альбоме А.И. Ходасевич под заглавием «Зимний дворец» и с возможной датой записи: «Москва, 30 января 1916 год» имеется автограф стихотворения Мандельштама «Дворцовая площадь» («Императорский виссон...»). Альбом находится в РГАЛИ, ф. 537, оп. 1, ед. хр. 127, л. 12. В.Ф. Ходасевич жил в то время неподалеку от Плющихи в несохранившемся д. 11 по 7-му Ростовскому пер.

7. В 1916 году Мандельштам бывал в Москве у Марии Романовны Сегаловой, жены знакомого врача Тимофея Ефимовича Сегалова, – она хлопотала о получении Мандельштамом места в банке в Москве или Петербурге. Вероятно, Мандельштам был у Сегаловых в их доме на ул. Плющиха (д. 37). «Вся Москва» на 1916 год: «Сегалов Тимофей Ефимович. Плющиха, 37. Тел. 262-63. Приют Московского общества патронажа над несовершеннолетними преступниками, врач». А также в разделе «Практикующие врачи»: «Сегалов Тимофей Ефимович. Плющиха, 37. Тел. 262-63. Нерв. и внутр. бол. Прием ежедневно от 4 до 6 часов в.». Знакомство Мандельштама с Т.Е. Сегаловым могло быть как-то связано с Гейдельбергом: Мандельштам учился в местном университете зимой 1909–1910 годов, а Т. Сегалов был заметным членом российской колонии в этом университетском городе (его упоминает в своих мемуарах Ф.А. Степун). Дом сохранился.

8. По свидетельству поэта Т.В. Чурилина, Мандельштам, в числе других литераторов, слушал в марте 1916 года пьесу Чурилина «Последний визит» в доме «писателя Горбова, бывшего тогда еще студентом». В 1916 году Дмитрий Горбов, позднее литературный критик, член литературной группы «Перевал», жил по адресу: Пречистенка, 28 («Вся Москва» на 1916 год). Дом сохранился.

9. Весной 1916 года Мандельштам в компании московских литераторов, бывал в московском кафе «Сиу». Об этом упоминает поэт Т.В. Чурилин. Кафе «Сиу» находилось на Кузнецком мосту, в «пассаже Джамгаровых» (д. 12).

10. Гостиница «Селект». Упомянута в повести Мандельштама «Египетская марка». По мнению москвовед Б.С. Мягкова, поэт мог жить в этой гостинице в один из первых приездов в Москву. Подтверждения этому предположению на данное время нет. Ул. Большая Лубянка, д. 21. Дом сохранился.

11. В 1917 году, летом, скорее всего проездом из Петрограда в Крым, Мандельштам остановился на Пресне у литератора и искусствоведа А.М. Эфроса [640]. Данных об адресе у автора книги нет. Позднее, в 1922-м и, возможно, в 1923 году Мандельштам бывал у А.М. Эфроса по другому адресу [641]: Эфрос жил в эти годы в Георгиевском пер. у Большой Никитской ул. (д. 7, кв. 2; пер. в советское время получил название Вспольный). Дом не сохранился.

12. Зимой 1917–1918 годов в доме поэта М.О. Цетлина (Амари) устраивались литературные вечера, в которых принимали участие Андрей Белый, М.И. Цветаева, В. В. Маяковский, А.Н. Толстой, Б.К. Зайцев, В.Ф. Ходасевич и многие др. писатели. По воспоминаниям И.Г. Эрен-

бурга, у Цетлиных бывал и Мандельштам [642] . В связи с Цетлиными называются в это время два адреса: особняк на Поварской, ныне посольство Кипра, д. 9, – это владение Цетлиных, захваченное анархистами упоминает Эренбург (согласно публикации в газете «Раннее утро» от 20 февраля 1918 г., они обосновались в доме), – и дом в Трубниковском пер., неподалеку от Собачьей площадки (не сохранился). О том, что Мандельштам бывал у Цетлиных в Трубниковском, можно говорить с большей вероятностью. Во всяком случае, в конце января 1918 года именно там прошла известная «Встреча двух поколений поэтов».

13. Гостиница «Метрополь» (Театральная пл.). Переехав в 1918 году в Москву, Мандельштам вскоре получил жилье в «Метрополе», который в то время был населен работниками советских учреждений, в номере 253. Гостиница официально именовалась «Второй Дом Советов». Театральная пл. упомянута в стихотворениях «Когда в теплой ночи замирает...» и «Телефон» (оба – 1918), гостиница «Метрополь» – в очерке «Холодное лето» (1923). Здесь же, в «Метрополе», Мандельштам бывал у Н.И. Бухарина. В 1922 и 1923 годах поэт приходил сюда к Н. Бухарину в связи с хлопотами об освобождении арестованного брата Евгения. Бухарин жил тогда, по данным «Всей Москвы» на соответствующие годы, в номере 229. Мандельштам неоднократно обращался к Бухарину по разным поводам и позднее, в частности, в 1928 году – в связи с делом членов «Общества взаимного кредита». В то время поэт бывал у Бухарина на Тверской, в доме, где помещались редакции «Правды» и «Известий» (см. об этом адресе ниже).

14. В 1918 году Мандельштам сотрудничал в левозеровской газете «Знамя труда», где были напечатаны

«Сумерки свободы» (номер от 11/24 мая 1918 года, впервые) и «Золотистого меда струя из бутылки текла...» (26 мая/8 июня 1918 года, также первая публикация). Редакция находилась по адресу: Леонтьевский пер., д. 18. Ныне – здание посольства Украины. Мандельштам мог бывать и на квартире члена ЦК партии левых эсеров Вениамина Левина, который был одним из руководителей газеты и во многом определял содержание её литературного отдела. В. Левин жил тогда в гостинице «Националь».

15. В 1918–1919 годах Мандельштам работает в Наркомпросе. В связи с этой работой написана статья «Государство и ритм» (1918). Наркомпрос размещался в это время сначала на Остоженке, в д. 53 (бывший «Катковский лицей», сохранился), а затем – в огромном здании страхового общества «Россия» на Сретенском бул. (д. 6, сохранился).

16. В 1918 году Мандельштам виделся в Москве с Анной Ахматовой и по меньшей мере однажды был у нее. А.А. Ахматова жила тогда в 3-м Зачатьевском пер., д. 3 (доказано архивистом Л.А. Рыбиной, исследовавшей квартирную книгу этого дома). Встреча могла произойти не ранее 15 августа (день, когда Анна Ахматова и В.К. Шилейко поселились в этом доме). Дом сохранился.

17. Возможно, Мандельштам бывал у художника Б. Лопатинского, с которым работал в 1918-м – начале 1919 года в Наркомпросе. Позднее, в 1922–23 годах, когда Мандельштамы жили на Тверском бул. в Доме Герцена (см. ниже), Лопатинский бывал у них. Где проживал в это время Б. Лопатинский, не выяснено. В 1916 г., во всяком случае, он жил в д. 16 по Малому Казенному пер.: «Лопатинский Борис Львович, п. двор. М. Казенный, д. 16. Те-

лефон: 341-62. 1-ый Моск. Кадетск. корп.; художн.» («Вся Москва» на 1916 год). Дом сохранился.

18. По свидетельству эсера-максималиста П. Зайцева, незадолго до левоэсеровского мятежа Мандельштам виделся с известным левым эсером Я.Г. Блюмкиным у гостиницы «Эллит», где тогда проживал Блюмкин. Состоялась эта встреча поэта и Блюмкина, видимо, до их известного столкновения. Гостиница «Эллит» – это, очевидно, «Элит-отель» в Петровских линиях. Здание сохранилось. «Вся Москва» на 1917 год (Торгово-промышленный отдел справочника, с. 140): «Элит-отель» (Альпийская Роза акц. об-во) – Петровские линии. Т.: 367-50 и 367-54.

19. Мандельштам бывал в кафе Всероссийского Союза поэтов («Кафе поэтов», «Кафе СОПО», кафе «Домино»). Читал здесь стихи [643]. Это кафе – одно из возможных мест столкновения поэта с Яковом Блюмкиным в конце июня или начале июля 1918 года: Тверская ул., д. 18 (по старой нумерации Тверской ул.) Кафе находилось примерно напротив современного здания Центрального телеграфа, на противоположной стороне Тверской. Дом не сохранился.

20. После столкновения с Я. Блюмкиным Мандельштам обратился за помощью к писательнице Л.М. Рейснер и ее мужу Ф.Ф. Раскольникову, известному революционеру. Л. Рейснер летом 1918 года жила в бывшей гостинице «Лоскутная» (в это время она называлась «Красный флот» и служила общежитием Народного комиссариата по морским делам) [644]. Гостиница находилась в начале Тверской ул. – Тверская, д. 3 (здание не сохранилось). «Особняк», в котором, судя по рассказу Мандельштама, фактически жили Л. Рейснер и Ф. Раскольников [645], – это, вероятно, д. 9 по ул. Воздвижен-

ка, где в 1918 году находился Наркомат по морским делам (до революции – дом нефтяного магната Асадуллаева). Л. Никулин в своих мемуарах упоминает о том, что вечером он провожал Л. Рейснер на Воздвиженку. Позднее Мандельштам бывал в доме на Воздвиженке в редакции «Крестьянской газеты» (см. ниже). Дом сохранился.

21. После столкновения с Блюмкиным Мандельштам и Ф. Раскольников побывали в связи с этим инцидентом у Ф.Э. Дзержинского, главы ВЧК. В здание ГПУ – НКВД на Лубянской пл. к Дзержинскому Мандельштаму пришлось снова идти в 1922 году – с ходатайством об освобождении задержанного брата Евгения. Тут, на Лубянке, арестованный поэт содержался в 1934 и 1938 годах. Ныне – здание ФСБ.

22. Осенью 1920 года Мандельштам, вернувшись с Кавказа, побывал в Доме печати. Оказавшийся там Я. Блюмкин угрожал поэту [646] . В Доме печати Мандельштам бывал и позднее: И.Л. Фейнберг вспоминал о том, как поэт читал ему в Доме печати свое стихотворение «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня...» (1931) [647] . Ныне – Дом журналиста. Никитский бул., д. 8.

23. В Камерном театре. Конфликт с поэтом В.Г. Шершеневичем весной 1921 года: Мандельштам вызывает Шершеневича на дуэль. Поэт бывал в Камерном театре и позднее. Тверской бул., д. 23. Ныне – Драматический театр имени А.С. Пушкина. Незадолго перед этим инцидентом поэт «снял комнату на Воздвиженке» [648] .

24. Приехав в Москву весной 1922 года, Мандельштамы некоторое время жили у филолога Н.К. Гудзия. По данным «Всея Москвы» на 1923 год (приводятся данные 1922 года), официальный адрес Н. Гудзия был таким: Б.

Знаменский, 8. (раздел «Журналисты и литераторы»). Дом сохранился. Но, судя по записи В. Хлебникова, он (Хлебников) приходил в это время к Мандельштаму в Даев пер. (у Сретенки). Возможно, Н.К. Гудзий действительно жил тогда по адресу, зафиксированному В. Хлебниковым; не исключено, однако, что Мандельштамы какое-то время проживали в Даеве пер. сами по себе и что этот адрес не имеет отношения к Н. Гудзию. «Сохранились записи голодного Хлебникова, подтверждающие, что в марте – мае 1922 года он не раз приходил к Мандельштаму обедать. На задней обложке одного из экземпляров своей литографированной книги “Ладомир” (Харьков, 1920) Хлебников сделал такую запись для памяти: “В субботу в 7 ч. К Мандель<штаму> и чай <?> Сретенка, Даев 9, 6”, а в записной книжке зафиксировал дату другой встречи: “Мандель<штам>, 8 мая” (14 мая он уехал из Москвы)» [649]. Вторая запись Хлебникова имеет отношение скорее всего уже не к Даеву пер., а к Дому Герцена на Тверском бул. (см. следующий пункт данного списка).

25. Дом Герцена. Тверской бул., д. 25. Мандельштамы жили в левом флигеле дома (левый – если стоять лицом к главному зданию ансамбля) с весны 1922-го по начало августа 1923 года. Позднее Мандельштамы жили в противоположном, примыкающем к главному дому бывшей усадьбы, правом флигеле Дома Герцена (январь 1932 – октябрь 1933 годов). В эти периоды созданы многочисленные стихи и статьи, Дом Герцена попал на страницы «Четвертой прозы» (1929–1930). В правом флигеле, по свидетельству С.И. Липкина, Мандельштам читал антисталинские стихи ему и Г.А. Шенгели. В Доме Герцена 13 сентября 1932 года проходил товарищеский суд под председательством А.Н. Толстого по делу о конфликте Мандельштама с А. Саргиджаном (С.П. Бородиным).

10 ноября 1932 года здесь, в редакции «Литературной газеты», состоялся поэтический вечер Мандельштама.

В Доме Герцена в 1920 – 1930-е годы находилось и правление Литфонда, в котором поэт неоднократно бывал.

Ныне в Доме Герцена расположен Литературный институт им. А.М. Горького. На стене левого флигеля в 1991 году к столетию Мандельштама установлена мемориальная доска работы Д.М. Шаховского.

26. В 1922–1923 годах Мандельштам бывал в поэтическом кафе «Стойло Пегаса» (по воспоминаниям Н.Д. Вольпин и др.): ул. Тверская, д. 37 (по старой нумерации Тверской ул.). Кафе находилось на месте современного д. 17.

27. В кружке «Никитинские субботники». Ул. Огарева (так улица уже называлась в 1922 г.) – теперь снова Газетный пер, д. 3, кв. 7. Дом сохранился. Мандельштам был там 8 апреля 1922 года, читал «Золотистого меда струя из бутылки текла...» и др. [650]

28. В 1923 году (вероятно) Мандельштам был с В.П. Катаевым у Н.К. Крупской в Главполитпросвете [651] . Сретенский бул., д. 6, – доходный дом, выстроенный страховым обществом «Россия»; здание уже упоминалось в связи с работой Мандельштама в Наркомпросе. По данным «Всей Москвы» на 1924 год (данные 1923 года): «Главполитпросвет. Предс. Крупская Н.К. 4 подъезд, 2 эт.» (раздел «Центральные учреждения СССР»). Дом сохранился. В связи с этим посещением, по свидетельству В. Катаева, написана мандельштамовская эпиграмма «Есть разных хитростей у человека много...» (1923 или 1924).

29. Не раз бывал Мандельштам у заведующего Главлита П.И. Лебедева-Полянского. В первой половине 1920-х годов. Главлит находился там же, где Главполитпросвет, – в огромном доме на Сретенском бул. (д. 6). «Вся Москва» на 1924 год: «Главлит. Зав. Лебедев-Полянский П.И. 7 подъезд, 5 эт.» (раздел «Центральные учреждения СССР»).

30. В период проведения Первой международной крестьянской конференции Мандельштам побывал в здании Коминтерна на Воздвиженке (д. 1): см. очерк «Международная крестьянская конференция» (1923). Возможно, здесь было взято Мандельштамом интервью у Нгуен Ай Куока (будущего Хо Ши Мина), который участвовал в Международной крестьянской конференции – см. «Нюэн Ай-Как. В гостях у коминтернщика» (1923). Здание сохранилось.

31. По меньшей мере однажды Мандельштам был в 1923 году в кафе-клубе «Странствующий энтузиаст». Бывший директор петербургского литературного кафе «Бродячая собака» Б.Н. Пронин устроил кафе-клуб в своей квартире на Большой Молчановке (д. 32, кв. 6) [652]. Кафе открылось в ночь на новый, 1923 год.

32. Во время НЭПа рядом с Театром Мейерхольда (ГосТИМ) на Садовом кольце (здание перестроено; ныне – Концертный зал им. П.И. Чайковского) помещалось казино «Монако». Имеются указания на то, что Мандельштам бывал в казино в начале 1920-х годов. (по утверждению В.В. Гудковой, публикатора и комментатора письма Зинаиды Райх А.М. Горькому; обоснование этого утверждения в работе В. Гудковой отсутствует) [653]. Дом не сохранился.

33. Мандельштам многократно бывал в Госиздате. В 1919–1923 годах Госиздат РСФСР размещался в бывшем особняке С.П. Рябушинского на Малой Никитской, в д. 6/2 (сохранился). 11 мая 1922 года Мандельштам заключил с Госиздатом договор на издание сборника «Аониды» (издание не состоялось). В июле 1923 года Госиздат выпустил в Москве тиражом 3000 экз. третье издание «Камня» (76 стихотворений, художник А.М. Родченко). С 1923 по 1930 годы Госиздат работал в д. 4/8 по ул. Рождественка, также хорошо знакомом Мандельштаму. Здесь он бывал, в частности, у руководителя Госиздата А.Б. Халатова. На месте, где стоял д. 4/8, в настоящее время находится универмаг «Детский мир».

34. В 1922 году Мандельштам бывал в редакции газеты «Московский понедельник». Газета начала выходить летом 1922 года, прекратила существование в сентябре того же года. Во втором номере газеты появилась публикация фрагмента мандельштамовского перевода пьесы Э. Толлера «Человек-масса». В «Московском понедельнике» опубликованы (не в первый раз) стихотворения О.М. «Декабрист» (14 августа 1922) и «Золотистого меда струя из бутылки текла...» (11 сентября 1922). Газета выходила в Госиздате под редакцией П.И. Лебедева-Полянского, возглавлявшего Главлит: Малая Никитская, д. 6/2 (см. предыдущий пункт). По воспоминаниям П.Н. Зайцева, бывшего в то время секретарем редакции газеты, Главлит «ютился» тогда еще «в одной из маленьких проходных комнат Госиздата на втором этаже» (в бывшем доме Рябушинского). «Наша редакция расположилась территориально под крылышком Госиздата...» «Аппартаменты... (так! – Л.В.) наши состояли из получердачной мансарды, похожей на склад...». П. Зайцев упоминает Мандельштама

ма, который как-то «дал для газеты новые, только что написанные стихи» [654] .

35. Хорошо была знакома Мандельштаму московская редакция берлинской «сменовеховской» газеты «Накануне». Редакция располагалась в первом московском «небоскребе» – д. 10 по Большому Гнездниковскому пер. (так называемый «дом Нирнзее»), на первом этаже. Через эту редакцию прошли в 1922–1923 годах и были опубликованы на страницах «Накануне» в Берлине стихотворения Мандельштама «Ласточка», «Возьми на радость из моих ладоней...», «Грифельная ода», статья «О природе слова» (под заглавием «О внутреннем эллинизме в русской литературе»). Все вышеперечисленные произведения были уже напечатаны в разных изданиях до их появления в «Накануне». Стихотворение «Люблю под сводами седая тишины...», статьи «Пшеница человеческая» («Накануне», 7 июня 1922 года) и «Гуманизм и современность» (20 января 1923 года, «Литературное приложение» к «Накануне» № 36) опубликованы в «Накануне» впервые.

Квартиру 609 дома Нирнзее занимал М. Долинов, представитель уральского журнала «Товарищ Терентий», в котором Мандельштам печатался в 1923–1924 годах.

Дом сохранился.

36. «Красная новь» (журнал и издательство). Существовали при Главполитпросвете. В журнале «Красная новь», редактором которого в 1921–1927 годах был А.К. Воронский, в 1922–23 годах были напечатаны мандельштамовские стихотворения «Декабрист», «Уничтожает пламень...», «Что поют часы-кузнечик...», «Феодосия», «Чуть мерцает призрачная сцена...», «Век» и рецензия «Андрей Белый. "Записки чудака"» (все – не впервые). В

«Красной нови» в первый раз было напечатано стихотворение «Нашедший подкову» («Красная новь», № 2(12), март – апрель 1923 года).

Редакция «Красной нови» находилась в уже упоминавшемся в списке адресов бывшем доме страхового общества «Россия» (Сретенский бул., 6, или по Милютинскому пер., д. 22). По данным «Настольного справочника» «Вся Москва» (М., 1922), адрес редакции был таким: «Сретенский б., 6, 4-й под.». Помещалась редакция на 4-м этаже. В сборнике «авио-стихов» (так! – Л.В.) «Лёт», выпущенном издательством «Красная новь» в 1923 году, указана «контора издательства»: «Милютинский пер., 22, угол Сретенского бул., 4 под., 4 эт., кв. 43». В сборнике опубликованы стихи Мандельштама в следующем порядке: «Война. Опять разноголосица...» (в этот текст как его часть вошли впервые опубликованные стихи «А небо будущим беременно...»); «Ветер нам утешенье принес...»; затем, под цифрой I: «Давайте слушать грома проповедь...»; II – «Как тельце маленькое крылышком...» (первая публикация); далее – под номером IV (так! – Л.В.) – «На круговом, на мирном судьбище...»; и под номером V – «Как шапка холода альпийского...». Несколько позднее, в 1920-е годы, редакция «Красной нови» помещалась в д. 14 по Кривоколенному пер., рядом с Мясницкой ул.

37. Одним из важнейших изданий, где публиковался Мандельштам в 1922–1924 годах, был журнал «Россия», руководимый И.Г. Лежневым. На страницах «России» в первый раз были напечатаны стихотворения «Кому зима – арак и пунш голубоглазый...» (1922, № 1, август), «Век» (1922, № 4, декабрь), перевод с французского «Сыновья Аймона» (1923, № 5, январь), «Концерт на вокзале» (1924, № 3). «Россия» впервые опубликовала статьи Мандельштама «А. Блок (7 августа 21 г. – 7 авгу-

ста 22 г.)» – 1922, № 1; «Литературная Москва» (1922, № 2), «Литературная Москва. Рождение фабулы» (1922, № 3). Редакция в 1923 году была в «доме Нирнзее» (Б. Гнездииковский пер., 10), где И. Лежнев принимал «от 5 1/2 до 7 веч.», что и указано на последней странице шестого номера журнала за 1923 год. В 1924 году редакция помещалась на Страстном бул., в д. 4. Редакторские дела обсуждались и решались также непосредственно на квартире И.Г. Лежнева (Большая Полянка, 15, кв. 7). См. «Всю Москву» на 1925 год: «Лежнев И.Г. Бол. Полянка, 15, кв. 7. Телефон: 3-06-03 (журнал «Россия»)». Именно И. Лежнев заказал поэту книгу воспоминаний «Шум времени» (но потом отклонил предложенное сочинение).

38. В имажинистском журнале «Гостиница для путешественников в прекрасном» (издавался в 1922–1924 году, журнал прекратил существование на номере четвертом), в № 1 за 1922 год (ноябрь) впервые были напечатаны стихотворения Мандельштама «Я не знаю, с каких пор...» и «Я по лесенке приставной...» (под общим заглавием «Сеновал»). В этом же номере – первая публикация статьи «Девятнадцатый век». По данным «Настольного справочника» «Вся Москва» (М., 1922), издательство имажинистов помещалось по адресу: Тверская, 37. Это адрес кафе «Стойло Пегаса», уже упомянутого в «Списке адресов». Позднее, в 1923 году, адрес редакции был иным: «Москва, Страстной бул., д. 12, кв. 2 – указан на последней странице второго номера журнала за 1923 год.

39. В 1923 году Мандельштам активно печатался в журнале «Огонек», издание которого в том же году было начато по инициативе М.Е. Кольцова. В «Огоньке» было опубликовано стихотворение «Париж» (1923, № 14, апрель, первая публикация). «Огонек» напечатал «московские» очерки «Холодное лето» и «Сухаревка» (№ 16 от

15 июля и № 18 от 29 июля соответственно), очерк «Первая международная крестьянская конференция. Набросок» (1923, № 31, 28 октября) и интервью с вьетнамским революционером «Нюэн Ай-Как. В гостях у коминтернщика» (1923, № 39, 23 декабря); в «Огоньке» появились «Меньшевики в Грузии» (1923, № 20, 12 августа) и «Армия поэтов» (1923, № 33 и 34–11 и 18 ноября). Вся вышперечисленная проза публиковалась в «Огоньке» впервые. Э. Миндлин в своих мемуарах упоминает о том, что Мандельштам читал ему в редакции журнала свое стихотворение «Концерт на вокзале» [655]. Редакция «Огонька» в то время находилась в д. 3 в Благовещенском пер., неподалеку от Тверской ул. Дом сохранился.

40. Статьи Мандельштама «Буря и натиск» и «Vulgata (Заметки о поэзии)» впервые были напечатаны в 1923 году журналом «Русское искусство» (в кн. 1 за февраль и в кн. 2–3 соответственно). Журнал выпускался книгоиздательством «Творчество», владельцем которого был С. А. Абрамов. Издательство находилось по адресу: Трехпрудный, 5/15, кв. 17. Контора редакции была в Бол. Козихинском пер., д. 8/18, в «помещениях 20–22».

41. В вып. 3 (июль) за 1922 год журнала «Всемирная иллюстрация» появилось стихотворение Мандельштама «С розовой пеной усталости у мягких губ...», до того не публиковавшееся (под заглавием «Европа»). В вып. 5 того же года впервые было опубликовано стихотворение «Когда городская выходит на стогны луна...». «Всемирная иллюстрация» (редактор Н.Г. Шебуев) выходила при издательстве «Книгопечатник» (Тверская, 38, старая нумерация). Дом не сохранился. Редакция журнала помещалась, по воспоминаниям Э. Миндлина, «в Китай-городе, в здании у белой Китайгородской стены...», «но Шебуев предпочитал принимать авторов у себя дома», а кварти-

ровал Шебуев «в самых неожиданных местах»: «в одной из бывших келий Новодевичьего монастыря», «в комнате с окнами в Московский ботанический сад...» [656] .

42. Вышеупомянутое книгоиздательство «Творчество» выпускало и журнал «Москва». В издании с таким названием Мандельштам опубликовал в 1919 году в № 3 стихотворение «Когда на площадях и в тишине келейной...» (в этом же году, 3 февраля, эти стихи появились в московском «Знамени» – 1919, № 2). В 1922 году в № 6 «Москва» напечатала стихотворения Мандельштама «Холодок щекочет темя...» (первая публикация) и «С розовой пеной усталости у мягких губ...». Следующий, седьмой номер «Москвы» за 1922 год открывается стихотворением Мандельштама «Соломинка» («Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне...»), впервые опубликованным еще в 1917 году.

43. Хорошо был знаком поэту д. 48 по Тверской ул. Там находились редакции газет «Правда» и «Известия». 3 февраля 1922 года в «Правде» был напечатан (не в первый раз) очерк Мандельштама «Батум» («Весь Батум как на ладони...»). В «Известиях» 23 сентября 1922 года появилось стихотворение «Как растет хлебов опара...», в следующем году – очерки «Севастополь» и «Крымские впечатления» (все вышеперечисленные произведения публиковались впервые). Ныне дом имеет номер 18. 7 апреля 1929 года «Известия» вышли со статьей Мандельштама «Потоки халтуры». В это время редакция «Известий» была уже в другом здании – в построенном Г. Бархиным в 1927 году конструктивистском доме рядом со Страстным монастырем. Теперь это так называемое «старое» здание «Известий»: Пушкинская пл., д. 5.

44. В том же д. 48 (ныне 18) по Тверской ул. была и редакция журнала «Прожектор» (выходил под редакцией Н.И. Бухарина и А.К. Воронского). В № 13 за 1923 год были в первый раз опубликованы статья Мандельштама «Огюст Барбье» и стихотворение «Собачья склока» – перевод из О. Барбье.

45. Журнал «Сегодня». В первом номере (сентябрь) за 1922 год было опубликовано стихотворение Мандельштама «Московский дождик» (первая публикация). В № 2–3 журнала указано: «Редакция временно помещается: Пименовская ул., д. 8, кв. 6». Вероятно, имеется в виду Пименовский пер., отходящий от Тверской (так он назывался до 1922 года, потом – Старопименовский и ул. Медведева; ныне снова Старопименовский).

46. При Доме печати (Никитский бул., д. 8) существовал журнал «Печать и революция». В книгах 5 и 6 журнала за 1923 год были впервые напечатаны рецензии Мандельштама «Гергард Гауптман. Еретик из Соаны» и «Ан. Свентицкий. Книга сказания о короле Артуре и о рыцарях круглого стола».

47. Журнал «Театр и музыка». В 1923 году № 1–2 вышел со статьей Мандельштама «Революционер в театре» (о пьесе Эрнста Толлера «Человек-масса»), а № 36 – с другой статьей на театральную тему – «Художественный театр и слово» (обе напечатаны впервые). Редакция располагалась по адресу: Неглинный пр., Александровский пассаж, № 38–41.

48. 31 декабря 1922 года «Рабочая газета» (№ 252) напечатала стихотворение Мандельштама «Кузнец» («В лазури месяц новый...»). Это была первая публикация стихотворения, написанного еще в 1911 году, 14 июля 1923 года в «Рабочей газете» появилась зарисовка о

репертуаре московских кинотеатров «Генеральская». Редакция «Рабочей газеты» находилась по адресу: Охотный ряд, д. 7. Дом не сохранился. Позднее, в 1927 году, Мандельштам напечатал три своих работы (все – в первый раз) в «Экране "Рабочей газеты"»: в номерах за 20 марта и 22 мая очерки «Кисловодск весной» и «Ессентуки», а в номере за 3 июня – статью «Яхонтов».

49. «Московский» очерк Мандельштама «Пивные» появился в № 77 (19 ноября) 1923 года в газете «Трудовая копейка». Редакция газеты размещалась в Козицком пер., д. 2, а «контора» – по адресу Ильинка, д. 9.

50. Предприниматель и торговец П.Д. Ярославцев выпускал альманахи «Возрождение». Он жил по адресу Долгоруковская (с 1919 года официально – Каляевская) ул., 35, кв. 37. В 1922 году в томе 1 альманаха «Возрождение» (выпуск 1–2) было напечатано стихотворение Мандельштама «Среди священников левитом молодым...»; в 1923 году в томе 2 – «Холодок щекочет темя...», «Как растет хлебов опара...» и «Ветер нам утешенье принес...» (все публикации – не первые). Магазин Ярославцева, хорошо знакомый Мандельштаму [657], находился на 1-й Тверской-Ямской ул., д. 21. Во «Всея Москве» на 1923 год (приводятся данные на 1 декабря 1922 года) в разделе «Бакалейно-колониально-гастрономические магазины»: «Ярославцев П.Д. 1-ая Тверская-Ямская, 21».

51. В журнале «Русский современник», руководство которого стремилось привлечь лучшие литературные силы (издавался «при ближайшем участии» М. Горького, Е. Замятина, А.Н. Тихонова, К. Чуковского и А. Эфроса), впервые было напечатано этапное стихотворение Мандельштама «1 января 1924» («Русский современник», 1924, № 2). Редакция и контора журнала имели отделе-

ния в Москве и Петрограде (Ленинграде). В № 3 за 1924 год указан московский адрес редакции: Мясницкая, 2–4. Дом не сохранился.

52. «Культура и жизнь» (редактор Ф. Кипарисов). Издавался книгоиздательством «Работник просвещения» (существовало при ЦК Всероссийского Союза работников просвещения и искусств). В мае 1922 году Мандельштам поместил в «Культуре и жизни» (№ 4) стихотворение «Феодосия», до этого уже публиковавшееся. Леонтьевский пер., д. 4. В этом доме 13 февраля 1922 года открылся ЦДРПИ – Центральный Дом работников просвещения и искусств. 24 мая 1922 года здесь на собрании объединения «Литературный особняк» состоялось выступление Мандельштама. Поэт, судя по отчету неподписавшегося автора в «Литературном приложении» к газете «Накануне», произвел сильное впечатление на слушателей. (Отзыв цитировался в книге в главе «ПРИ ДОМЕ ГЕРЦЕНА. ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР, 25. 1922–1923».) Адрес издательства: Москва, Леонтьевский пер., 4. Дом сохранился, ныне – посольство Греции.

53. В «издании Г.Н. Семенцова» «Рупор» (редакция находилась по адресу: Москва, Сытинский пер., 4, кв. 10), в пятом номере за 1922 год появилось стихотворение Мандельштама «Мне Тифлис горбатый снится...», напечатанное в первый раз немногим ранее в петроградском альманахе «Цех поэтов».

54. В газете «На вахте» в номере от 26 января 1924 года был в первый раз напечатан очерк Мандельштама «Прибой у гроба», написанный в связи со смертью Ленина. Редакция «На вахте» располагалась по адресу: Солянка, 12, «Дворец труда», 3 эт., комн. 172. Дворец труда, бывший Воспитательный дом на Москве-реке (ныне

здание принадлежит одной из военных академий), был хорошо знаком Мандельштаму, он бывал здесь в различных редакциях. Здание упомянуто в очерке «Холодное лето» (1923): «Безумный каменный пасьянс Воспитательного дома...».

55. Издательство «Круг», во главе которого до 1923 года стоял А.К. Воронский. В конце ноября 1922 года Мандельштам представил в это издательство рукопись своего сборника «Вторая книга». Сборник вышел в мае 1923 года тиражом 3000 экз. В книге указан адрес издательства: Леонтьевский переулок, 23. Дом сохранился.

56. В начале 1920-х годов и позднее Мандельштам бывал у поэта С.М. Городецкого [658] . С. Городецкий жил на Красной площади в старинном здании напротив Исторического музея (кв. 3), которое он считал палатами Бориса Годунова. Дом сохранился.

57. В 1922 году весной Мандельштам и Велимир Хлебников были у философа Н.А. Бердяева в Лавке писателей. Мандельштам пришел к Н. Бердяеву с намерением добиться жилья для Хлебникова при Доме Герцена [659] . Встреча с Бердяевым могла состояться не позднее 14 мая – в этот день Хлебников покинул Москву. Книжная лавка находилась неподалеку от Большой Никитской ул., в Леонтьевском пер. (д. 16). Дом сохранился.

58. Мандельштам бывал у литератора и искусствоведа И.А. Аксенова. По данным «Всей Москвы» на 1923 год, И. Аксенов проживал по адресу: Пречистенка, Обухов (позднее – Чистый. – Л.В.) пер., 5, кв. 2. Дом сохранился.

59. Мандельштам был знаком с психиатром Евгением Константиновичем Краснушкиным и по крайней мере однажды посетил его (с художником Г. Якуловым) [660] . Е.К. Краснушкин, известный врач и любитель литературы

и искусства, проживал на Верхней Масловке (д. 86, кв. 2). (Упомянут во «Все́й Москве» на 1923 год, в списке «Медицинский персонал г. Москвы»: «Краснушкин Е.К. душ. б. Верхняя Масловка, 86, кв. 2».) Позднее адрес Краснушкина был другим: Старый Петровско-Разумовский пр., д. 25. В 1938 году Мандельштаму пришлось встретиться со своим знакомым начала 1920-х годов при других обстоятельствах. Е. Краснушкин участвовал, наряду с врачами Бергером и Смольцовым, в комиссии, которая осматривала 24 июня 1938 года заключенного внутренней тюрьмы НКВД Мандельштама на предмет душевного здоровья.

60. В 1920-е годы (начиная с 1922 года) Мандельштам бывал у художников Л.А. Бруни и А.А. Осмеркина: ул. Мясницкая, д. 21, кв. 99 (тогда – здание ВХУТЕМАСа). Дом сохранился. «Каторжный двор Вхутемаса» упомянут в очерке «Холодное лето». Адрес сообщен вдовой Л.А. Бруни Ниной Константиновной Бруни и подтверждается справочником «Вся Москва» на 1929 год.

61. У брата Н. Мандельштам Е.Я. Хазина. Мандельштамы жили у него в октябре 1923 года (около трех недель). См. письмо поэта к отцу (конец ноября 1923 года): «Приехав в Москву, мы три недели жили у Евгения Яковлевича на Остоженке. Это было довольно уютно и весело благодаря его милому характеру и тому, что он как раз перед этим развелся с женой, – но не очень удобно». Место проживания Хазина в это время определяется по письму Мандельштама во Всероссийский Союз писателей от 27 октября 1923 года, где он указывает свой адрес: «Остоженка, Савеловский переулок, д. 9. Е.Я. Хазину для О.Э. Мандельштама». Дом сохранился. Савеловский пер. с 1922 года официально уже назывался Савельевский –

он был переименован в честь революционера А. Савельева (Шелехеса). С 1990 года именуется Пожарский пер.

62. Позднее, в 1920 – 1930-е годы Мандельштамы бывали у Е.Я. Хазина по другому адресу: Страстной бул., д. 6. Поэт в письме в редколлегию Госиздата от 26 апреля 1929 года сообщает адрес: «Москва, Страстной, д. 6, кв. 14». Однако в письме Н. Мандельштам Е.Я. Хазину от 12.07 [1947] приводится другой номер квартиры – «Страстной, 6, кв. 34» [661]. Номер квартиры «34» фигурирует и в других источниках; например, он указан в письме Н. Мандельштам прокурору Отдела по спецделам Прокуратуры СССР старшему советнику юстиции Н.Я. Лебедеву от 3 сентября 1955 года. Дом сохранился. Одно из тех мест, где хранились рукописи Мандельштама после его ареста и гибели в 1938 году.

63. Зимой 1923–1924 годов и первую половину 1924 года Мандельштамы прожили на Большой Якиманке «в наемной комнате»: Большая Якиманка (позднее – ул. Дмитрова), д. 45, кв. 8. Адрес устанавливается по письмам Мандельштама (см. письмо А.В. Ширяевцу от 21 января 1924 г. и заявление о вступлении в члены Московского общества драматических писателей и композиторов от 28 мая 1924 года. Описание квартиры см. в письме поэта к отцу – конец ноября 1923 года). Дом не сохранился.

64. Зимой 1923–1924 годов в здании, где до революции выступала опера С.И. Зимина (ныне – Театр оперетты, Большая Дмитровка, д. 6), незадолго до собрания литераторов и других деятелей культуры, у Мандельштама произошел конфликт с имажинистом М. Ройzmanом. Об этом инциденте упоминает литератор и лингвист Б.В. Горнунг [662]. Причина конфликта осталась мемуаристу неизвестной.

65. В 1922 году(?) Мандельштам заявил свой доклад на Литературной секции Государственной академии художественных наук (ГАХН; называлась также РАХН и ВАХН – Высшая академия художественных наук) – «Андре Шенье и жанр газетной статьи в эпоху французской революции». (См. статью «Заметки о Шенье».) Был ли действительно прочитан доклад, неизвестно. ГАХН располагалась в д. 32 по ул. Пречистенка. Дом сохранился.

66. В начале 1920-х годов Мандельштам был, наряду с Б. Пастернаком и В. Маяковским, членом Московского лингвистического кружка и, вероятно, периодически принимал участие в его собраниях. Б.В. Горнунг вспоминал о замысле Мандельштама организовать семинар по поэтике в рамках деятельности этого объединения: «Речь шла о его инициативе организовать “семинар по поэтике” для группы членов Московского Лингвистического кружка... Было (весной 1923 года), кажется, два собрания, и на этом дело кончилось: читали и обсуждали стихи, но записей никаких не велось» [663] . В письме к Б.В. Горнунгу <начало 1924 года> Мандельштам просит передать его извинения (за отсутствие на собрании) «Л.К.» (т. е. Лингвистическому кружку). Московский лингвистический кружок собирался в основном на квартире Р.О. Якобсона (и после его отъезда за границу) в «доме Стахеева» на Мясницкой ул. (ныне – Музей В. Маяковского): д. 3/6, кв. 10.

67. У В.И. Нейштадта, поэта, переводчика, шахматиста, члена Московского лингвистического кружка. По свидетельству его дочери, Ирины Владимировны Фальк, Мандельштам бывал у Владимира Ильича Нейштадта в его доме на Варварке (дом 24, кв.18). В конфликтной комиссии, разбиравшей дело о переводе «Тилия Уленшпигеля», В. Нейштадт выступил в поддержку Мандельштама (Мандельштам и Нейштадт встречались в редакции изда-

тельства «Земля и фабрика»). За вышеприведенную информацию автор книги благодарит филолога, издателя и поэта В.В. Калмыкову.

Дом не сохранился, находился рядом с церковью Св. Георгия на Псковской горке (нумерация на Варварке изменена).

68. Мандельштамы были в Доме союзов в один из дней прощания с умершим Лениным; встретились с Б. Пастернаком. Впечатление от прощания с Лениным отразилось в очерке «Прибой у гроба» (1924). Здание существует.

69. В июле 1924 года поэт был у писательницы Софьи Федорченко (см. письмо Мандельштама С. Федорченко от 9 июля 1924 года). С. Федорченко жила на Пречистенке, д. 11. С 1920 года по настоящее время в доме располагается Литературный музей Л.Н. Толстого. «Вся Москва» на 1924 год: «Федорченко Соф. Зах. Пречистенка, 11, Толстовский музей».

70. У поэта Д.В. Петровского. Согласно воспоминаниям Марии Гонты, жены Д. Петровского, зимой 1925 года состоялась встреча литераторов с капитаном-революционером В. Кукелем. В квартире Д. Петровского собрались Б. Пастернак, Н. Асеев, Н. Тихонов, В. Шкловский; были Мандельштам и Надежда Яковлевна.

Д.В. Петровский жил в это время по адресу: Мертвый пер., д. 20, кв. 6 (см.: «Вся Москва» на 1924 год. Список постоянных жителей. С. 313). Мертвый пер. называется в настоящее время Пречистенский пер. Дом сохранился.

71. В 1920–1930-е годы Мандельштам бывал у художника А.Г. Тышлера: ул. Мясницкая (с 1935 года – ул.

Кирова), д. 24, кв. 82. Адрес Тышлера, сообщенный его вдовой Ф.Я. Сыркиной, совпадает с данными «Всей Москвы» на 1929 год: «Тышлер Александр Григорьевич – Мясницкая, 24, кв. 82». Об интересе поэта к живописи Тышлера и о посещениях художника упоминает Н. Мандельштам. Дом сохранился.

72. 30 января 1923 года в Театре Революции состоялась премьера спектакля по драме Э. Толлера «Человек-масса» в переводе Мандельштама. Театр революционной сатиры («Теревсат») был создан в 1920 году. Активное участие в работе театра принимал В.Э. Мейерхольд. С 1922 года – Театр Революции, руководимый Мейерхольдом. Театр давал спектакли в д. 19 по Большой Никитской ул. Ныне в этом здании – Театр им. В. Маяковского.

73. Мандельштам не раз бывал в 1920 – 1930-е годы у Б.Л. Пастернака: ул. Волхонка, 14, кв. 9. Дом не сохранился. Н. Мандельштам бывала у Б.Л. Пастернака на его даче в Переделкине: так, в 1937 году она привезла Б. Пастернаку воронежские стихи Мандельштама.

74. Интерес поэта к кинематографу выразился, в частности, в его публикациях в журнале «Советский экран»: в № 14 за 1926 год (6 апреля) была напечатана рецензия Мандельштама «Татарские ковбои» (на фильм Х. Херсонского и Л. Мура «Песнь на камне»), а в № 25 (21 июня) на страницах появился «отчет» Мандельштама о попытке создать сюжет для фильма – «Я пишу сценарий». Редакция журнала находилась в угловом доме на Тверской: Москва, Страстная пл., 2/42. Д. 42 по Тверской ул., где помещалось объединение Теакинопечать, – это нынешний сильно перестроенный дом на углу Тверской ул. и Пушкинской пл. (д. 16).

75. У братьев Б.В., Л.В. и Ю.В. Горнунгов [664] . Мандельштам бывал у Горнунгов в их доме на Садовнической набережной (д. 1, кв. 7 – адрес из «Всей Москвы» на 1927 год), консультировался у Б. Горнунга, который был внештатным редактором французского отдела издательства «Художественная литература». Б.В. Горнунг активно помогал поэту в разгар «дела о плагиате». С посещением Горнунгов связано написание мандельштамовской эпиграммы «У вас в семье нашел опору я...» (1927). Дом не сохранился.

76. В мае 1927 года Мандельштам, Бенедикт Лившиц, Б. Горнунг и Александр Ромм обсуждали у поэта Н. Асеева возможность создания «нового, очень широкого поэтического объединения» [665] . Н.Н. Асеев жил на Мясницкой ул., д. 21 (кв. 18). Дом сохранился. «Вся Москва» на 1927 год: «Асеев. Мясницкая, 21, кв. 18. (Театр “Синяя Блуза”)» («Алфавитный указатель адресов, упомянутых в справочнике»). Квартира, где жил Н. Асеев, находилась во дворе в корпусе хорошо знакомого Мандельштаму здания, в котором в 1921 году, на базе бывшего Училища живописи, ваяния и зодчества, начали работать Высшие художественно-технические мастерские, ВХУТЕМАС.

77. Издательство «Земля и фабрика» (ЗИФ), с которым Мандельштам был тесно связан в качестве переводчика. Издательство располагалось в течение некоторого времени во Псковском пер. в Зарядье (дом не сохранился); в конце 1920-х – начале 30-х годов находилось по адресу: Кузнецкий мост, 13; некоторые службы помещались на Ильинке, в д. 15. Здания сохранились.

78. Дважды, в 1928 и 1932 годах, Мандельштамы жили в санатории ЦЕКУБУ (Центральная комиссия по

улучшению быта ученых) «Узкое». См., в частности, воспоминания Э.Г. Герштейн. Санаторий существует – Профсоюзная ул., 123 А, не очень далеко от станции метро «Теплый Стан».

79. В 1929 году, весной, Мандельштам некоторое время жил в общежитии ЦЕКУБУ в Москве (упомянутый в «Четвертой прозе» «караван-сарай ЦЕКУБУ»): Кропоткинская набережная, д. 5. Здание не сохранилось.

80. По воспоминаниям Б.В. Горнунга, он, Мандельштам и поэт Михаил Зенкевич обратились к И. Сельвинскому с просьбой о поддержке на предстоящем заседании в Союзе писателей, посвященном конфликту, возникшему в связи с переводом «Тиля Уленшпигеля». Это было, по словам Б. Горнунга, «до судебного разбирательства» – вероятно, до 21 мая 1929 года, когда состоялось заседание Исполбюро Федерации объединений советских писателей. Мандельштам, Зенкевич и Б. Горнунг были у И. Сельвинского на квартире «где-то у Мясницких ворот» [666] . По официальным данным и воспоминаниям, И. Сельвинский жил в Сытинском пер. (д. 6, кв. 3). «Вся Москва» на 1929 год: «Сельвинский Ил. Льв., поэт. Сытинский п., 6, кв. 3, Телефон: 1-30-07 (Лит. Центр “Конструктивисты”)» («Алфавитный указатель лиц, упомянутых в справочнике»).

81. В июне 1929 года Московский губернский суд (Мосгубсуд) не счел убедительными претензии В.Н. Карякина к Мандельштаму в связи с «делом о плагиате» и отказал ему в иске. Мосгубсуд находился по адресу: ул. Воровского (бывшая Поварская), д. 13.

82. В № 13 (июль) за 1929 год в журнале «На литературном посту» была опубликована статья Мандельштама «О переводах» (впервые). Редакция журнала РАППа,

ответственным редактором которого был Л.Л. Авербах, находилась в Доме Герцена (Тверской бул., 25).

83. С осени 1929-го по начало 1930 года(?) Мандельштамы жили в квартире «ИТРовского работника», как сообщает Э.Г. Герштейн: ул. Малая Бронная, д. 18/13. Дом сохранился. Об этом адресе мандельштамовской Москвы упоминает также в своих мемуарах «Угль, пылающий огнем...» С.И. Липкин.

84. С конца лета 1929-го по январь 1930 года Мандельштам работал в газете «Московский комсомолец», где вел «Литературную страницу» и консультировал молодых поэтов (см. воспоминания Н. Мандельштам, Э. Герштейн, Н. Соколовой, сотрудников газеты). Эта работа отразилась в «Четвертой прозе» (1929–1930), а также, очевидно, в стихотворении «Квартира тиха, как бумага...» (1933). Упомянутый в «Четвертой прозе» «лихач-хозяйственник Гибер» – Михаил Владимирович Гибер, один из руководителей издательского дела в те годы. По данным «Всей Москвы» на 1928 и 1929 годы, М.В. Гибер был членом президиума «Конвенции газетно-журнальных издательств» при Совете Съездов издательской промышленности и торговли СССР.

Редакция «Московского комсомольца» располагалась по адресу: ул. Тверская, д. 15. Ныне в этом здании – Театр им. М.Н. Ермоловой (современный адрес – Тверская, д. 5). Мандельштам консультировал молодых поэтов также и где-то на Старой Басманной (по свидетельству, например, С. Липкина). В «Московском комсомольце» опубликованы обращение Мандельштама к начинающим писателям с призывом присылать «литературный материал» – «От редакции» («“Московский Комсомолец” открывает...»), номер от 5 сентября 1929 года; «От ре-

дакции» («Вопрос о том...») – в номере от 19 сентября 1929 года; «Сквозь розовые очки...» – рецензия на «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева – в номере от 22 сентября 1929 года; «Переключка с читателями» (26 сентября 1929 года) и «Письмо тов. Кочину» – о его «деревенской» прозе – 3 октября 1929 года. К этому времени, очевидно, относится воспоминание И. Фейнберга: «Встреча в редакции журнала “Октябрь” так в году 1930–31. Мандельштам: “Нет ли у вас материалу (то есть стихов). Я теперь зав. отделом газеты «Московский Комсомолец»” [667] . Упомянутая Фейнбергом редакция журнала «Октябрь», органа РАПП и МАПП, работала в д. 7 на Кузнецком мосту.

В январе 1930 года в связи с прекращением издания «Московского комсомольца» (а также будучи раздраженным данной ему характеристикой комиссии, проверявшей состав редакции: «Можно использовать как специалиста, но под руководством») поэт переходит в журнал «Пятидневка» и газету «Вечерняя Москва», чьи редакции находились в том же здании на Тверской. В газете «Вечерняя Москва» Мандельштам ведет рабкоровский кружок. В этом же доме находился тогда и Театр обзрений. Э. Герштейн в своих воспоминаниях о Мандельштаме упоминает его под названием «Театр Сатиры» и сообщает о посещении этого театра Мандельштамами.

85. После поездки на Кавказ (Абхазия – Грузия – Армения, весна – осень 1930 года), весной 1931 года Мандельштам побывал в Научно-исследовательском институте народов Советского Востока при ЦИК СССР (см. описание визита в «Путешествии в Армению», 1931–1932): Берсеневская набережная, д. 18 («палаты Аверкия Кириллова», современный адрес – д. 20). Дом сохранился.

Здесь же, по данным «Всей Москвы», была и библиотека института.

В целях изучения армянского языка Мандельштам побывал несколько раз у Марго Вартамян, дочери видного общественного деятеля Г. Вартамяна (взял у нее несколько уроков армянского).

86. По свидетельству Э. Герштейн, в 1930 году Мандельштам побывал у Л.Б. Каменева, известного деятеля ВКП(б) [668] . Встреча состоялась в квартире Л. Каменева по адресу: Манежная ул., 9, кв. 5 («Вся Москва»). Дом сохранился.

«Для Осипа Эмильевича, – пишет Э. Герштейн, – Каменев не сделал ничего».

87. Вернувшись из Армении, Мандельштамы в ноябре-декабре 1930 года жили у Эммы Герштейн, в квартире ее отца: ул. Щипок, д. 6–8. Это была служебная квартира главного врача больницы. Мандельштам бывал здесь и позднее. «...Хорошо помню лето 1937 года, белый высокий дом в тенистом саду, где жила тогда Эмма Герштейн (ее отец был врач, и квартира находилась при больнице), удлиненную комнату, направо от двери обеденный стол, в глубине письменный» (Н. Штемпель) [669] . «Вся Москва» на 1929 год: «Герштейн Григорий Моисеевич, врач-хир. Щипок, 8, больница им. Семашко, кв. гл. врача». Данными о сохранности дома не располагаем.

88. В конце 1920-х и в 1930-е годы Мандельштамы нередко бывали у брата поэта Александра. А.Э. Мандельштам с женой проживали в коммунальной квартире д. 10 по Старосадскому пер. (кв. 3). Мандельштам жил здесь у брата короткое время в декабре 1928 года, затем с середины января по июнь 1931 года (в мае – июне тут же жила и Н. Мандельштам). Одно из важнейших мандельшта-

мовских мест в Москве. Здесь создан целый ряд этапных стихотворений 1931 года, в частности, проделана основная работа над так называемым «Волчьим циклом», начато стихотворение «Еще далеко мне до патриарха...». (см. воспоминания Н.Я. Мандельштам, С.И. Липкина, Б.С. Кузина, Э.Г. Герштейн и др.). Дом сохранился. В 2008 году рядом с домом открыт памятник Мандельштаму (скульпторы Е. Мунц и Д. Шаховской).

89. По свидетельству Э. Герштейн, в 1931 году Мандельштамы некоторое время жили в одном из Брестских пер. Там, по ее словам, было написано стихотворение «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...» (1931, май – июнь). Точный адрес неизвестен.

90. У М.В. Талова, поэта и переводчика. В 1930 году М. Талов жил во 2-м Колобовском пер. (д. 12, кв. 6) – «Вся Москва» на 1930 год, раздел «Адреса лиц, упомянутых в справочнике», с. 578. В 1931 году Мандельштам побывал у Талова и сделал дарственную надпись на форзаце своего сборника стихотворений, вышедшего в 1928 году: «Марку Владимировичу Талову на память о "галльской беседе" – О. Мандельштам. Москва. 13/IV/31.» [670] . В это время М. Талов жил уже в Петровском пер. (д. 5, кв. 16). Дом сохранился. Адрес приводится в воспоминаниях вдовы Талова М.А. Таловой [671] .

91. В 1931 году, незадолго до 21 мая (по свидетельству Л.В. Горнунга [672] ), Мандельштам слушал у Рюрика Ивнева стихи молодых поэтов Арс. Тарковского, Н. Берендгофа и Арк. Штейнберга. Вероятно, это было в д. 10 по Большому Гнездниковскому пер. – уже упоминавшемся в данном списке «доме Нирнзее». Рюрик Ивнев жил в «доме Нирнзее» в кв. 608. По данным «Всей Москвы» на 1930 год: «Ивнев Рюрик Ал-др., поэт. Б. Гнездниковский

переулок, 10, кв. 608. Телефон: 4-59-60, доб. 608 («Все-рос. Союз Поэтов»)).

Ранее, в послереволюционное время, Мандельштам бывал у Р. Ивнева по адресу: Трехпрудный пер., д. 10, кв. 5. Адрес приводится в справочниках «Вся Москва» (например, см. «Всю Москву» на 1923 год, раздел «Журналисты и литераторы»). Упоминание о посещениях Мандельштама содержится в автобиографическом романе Р. Ивнева «Богема». В очерке «Осип Мандельштам» Рюрик Ивнев называет еще один адрес, по которому Мандельштам нередко бывал у него «летом 1930 года»: квартиру В. Пудовкина, где Ивнев поселился с согласия кинорежиссера во время его отсутствия – «в доме на углу Тверской улицы и площади Маяковского».

92. В июне 1931 года Мандельштамы переехали из Старосадского пер. (очевидно, в связи с тем, что брат Александр Эмильевич с женой вернулись к себе из отпуска) на Большую Полянку, где поселились в квартире знакомого юриста Цезаря Рысса, неподалеку от Водоотводного канала: Большая Полянка, д. 10, кв. 20 [673] . Дом не сохранился. Ц.Г. Рысс занимался вопросами жилищно-кооперативного законодательства, его работы на эту тему имеются в Российской государственной библиотеке. См. упоминание о хозяине квартиры в «Путешествии в Армению», глава «Москва»: «...молодой белокурый юрисконсульт». На Большой Полянке было в основном написано стихотворение «Сегодня можно снять декалькомани...».

93. Осенью 1931 года Мандельштамы жили уже на Покровке, снимали жилье у попавшей в эпиграмму «вдовы Каранович» («Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович...»). На самом деле это была комната Н.Л.

Фельдман, сестры Е.Л. Каранович: ул. Покровка, д. 29, кв. 23 [674] (см. об этом месте мандельштамовской Москвы воспоминания Н.Я. Мандельштам и Э.Г. Герштейн). Здесь Мандельштам продолжает работу над ранее начатым «Путешествием в Армению» (1931–1932). Дом сохранился.

94. В третьем, мартовском номере журнала «Новый мир» за 1931 год появился цикл стихотворений «Армения» (с подзаголовком «Двенадцать стихотворений») – стихи, которыми начался новый творческий подъем Мандельштама после периода поэтического молчания второй половины 1920-х годов. Редактором журнала в то время был В.П. Полонский. В 1932 году, уже при И.М. Гронском, в «Новом мире» были опубликованы: в № 4 – «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..» и «О, как мы любим лицемерить...», в № 6 – «Рояль», «Ламарк», «Батюшков» и «Там, где купальни, бумагопрядильни...» (все – впервые).

Из воспоминаний Н. Смирнова: «Бывали здесь и поэты старшего, “акмеистического” поколения – в частности, Осип Эмильевич Мандельштам. Он тоже читал иногда, если был в духе, свои изысканно сжатые и певучие стихи – читал, конечно, нараспев, с поднятыми вверх глазами, звонким, но нервным, срывающимся голосом. В его лице, худощавом, остром и птичьем, как и в его малом росте и потрепанном костюме, сквозило что-то усталое, традиционно поэтическое, говорившее и о душевной боли, и о житейской “неприкаянности”. Крайне самолюбивый, подозрительный, он проявлял иногда неприятную заносчивость, проистекавшую, очевидно, из той же “неприкаянности”».

Так, он сказал одному молодому поэту, не проявившему, по его мнению, должной почтительности:

– Вы должны, юноша, не только слушать меня, но и внимать каждому моему слову, потому что каждое мое слово – для истории литературы» [675] .

Воспоминания И. Фейнберга: «Мандельштам с Наденькой в “Известиях” – в коридоре редакции “Нового мира”. Робко держал ее за руку. Скитальцы – беженцы – в мире» [676] .

Редакция «Нового мира» находилась в конструктивистском здании «Известий» (Пушкинская пл., д. 5).

95. Редакция «Литературной газеты». Находилась на третьем этаже Дома Герцена; 10 ноября 1932 года в ней состоялся поэтический вечер Мандельштама. 23 ноября на страницах «Литературной газеты» (№ 53) появились стихотворения «Ленинград», «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...» и «К немецкой речи» (все – впервые). Это последняя прижизненная публикация стихотворений Мандельштама.

96. Мандельштам бывал в редакции «Крестьянской газеты» у Эммы Герштейн, о чем она упоминает в своих мемуарах: ул. Воздвиженка, д. 9. Дом сохранился. (Уже был упомянут в «Списке адресов» в связи с посещением Л. Рейснер и Ф. Раскольниковы в 1918 году.)

97. В санатории ЦЕКУБУ «Узкое» Мандельштамы познакомились с криминалисткой О.А. Овчинниковой и в 1930-е годы бывали у Ольги Андреевны и ее мужа, юриста Бориса Михайловича Овчинникова, по адресу: Большой Власьевский пер., д. 3, кв. 1 (данные из архива Московской коллегии адвокатов). Дом не сохранился. Э. Герштейн пишет, что «супруги О.», как они названы в ее ме-

муарах, жили в доме, где находился отдел ЗАГС. Но это, видимо, ошибка: ЗАГС располагался в соседнем доме. (В этом ЗАГСе регистрировали брак С. Есенин и Айседора Дункан и М. Булгаков – с Л. Белозерской и Е. Шиловской; Малый Могильцевский пер., д. 3.) О.А. Овчинниковой адресована эпиграмма Мандельштама «Не средиземною волной...» (1932). Овчинникова оставила краткие воспоминания о поэте – «Мои воспоминания о поэте Осипе Эмильевиче Мандельштаме».

98. В 1930 году в Ереване Мандельштам познакомился с Б.С. Кузиным, московским биологом, с которым у поэта возникли дружеские отношения. В Москве Мандельштамы бывали у Кузина по адресу: Большая Якиманка, д. 22, кв. 155. Дом не сохранился. Адрес находится, в частности, по справочникам «Вся Москва». Так, во «Всей Москве» на 1925 год упомянута живущая по этому адресу «Кузина Эмма Бернгардовна, зубной врач». Эмма Бернгардовна (Эмилия Бернардовна) – тетка Б.С. Кузина, сестра его матери и жена его дяди (отец Б.С. Кузина, Сергей Григорьевич, и его брат Михаил были женаты на сестрах). В квартире дяди Б.С. Кузин жил с матерью, сестрами и братом после смерти отца (С.Г. Кузин скончался в 1920 году). Дом упоминается в «Путешествии в Армению», в главе «Москва». Б.С. Кузин оставил важные воспоминания о поэте («Об О.Э. Мандельштаме»), неоднократно цитировавшиеся в книге.

99. Мандельштамы бывали у Б.С. Кузина и в Зоологическом музее: Большая Никитская ул., д. 6. Окна комнаты, которую занимал Б.С. Кузин по праву смотрителя музея, выходят на Никитский пер., первый этаж. В настоящее время, как и в прошлом, здесь помещается библиотека Зоологического музея. Б.С. Кузин жил здесь до 1930 года, но Мандельштамы бывали у него в этой биб-

лиотеке позднее: здесь написано стихотворение «Я скажу тебе с последней...» (1931).

100. У журналиста М.Ю. Левидова. По словам его дочери Майи Михайловны, вдовы известного литературоведа Э.Г. Бабаева, Мандельштамы бывали в доме ее отца – об этом ей говорила Н.Я. Мандельштам (бывали не ранее 1928 года, когда дом был выстроен кооперативом «Красный уголок»): ул. Арбат, д. 20, кв. 70. Дом сохранился. По словам Майи Михайловны, М. Левидов не был большим любителем поэзии, но очень высоко ценил стихи Мандельштама.

101. В 1932 году художник Л.А. Бруни получил две комнаты в коммунальной кв. 57 д. 44 на Большой Полянке. Мандельштамы бывали здесь у Л. Бруни. Дом сохранился. О.М. был знаком с Львом Бруни и его братом, поэтом Николаем Бруни, еще в дореволюционный, петербургский период. В 1918 году Н.А. Бруни стал священником – «отец Николай Бруни» упомянут в «Египетской марке». В начале 1920-х годов Н.А. Бруни жил при церкви в Николопесковском пер.; Мандельштам мог бывать у него. «Вся Москва» на 1923 год: «Бруни, Н.А. – Б. Николо-Песковский, 13/15, кв. 2» (раздел «Журналисты и литераторы»).

102. В 1927 году в Детском Селе под Ленинградом Мандельштамы познакомились с артистом В.Н. Яхонтовым и его женой, Е.Е. Поповой. Общение было продолжено в Москве. Мандельштамы бывали у Яхонтовых по разным адресам: в д. 8 по Варсонофьевскому пер., где в кв. 2 жила мать артиста (сохранился); в наемной комнате на Петровке (д. 19, кв. 13, сохранился) – вероятно, именно эту комнату, где Яхонтов и Попова работали над композицией к 20-летию Октября, имеет в виду Н. Штемпель,

неточно указывая адрес: «кажется, в Столешниковом переулке»; но по большей части они приезжали к В. Яхонтову и Е. Поповой в дом на Новом шоссе, где у Поповой была маленькая комната (Новое шоссе, д. 1, кв. 1). Новое шоссе – ныне Тимирязевская ул. (дом не сохранился). Не исключено, что Мандельштамы могли бывать у Яхонтова и по адресу: Малая Бронная, д. 17/19, кв. 35, где артист жил осенью 1937 года. Адреса устанавливаются по архиву В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой (РГАЛИ, ф. 2440). К Е. Поповой обращены стихотворения «С примесью ворона – голуби...», «Стансы» («Необходимо сердцу биться...») и «На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь...» (все – 1937); искусству В. Яхонтова посвящен очерк «Яхонтов» (1927).

103. Мандельштам бывал у писателя Георгия Чулкова: Смоленский бул., д. 8. Дом не сохранился.

104. В 1930-е годы Мандельштам бывал у художника А.А. Осмеркина в д. 24 по ул. Мясницкой (с 1935 года – ул. Кирова, ныне – снова Мясницкая), кв. 105 (мастерская художника – кв. 118). В этом доме созданы А. Осмеркиным известные карандашные портреты Мандельштама 1937 года. Дом сохранился.

105. В эпиграмме начала 1930-х годов «Старик Моргулис – разумея-ка!..» (или «примечай-ка!..») упоминается поэт Н.К. Семейко, живущий на Трубной. Возможно, Мандельштам бывал там у Н. Семейко и А.О. Моргулиса, своего близкого знакомого. Адрес неизвестен. Относительно Н.К. Семейко данные справочников «Вся Москва», включая 1931 год, иные: «Семейко Ник. Корнил., литератор» назван живущим по адресу: Новослободская, 59, кв. 14.

106. Мандельштам бывал у поэта Э.Г. Багрицкого в Кунцеве. По данным «Всей Москвы» на 1929 и 1930 годы, Багрицкий жил в д. 17 по ул. Пионерской (ныне – ул. Баг-

рицкого). Дом не сохранился. Здесь Мандельштама встречал литератор И.С. Поступальский [677]. Здесь, по воспоминаниям Н. Мандельштам, сочинена мандельштамовская эпиграмма «Любил Гаврила папиросы...» (авторство Мандельштама оспаривается некоторыми исследователями, в частности А.Г. Мецем).

107. В 1931 году Н. Мандельштам начала работать в газете «За коммунистическое просвещение». В этой связи написана мандельштамовская эпиграмма-«моргулет» «Старик Моргулис под сурдинку...». Редакция газеты находилась по адресу: Большая Никитская, д. 12. Дом сохранился. В газете была впервые опубликована статья Мандельштама «К проблеме научного стиля Дарвина» (1932).

108. В 1932 или 1933 году поэт побывал со сценаристом Борисом Леонидовым на фабрике «Союзкино» (будущий «Мосфильм») – это была попытка привлечь Мандельштама к работе киностудии в качестве сценариста [678]. Фабрика «Союзкино» находилась на Потылихе (Воробьевы горы, ныне – ул. Мосфильмовская).

109. Политехнический музей. Здесь состоялся поэтический вечер Мандельштама 14 марта 1933 года. Имеются многочисленные воспоминания об этом вечере – Э. Герштейн, Н. Соколовой, Л. Горнунга, Л. Розенталя, Е. Осмеркиной-Гальпериной и др.

110. 3 апреля 1933 года состоялся поэтический вечер Мандельштама в клубе художников: Ветошный пр., д. 2. (за зданием ГУМа). Дом сохранился (см. воспоминания Л. Горнунга об этом выступлении) [679].

111. Одним из близких знакомых Мандельштама был поэт Г.А. Шенгели. Мандельштам бывал у него – во всяком случае, в начале 1930-х годов. В это время Георгий

Шенгели, по данным «Всей Москвы» на 1929–1931 годы, жил в Борисоглебском пер. – д. 15, кв. 10 [680] . Дом сохранился. С.И. Липкин в своих воспоминаниях «Вечер Шенгели» называет другой адрес – Малый Ржевский пер. , комната в квартире, хозяйкой которой «в первые годы революции» была М. Цветаева [681] . Вероятно, это ошибка: есть сведения, что Г. Шенгели действительно жил в квартире М. Цветаевой, но в 1922 г. (Борисоглебский пер., д. 6, кв. 3). Поскольку Большой Ржевский и Борисоглебский пер. соседствуют и идут параллельно друг другу, С.И. Липкин мог посчитать Борисоглебский Малым Ржевским.

112. Еще с дореволюционного «акмеистического» времени Мандельштам был дружен с поэтом Михаилом Зенкевичем. В начале 1920-х годов М.А. Зенкевич жил неподалеку от Пречистенки – в Обухове пер. (ныне – Чистый пер.), д. 8, кв. 9. Позднее М. Зенкевич проживал на Остоженке, д. 41, кв. 1. Дом сохранился. Последний адрес упомянут Мандельштамом в письме, написанном в середине мая [?] 1929 года в Федерацию объединений советских писателей и имеющем отношение к разбирательству конфликта вокруг перевода «Тилиа Уленшпигеля». Мандельштам просил вызвать в качестве одного из свидетелей «редактора ЗИФа Михаила Александровича Зенкевича (Москва, Остоженка, д. 41)». «В ЗИФе Зенкевич содействовал Мандельштаму и Лившицу (имеется в виду поэт Бенедикт Лившиц. – Л.В.) в получении переводов, которые тогда были главным источником заработка обоих... Зенкевич был редактором и в “Новом мире”, где тоже помогал Мандельштаму в осуществлении публикаций...» (И.С. Поступальский [682] ).

113. В 1933–1934 годах Мандельштам многократно бывал у сестер Марии Сергеевны и Екатерины Сергеевны

Петровых. Марии Петровых, поэтессе и переводчице, адресовано стихотворение «Мастерица виноватых взор- в...» (февраль 1934) и, возможно, «Твоим узким плечам под бичами краснеть...» (1934); к ней обращены шуточ- ные стихотворения «Уста запеклись и разверзлись чре- сла...», «Большевикам мил элеватор...», «Марья Сергеев- на, мне ужасно хочется...» и «Сонет» (все – <1933–1934> ). М.С. Петровых жила в комнате своей сестры Екатерины по адресу: Гранатный пер., д. 2/9, кв. 22. Адрес устанавливается по устным воспоминаниям Е.С. Петровых и до- чери М.С. Петровых А.В. Головачевой и подтверждается справочниками «Вся Москва» (квартира архитектора С.Б. Залесского). Дом сохранился. Э. Герштейн вспоминала, что поэт бывал у М. Петровых также и «где-то на Полян- ке, где жили ее родные...». Несомненно, имеется в виду 2-й Казачий пер., где М. Петровых жила у родителей до переезда (не позднее 1933 года) к сестре Екатерине.

114. Визит к С.И. Гусеву (Я.Д. Драбкину) (?), партий- ному деятелю, в ЦК ВКП(б). По свидетельству Н. Ман- дельштам, после 30 августа 1933 года Мандельштам об- ратился к С. Гусеву в связи с публикацией в «Правде» грубой и злобной статьи С. Розенталя о «Путешествии в Армению», незадолго перед тем появившемся в журнале «Звезда» (№ 5 за 1933 год). Однако поэт не мог встре- титься с С. Гусевым в это время, поскольку Гусев умер еще в июне 1933 года. Вероятно, Мандельштам побывал у какого-то другого партийного деятеля. Бывшее здание ЦК ВКП(б) – Старая пл., д. 4. Возможно, Мандельштам бывал здесь и у Н.И. Бухарина – например, в 1928 году, когда хлопотал об отмене смертного приговора членам правления «Общества взаимного кредита». Дом сохра- нился.

115. В Гранатном пер. Мандельштам бывал не только у М. Петровых, но и у поэта Н.А. Клюева (Гранатный пер., д. 12, кв. 3). Адрес упоминается в письмах Н. Клюева. Клюев жил здесь с 1932-го до ареста в 1934 году. О том, что Мандельштам бывал у Николая Клюева, сообщает, в частности, Э.Г. Герштейн. Дом не сохранился.

116. У С.В. Шервинского, поэта и переводчика, Мандельштам и Анна Ахматова слушали чтение трагедии Софокла «Эдип в Колоне» в переводе В.О. Нилендера. В связи с этим написана эпиграмма Мандельштама «Знакомства нашего на склоне...» (1934). Померанцев пер., д. 8, кв. 1.

117. 8 января 1934 года умер Андрей Белый. 9 января состоялась гражданская панихида в здании оргкомитета Союза советских писателей (ул. Воровского, д. 50; ныне улица снова носит досоветское название Поварская). В настоящее время – Центральный дом литераторов. Мандельштам присутствовал на гражданской панихиде, его впечатления отражены в цикле стихотворений на смерть Андрея Белого.

118. В феврале 1934 года Мандельштам посетил К. И. Чуковского в Кремлевской больнице. Об этом свидетельствует процитированная в книге запись в дневнике К. Чуковского от 10 февраля 1934 года. «Кремлевская больница» – ул. Воздвиженка, д. 6. Здание сохранилось.

119. В феврале – марте 1934 года Мандельштам вел переговоры с директором созданного в 1933 году Центрального музея художественной литературы, критики и публицистики (ЦМЛ) В.Д. Бонч-Бруевичем о продаже своего архива этому музею. Дело не состоялось; в связи с этой историей написана эпиграмма Мандельштама «На берегу эгейских вод...» (см. письмо Мандельштама В.

Бонч-Бруевичу от 21 марта 1934 г.). Архив был представлен в отдел рукописей и фольклора музея, который находился по адресу: ул. Рождественка, д. 5. Дом сохранился.

120. Мандельштам бывал в Государственном еврейском театре (ГОСЕТ): ул. Малая Бронная, д. 4. Ныне в этом здании – Театр на Малой Бронной. Поэт высоко ценил игру ведущего артиста ГОСЕТа С. Михоэлса (см. очерк «Михоэльс» (1926)). Мандельштам мог бывать у Михоэлса и в его доме. Артист жил в Большом Чернышевском пер. (позднее – ул. Станкевича, ныне – Вознесенский пер.), д. 12, кв. 3. Дом сохранился.

121. Театр Всеволода Мейерхольда (ГосТИМ). О посещениях этого театра упоминает Н. Мандельштам. Здание сохранилось в перестроенном виде – в настоящее время Концертный зал им. П.И. Чайковского.

122. Мандельштам любил Музей нового западного искусства, где мог видеть импрессионистов, Ван Гога, Сезанна и других близких ему художников: ул. Кропоткинская (ныне Пречистенка), д. 21. В настоящее время – Академия художеств. С посещениями этого музея связаны стихотворение «Импрессионизм» («Художник нам изобразил...», 1932) и глава «Французы» из «Путешествия в Армению».

123. Музей изобразительных искусств (до 1932 года – Музей изящных искусств; с 1937 года – Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Впечатления от живописи музея отразились в стихотворении «Еще далеко мне до патриарха...» (1931). Ул. Волхонка, 12.

124. Третьяковская галерея. О посещениях Третьяковской галереи Мандельштамом упоминают Э.Г. Герштейн и Н.Е. Штемпель. Лаврушинский пер., 10.

125. Мандельштам бывал в Московской консерватории. Л. Горнунг упоминает о том, что в консерватории он видел поэта в последний раз – это было 10 апреля 1933 года, когда А.Ф. Гедике играл Баха. В консерватории Мандельштам слушал В.В. Софроницкого, М.В. Юдину и других музыкантов. Ул. Большая Никитская, д. 13. Не исключено, что у знакомой ему пианистки М.В. Юдиной Мандельштам мог бывать и на дому. В конце 1920-х – начале 1930-х годов Юдина проживала в Сытинском тупике (д. 3, кв. 20; адрес из личного дела пианистки в архиве Московской консерватории).

126. Мандельштам не раз бывал в Марьиной Роще, где жили литературоведы В.Б. Шкловский (до 1937 года) и Н.И. Харджиев: Александровский (позднее – Октябрьский) пер., д. 43, кв. 4. Дом не сохранился. Соседом Н.И. Харджиева был также драматург Б.А. Вакс, «Вакс ремонтнодышащий...» (строка из несохранившегося шуточного стихотворения Мандельштама <нач. 1930-х годов>). Описание комнаты Н.И. Харджиева оставила Н.Е. Штемпель (цитировалось в книге).

127. Неподалеку от дома, где жили Шкловские и Харджиев, находилась и квартира поэта В.И. Нарбута, и Мандельштам бывал у него в 1920-е – начале 1930-х годов: Александровская (позднее – Октябрьская) ул., д. 8, кв. 18. Дом не сохранился. См. «Всю Москву» на 1927 год: «Нарбут Владимир Ив. Александровская ул., 8, кв. 18. Телефон: 1-26-46 (издательство "Земля и фабрика" и ЦК ВКП)». Позднее Нарбут жил по адресу: Курсовой пер., д. 15, кв. 17 [683] (где и был арестован в ночь с 26 на 27 октября 1936 года; дом сохранился) – т. е. неподалеку от Мандельштамов, у которых часто бывал.

128. По свидетельству литературоведа С.А. Макашина, Мандельштам был у него в редакции «Литературного наследства» в период воронежской ссылки. Поэт приехал в Москву нелегально, в поисках заработка. (Нелегальный приезд в Москву маловероятен; возможно, воспоминание Макашина относится к другому периоду жизни поэта.) Редакция «Литературного наследства» размещалась на Страстном бул., д. 11. Надо, однако, отметить, что о нелегальных приездах Мандельштама в Москву упоминала и В.Г. Шкловская-Корди.

129. В самое тяжелое время, в 1937–1938 годах, Мандельштамы находили приют и помощь в доме В.Б. Шкловского. С 1937 года Шкловские жили в «писательском» доме в Лаврушинском пер. (д. 17, кв. 47). После гибели поэта двери дома Шкловских всегда были открыты для Н. Мандельштам. В 1964 году Шкловским удалось прописать ее у себя в квартире. Шкловские сделали все для того, чтобы Н. Мандельштам получила свое жилье в Москве, и в 1965 году их (а также иных друзей и доброжелателей) усилия увенчались успехом (см. воспоминания В.Б. Шкловского, В.Г. Шкловской-Корди и В.В. Шкловской-Корди).

В этом же писательском доме в Лаврушинском пер. Мандельштамы бывали у В.П. Катаева и некоторых других писателей. Дом сохранился.

130. Одним из тех, кто предоставил приют не имеющему права жить в Москве после воронежской ссылки поэту, был литератор И.И. Бернштейн (литературное имя – Александр Ивич): Руновский пер., д. 4, кв. 1. Дом не сохранился. С 1946 года здесь тайно хранились рукописи, которые отдала А. Ивичу Н. Мандельштам, а с 1948 года – те рукописи, которые ему передал ее брат Е.Я. Хазин.

131. Н. Мандельштам в своих мемуарах упоминает приход к И.Э. Бабелю, который посоветовал Мандельштамам поселиться в Калининe (1937 год). Она запомнила, что в доме вроде бы жили иностранцы. Имеется в виду двухэтажный деревянный дом в Большом Николо-Воробинском пер., где Бабель проживал вместе с австрийским инженером Бруно Штейнером, представителем фирмы «Элин» [684]. Дом не сохранился – стоял на месте нынешнего д. 4.

132. По свидетельству М.Я. Шагинян, дочери Мариэтты Шагинян, она видела Мандельштама после воронежской ссылки в московской квартире В. Мейерхольда [685]. В.Э. Мейерхольд жил в Брюсовом пер., д. 12. Ныне в кв. 11 – Музей В.Э. Мейерхольда.

133. Мандельштамы могли рассчитывать на гостеприимство, а в трудное время – на помощь Льва Моисеевича Наппельбаума (архитектор, сын известного фотографа) и его жены, художницы Людмилы Константиновны: ул. Воровского (ныне снова Поварская), д. 12, кв. 1. Адрес сообщен вдовой Л.М. Наппельбаума Л.К. Наппельбаум (Корниловой). Н.Е. Штемпель вспоминала: «После концерта (В. Яхонтова, летом 1937 года. – Л.В.) мы вчетвером (Н.Е. Штемпель с мужем и Мандельштамы. – Л.В.), зайдя в гастроном и купив, кажется, ветчину и сухое вино, отправились на квартиру Наппельбаума, где остановились Мандельштамы (хозяева, очевидно, были на даче) [686]». Дом не сохранился.

134. Последняя московская квартира Мандельштама: ул. Фурманова (до 1926 года – Нащокинский пер., старое название возвращено), д. 3–5, кв. 26. (В ряде источников дом проходит под номером 5.) Пятый этаж. Мандельштамы въехали в эту квартиру в конце 1933 года

(не позднее октября). Здесь было написано стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...» (1933). С этим адресом связаны стихотворение «Квартира...» («Квартира тиха, как бумага...»), стихи памяти Андрея Белого, восьмистишия, редакция «Стихов о неизвестном солдате» (после возвращения из Воронежа в 1937 году) и др. (см. воспоминания Н.Я. Мандельштам, Э.Г. Герштейн, А.А. Ахматовой и другие мемуары). Здесь Мандельштам был арестован в мае 1934 года. Дом не сохранился.

135. Дом Союза советских писателей: ул. Воровского (ныне – снова Поварская), д. 52. Поэт бывал здесь у В. Ставского, А. Суркова и других руководителей писательского союза. Дом сохранился.

136. В 1930-е годы Мандельштам неоднократно бывал в Государственном издательстве художественной литературы (ГИХЛ) (см. воспоминания Н. Мандельштам, Л. А. Озерова и др.). Поэт выступал здесь на диспуте о так называемой «научной поэзии». В начале марта 1938 года Мандельштам писал В.П. Ставскому: «Уважаемый тов. Ставский! Сейчас т. Луппол объявил мне, что никакой работы в Гослитиздате для меня в течение года нет и не предвидится». И.К. Луппол был одним из руководителей ГИХЛа. ГИХЛ располагался по адресу: ул. Никольская (с 1935 года – ул. 25 Октября, ныне – снова Никольская), д. 10/2. Дом сохранился.

137. Бутырская тюрьма: Новослободская ул., д. 45. Здесь Мандельштам пробыл около месяца в 1938 году. Он был помещен в тюрьму после вынесения приговора и находился в Бутырках до отправления по этапу в лагерь на Дальний Восток. Ныне – следственный изолятор (СИЗО) № 2.

138. Московская квартира Н. Мандельштам, где она прожила последние годы жизни (с 1965 по 1980) и писала свои воспоминания. Однокомнатную кооперативную квартиру удалось получить благодаря помощи друзей и доброжелателей. В 1960-е годы адрес Н. Мандельштам был таким: Большая Черемушкинская ул., д. 50, корпус 1, кв. 4. Современный адрес: Большая Черемушкинская ул., д. 14, корпус 1, кв. 4. (Нумерация дома была изменена не позднее начала 1970 года – см. письмо Н.Е. Штемпель Д. П. Заславскому от 31 января 1970 года [687] .) Дом сохранился.

139. Церковь Знамения Богородицы, где 2 января 1981 года отпевали Н. Мандельштам: ул. Фестивальная, д. 6, неподалеку от станции метро «Речной вокзал». Церковь действует.

140. Кунцевское кладбище (старая часть). Здесь находится могила Н. Мандельштам и установлен памятный камень (кенотаф) О. Мандельштаму. Деревянный крест на могиле и кенотаф работы скульптора Д.М. Шаховского. Сюда привезена из Владивостока и захоронена земля, извлеченная из братской могилы заключенных-лагерников. Кладбище расположено у Рябиновой ул.

Часть вторая

## **I. Кремль**

Наиболее значимые упоминания в стихах: «В разноголосице девического хора...» (1916), «О, это воздух, смутой пьяный...» (1916), «Все чуждо нам в столице непотребной...» (1918), «Сегодня можно снять декалькомани...» (1931), «Мы живем, под собою не чуя страны...» (1933), «Средь народного шума и спеха...» (1937).

Проза: очерки «Первая международная крестьянская конференция. набросок» и «Международная крестьянская конференция» (оба – 1923).

## **II. Красная пл.**

Стихи: «Наушнички, наушники мои!..» (1935), «Да, я лежу в земле, губами шевеля...» (1935), «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...» (1937).

Проза: «Четвертая проза» (1929–1930).

## **III. Воробьевы горы**

Стихи: «На розвальнях, уложенных соломой...» (1916), «Сегодня можно снять декалькомани...» (1931).

Проза: «Борис Пастернак» (1922–1923).

## **IV. Театральная пл.**

Стихи: «Когда в теплой ночи замирает...» (1918).

Проза: «Холодное лето» (1923).

## **V. Сухаревская пл.**

Стихи: «Все чуждо нам в столице непотребной...» (1918).

Проза: «Сухаревка» (1923).

## **VI. Бульварное кольцо (в особенности Тверской бул.)**

Стихи: «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...» (1931), «Нет, не спрятаться мне от великой мур» (1931).

Проза: «Холодное лето» (1923), «Четвертая проза» (1929–1930).

## **VII. Музей нового западного искусства (Пречистенка, 21)**

Стихи: «Импрессионизм» (1932).

Проза: «Путешествие в Армению» (1931–1932).

## **VIII. Музей изящных искусств**

(ныне Музей изобразительных искусств им. Пушкина – Волхонка, 12)

Стихи: «Еще далеко мне до патриарха...» (1931).

## **IX. Замоскворечье**

Проза: «Путешествие в Армению» (1931–1932).

## **X. Парк культуры и отдыха им. А.М. Горького**

Стихи: «Там, где купальни, бумагопрядильни...» (1932).

## **XI. Москва-река**

Стихи: «Все чуждо нам в столице непотребной...» (1918), «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..» (1931), «Сегодня можно снять декалькомани...» (1931), «Там, где купальни, бумагопрядильни...» (1932).

Проза: «Холодное лето» (1923), «Четвертая проза» (1929–1930), «Путешествие в Армению» (1931–1932).

## **XII. Станции первой линии метро**

(от «Сокольников» до «Парка культуры»)

Стихи: «Наушнички, наушники мои!..» (1935).

Проза: «Стихи о метро» (1935).

## **XIII. Последняя квартира Мандельштама в Москве**

Ул. Фурманова (ныне – Нащокинский переулок), д. 3–5

Стихи: «Квартира тиха, как бумага...» (1933).

Часть третья

**А** . Памятник О.Э. Мандельштаму (скульпторы Д.М. Шаховской и Е.В. Мунц, архитектор А.С. Бродский): ул. Забелина (вблизи перекрестка со Старосадским пер.). Открыт в 2008 г.

**Б** . Мемориальная доска О.Э. Мандельштаму (скульптор Д.М. Шаховской). Открыта в 1991 году. Литературный институт им. А.М. Горького: Тверской бул., 25.

**В** . Могила Н.Я. Мандельштам и кенотаф О.Э. Мандельштама на Кунцевском кладбище (у Рябиновой ул.). Деревянный надгробный крест и камень-кенотаф (скульптор Д.М. Шаховской). Поставлены в 1981 году.

**Г** . Библиотека № 97 им. О.Э. Мандельштама. Звездный бул., 4.

**Д** . Мандельштамовское общество и Кабинет мандельштамоведения при Научной библиотеке Российского государственного гуманитарного университета. Главный корпус РГГУ (ул. Чайнова, д. 15, комн. 423).

**Е** . Российский государственный архив литературы и искусства. Крупнейшее в России хранение рукописей О.Э. Мандельштама. Имеется личный фонд поэта. Выборгская ул., д. 3, к. 2.

**Ж** . Отдел рукописных фондов Государственного литературного музея РФ. Место хранения рукописей О.Э. Мандельштама. Имеется личный фонд поэта. Денежный пер., д. 9/5.

**З** . Отдел рукописей Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук. Место хранения рукописей О.Э. Мандельштама. Имеется личный фонд поэта. Ул. Поварская, д. 25А.

**И** . Квартира Н.Я. Мандельштам. Большая Черемуш-кинская ул., д. 14, к. 1, кв. 4.

**К** . Место отпевания Н.Я. Мандельштам. Церковь Знамения Богородицы. Ул. Фестивальная, д. 6.

#### Примечания

1

Стихи Мандельштама, проза и письма (в том числе черновые варианты и т. п.) цит. по кн.: Мандельштам О. Э. Полн. собр. соч. и писем в 3 т. / Сост. А.Г. Мец. М., 2009–2011.

2

Ардов М.В. Не «поэтесса». Поэт! Из бесед с Анной Ахматовой // Литературная газета. 1989. № 1 (4 января). С. 5.

3

Аверинцев С.С. «Город изгнания, город беды...» // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы. Записки Мандельштамовского общества. М., 2010. Вып. 17. С. 132.

4

В тексте «Разговора о Данте» в Собрании сочинений Мандельштама в 4 т. (Т. 3. М., 1993–1997): «милые». – Здесь и далее примеч. авт.

5

В том же издании: «вытянуты в чудовищные кольца».

6

Курсив мой. – Л.В.

7

Сведения разделов «Исторический и городской фон» приводятся по материалам изданий: XX век: хроника московской жизни 1911–1920 гг. М., 2002; Хроника России. XX век. М., 2002; Вострышев М.И. Москва сталинская. Большая иллюстрированная летопись. М., 2008; Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху (20–30-е годы). М., 2003; и др.

8

Мец А.Г. Комментарии // Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем в 3 т. М., 2009–2011. Т. 1. С. 554.

9

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. М., 1999. С. 426.

10

Штемпель Н.Е. Мандельштам в Воронеже. Воспоминания. М., 1992. С. 18.

11

Милославский Ю.Г. Иерусалимская пасха // Литературная газета. 1991. № 13 (3 апреля). С. 15.

12

Швейцер В.А. Быт и бытие Марины Цветаевой. М., 1992. С. 156–157.

13

Цветаева М.И. История одного посвящения // Осип Мандельштам и его время. М., 1995. С. 102.

14

Цветаева М.И. Собр. соч.: в 7 т. М., 1994–1995. Т. 1. С. 269.

15

Цветаева М.И. История одного посвящения. С. 91.

16

Цветаева М.И. Собр. соч. Т. 1. С. 253–254.

17

Там же. С. 254–255.

18

Там же. С. 252.

19

Там же. С. 259.

20

Швейцер В.А. Быт и бытие... С. 162–163.

21

Цветаева М.И. Собр. соч. Т. 1. С. 258–259.

22

Мец А.Г. Комментарии. С. 553.

23

Цветаева М.И. Собр. соч. Т. 1. С. 265–267.

24

Тарановский К.Ф. Почва и судьба. Третий Рим. Молчание. Поэт в могиле // Тарановский К.Ф. О поэзии и поэтике. М., 2000. С. 170.

25

Аверинцев С.С. Пастернак и Мандельштам: опыт сопоставления // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы. Записки Мандельштамовского общества. М., 2010. Вып. 17. С. 35.

26

Отметим одно из ключевых понятий для Мандельштама, особенно раннего, в этом тексте.

27

Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 15 т. Л., 1989–1996. Т. 8. С. 596.

28

Тоддес Е.А. Поэтическая идеология // Литературное обозрение. 1991. № 3. С. 33.

29

Бартенев С.П. Большой Кремлевский дворец, дворцовые церкви и придворные соборы: указатель к их обозрению. М., 1916. С. 91, 99.

30

XX век: хроника московской жизни. 1911–1920 гг. М., 2002. С. 325.

31

Цит. по кн.: Мец А.Г. Комментарии. С. 683.

32

Цветаева М.И. Собр. соч. Т. 1. С. 263.

33

Цит. по кн.: Паламарчук П.Г. Сорок сороков. М., 1992. Т. 1. С. 91.

34

Цит. по кн.: Мандельштам О.Э. Собр. соч. в 4 т. Т. 1. М., 1993. С. 168.

35

Цит. по кн.: Швейцер В.А. Быт и бытие... С. 165.

36

О.Э. Мандельштам в записях дневника и переписке С.П. Каблукова // Мандельштам О.Э. Камень. Л., 1990. С. 256. (Литературные памятники).

37

Цветаева М.И. История одного посвящения. С. 101.

38

О.Э. Мандельштам в записях дневника... С. 254–255.

39

Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина.

40

Купченко В.П. Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877–1916. СПб., 2002. С. 389.

41

Чурилин имеет в виду свои встречи с Велимиром Хлебниковым (у Чурилина – Велемир); «Весна» – сборник

Т. Чурилина «Весна после смерти», изданный в Москве в 1915 году.

42

Упоминание о последней встрече в марте противоречит тому, что было выше написано об апреле, но так у Т. Чурилина.

43

Чурилин Т.В. Встречи на моей дороге // Лица. Биографический альманах. СПб., 2004. Т. 10. С. 459–460.

44

В некоторых изданиях (см., например: Мандельштам О.Э. Стихотворения. Проза. М., 2001) девятый стих звучит иначе: «Ее церковей благоуханны соты...».

45

Гинзбург Л.Я. Поэтика Осипа Мандельштама // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1972. Т. XXXI. Вып. 4. С. 309–326.

46

Первое ударение в стихотворении.

47

Последнее ударение в стихах.

48

Кюстин, А. де. Николаевская эпоха. Воспоминания французского путешественника. М., 1910. С. 84–85.

49

Гаспаров М.Л. Примечания // Мандельштам О.Э. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 771.

50

Орфография и пунктуация газетной статьи.

51

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 39–40.

52

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений. При участии Д.И. Зубарева и Н.Л. Поболя. М., 2010. С. 46.

53

Там же.

54

Нерлер П.М. Мандельштам в Наркомпросе // Вопросы литературы. 1989. № 9. С. 276.

55

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 123–124.

56

Лекманов О.А. Осип Мандельштам: жизнь поэта. М., 2009. С. 103–104.

57

Dawn, twilight – рассвет, вечерние сумерки (англ.);  
Freiheitsdämmerung, Götterdämmerung – сумерки свободы,  
сумерки богов (нем.).

58

Ронен О. «Сумерки свободы». Опыт академического комментария / О. Ронен, М.Л. Гаспаров. // Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002. С. 130–131.

59

Чистова И.С. «Смерть поэта» // Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 513.

60

Имеются в виду книги, которые были у Мандельштама вплоть до его второго ареста в 1938 году.

61

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 292–293.

62

Тютчев Ф.И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1988. С. 109.

63

Там же. С. 90.

64

Ахматова А.А. После всего. М., 1989. С. 36.

65

Видгоф Л.М. Московская встреча с Анной Ахматовой; Рыбина Л.А. Дом в Третьем Зачатьевском // «Сохрани мою речь...». М., 2008. Вып. 4. Полутом 1. С. 183–202. (Записки Мандельштамовского общества).

66

Лукницкий П.Н. Asimiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. I. 1924–1925 гг. Paris, 1991. С. 34; Т. II. 1926–1927 гг. Париж – М., 1997. С. 78.

67

Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). М.; Torino, 1996. С. 136–137.

68

Ахматова А.А. Дополнения к «Листкам из дневника»  
// Requiem. М., 1989. С. 147.

69

Ахматова А.А. Листки из дневника // Requiem. С.  
130.

70

Анреп Б.В. О черном кольце // Литературное обо-  
зрение. 1989. № 5. С. 61.

71

Ахматова А.А. Requiem. С. 159.

72

Мец А.Г. Осип Мандельштам и его время. Анализ  
текстов. СПб., 2005. С. 75–76.

73

Ронен О., Гаспаров М.Л. «Сумерки свободы». С. 131.

74

Эренбург И.Г. Портреты современных поэтов. М.,  
1923. С. 52.

75

Цит. по кн.: Нерлер П.М. Мандельштам в Нарком-  
просе. С. 278.

76

Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М., 2000. С. 16.

77

Мандельштам цитирует поэму Пушкина «Цыганы»;  
речь идет об Овидии.

78

Осип Мандельштам в «Мемуарах» Рюрика Ивнева // «Сохрани мою речь...». М., 1991. Вып. 1. С. 43.

79

Левин В.М. Есенин в Америке. Цит. по ст.: Леонтьев Я.В. Человек, застреливший императорского посла. К истории взаимоотношений Блюмкина и Мандельштама // «Сохрани мою речь...». М., 2008. Вып. 4. Полутом 2. С. 132.

80

Мариенгоф А.Б. Мой век, мои друзья и подруги // Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990. С. 137.

81

Ходасевич В.Ф. Некрополь. Воспоминания. Цит. по ст.: Леонтьев Я.В. Указ. соч. С. 133.

82

Леонтьев Я.В. Указ. соч. С. 135.

83

Там же. С. 136.

84

Блюмкин.

85

В.А. Александрович входил в коллегию ВЧК от партии левых эсеров.

86

От ЦК левых эсеров.

87

Красная книга ВЧК. В 2 т. 2-е изд. М., 1989. Т. 1. С. 257.

88

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 131.

89

По сведениям из «Польского биографического словаря»: Polski Słownik Biograficzny. Т. XXIX/2, Zeszyt 121. Wrocław: Warszawa: Kraków: Gdańsk: Łódź, 1986. S. 418–421.

90

Аброскина И.И. Литературные кафе 20-х годов // Встречи с прошлым: сб. материалов ЦГАЛИ СССР. М., 1978. Вып. 3. С. 174–175.

91

Анна Ахматова.

92

Гинзбург Л.Я. Из старых записей // Осип Мандельштам и его время. М., 1995. С. 275.

93

Леонтьев Я.В. Указ. соч. С. 135.

94

Красная книга ВЧК: Т. 1. С. 256.

95

Мариенгоф А.Б. Мой век, мои друзья и подруги. С. 130.

96

- Краевский Б.П. Тверской бульвар, 25. М., 1982. С. 46.
- 97
- Там же.
- 98
- Чуковский Н.К. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 160–161.
- 99
- Горнунг Л.В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж, 1990. С. 29.
- 100
- Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М., 1999. С. 127.
- 101
- Горнунг Л.В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме. С. 29–30.
- 102
- Там же. С. 35.
- 103
- Пришвин М.М. Сопка Маира // Осип Мандельштам и его время. М., 1995. С. 208–209.
- 104
- Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 98.
- 105
- Писатель М.А. Булгаков; имеется в виду эпизод из романа «Мастер и Маргарита».

106

Там же. С. 125–126.

107

Жакт – жилищно-арендное кооперативное товарищество.

108

Иванов Е.П. Меткое московское слово. М., 1985. С. 279.

109

В собрании сочинений Мандельштама в 4 т. (Т. 2. М., 1993): «императрица».

110

Его «мыслящее тело» не умрет... Воспоминания Христины Бояджиевой о пяти встречах с Осипом Мандельштамом // Знамя. 2011. № 1. С. 178.

111

Шершеневич В.Г. Великолепный очевидец. Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги. С. 638–639.

112

Шумихин С.В. Комментарий // Мой век, мои друзья и подруги. С. 722–723.

113

Рогинский Я.Я. Встречи в Воронеже // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воспоминания. Материалы... С. 43.

114

Кузин Б.С. Об О.Э. Мандельштаме // Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка. Мандельштам Н.Я. 192 письма к Б.С. Кузину. СПб., 1999. С. 154–155.

115

Бессонов В.А., Янгиров Р.М. Большой Гнезниковский переулочек, 10. М., 1990.

116

Миндлин Э.Л. Необыкновенные собеседники. М., 1979. С. 103–105.

117

Галушкин А.Ю. Из разысканий об О.Э. Мандельштаме // «Сохрани мою речь...». Записки Мандельштамовского общества. М., 2008. Вып. 4. Полутом 1. С. 174.

118

[Без подписи.] «Литературное приложение» к «Накануне». № 8, 1922. С. 11. Цит. по кн.: Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. Библиография. М., 2005. Т. 1. Ч. 2: Москва и Петроград. 1921–1922 гг. С. 418.

119

Галушкин А.Ю. Из разысканий об О.Э. Мандельштаме. С. 174–175.

120

МАФ – Московская ассоциация футуристов, «Лирический круг» – литературное объединение, членами которого были, в частности, Анна Ахматова и Мандельштам.

121

Там же. С. 175.

122

Тарановский К.Ф. «Сеновал». О замкнутой и открытой интерпретации поэтического текста // О поэзии и поэтике. С. 41.

123

Фет А.А. Стихотворения. М., 1979. С. 149.

124

Тютчев Ф.И. Указ. соч. М., 1988. С. 53.

125

Гаспаров М.Л. «Сеновал» О. Мандельштама: история текста и история смысла // Тыняновский сборник. М., 2002. Вып. 11. Девятые Тыняновские чтения. С. 380.

126

Ронен О. Заумь за пределами авангарда // Поэтика Осипа Мандельштама. С. 80–95.

127

Гостиница для путешественников в прекрасном. 1922. № 1. С. 2.

128

Гороховская Е.А., Желтова Е.Л. Советская авиационная агиткампания 20-х гг.: идеология, политика и массовое сознание // Вопросы истории естествознания и техники. 1995. № 3. С. 64.

129

Там же.

130

Там же. С. 65.

131

Авиация. Энциклопедия. М., 1994. С. 390.

132

У Мандельштама.

133

Успенский Б.А. Анатомия метафоры у Мандельштама  
// Избр. труды. М., 1994. Т. 2. С. 251, 247.

134

Там же. С. 253.

135

«Красное и черное» (фр.).

136

Толлер.

137

Морозов А.А. Примечания // Мандельштам О.Э. Шум  
времени. Литературные мемуары. М., 2002. С. 283.

138

Стратановский С.Г. Что такое «щучий суд»? О сти-  
хотворении Мандельштама «1 января 1924» // Звезда.  
2008. № 12. С. 185.

139

Тютчев Ф.И. Указ. соч. С. 166.

140

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 213.

141

См.: Ronen O. The Structure and Meaning of 1 January 1924 // O. Ronen. An Approach to Mandel'stam. Jerusalem, 1983.

142

Ахматова А.А. Десятые годы. М., 1989. С. 243.

143

Хлебников В.В. Творения. М., 1986. С. 165.

144

Булгаков М.А. Под пятой // Слово. 1995. № 7–8. С. 60.

145

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 135.

146

Брат Александр.

147

В Петрограде.

148

Мандельштам Е.Э. Воспоминания // Новый мир. 1995. № 10. С. 157–158.

149

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 140–142.

150

Кузин Б.С. Об О.Э. Мандельштаме. С. 167.

151

«Вся Москва» на 1917 г. Раздел 4-й: Алфавитный список улиц города Москвы. Стб. 255.

152

Сегал Р.Л. Из воспоминаний // «Сохрани мою речь...». Записки Мандельштамовского общества. М., 1993. Вып. 2. С. 27.

153

Видгоф Л.М. Москва Мандельштама. М., 2006. С. 95–97.

154

Лобовская М.А. Путеводитель по еврейской Москве / Москва еврейская. М., 2003. С. 46.

155

Сегал Р.С. Указ. соч. С. 27.

156

«Любил, но изредка чуть-чуть изменял». Записки Н. Я. Мандельштам на полях американского «Собрания сочинений» Мандельштама // Philologica. М.: 1997. Т. 4, № 8–10. С. 183.

157

Сегал Р.С. Указ. соч. С. 27.

158

Нерлер П.М. Даты жизни и творчества [О.Э. Мандельштама] // Мандельштам О.Э. Собр. соч. в 4 т. Т. 4. М., 1993–1997. С. 450.

159

Гурвич Э.С. Что помнится // «Сохрани мою речь...». М., 1991. Вып. 1. С. 39–40.

160

Лекманов О.А. Указ. соч. С. 159–186.

161

Гладков А.К. Поздние вечера. М., 1986. С. 323.

162

Лукницкий П.Н. Из дневника // Лукницкая В.К. Перед тобой земля. Л., 1988. С. 81–82.

163

Имеется в виду здание редакции «Московского комсомольца».

164

Белицкий Я.М., Глезер Г.Н. Москва незнакомая. М., 1993. С. 317.

165

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. // Мандельштам Н.Я. Третья книга. / сост. Ю.Л. Фрейдин. М., 2006. С. 247.

166

Михайлов А.Д., Нерлер П.М. Комментарии // Мандельштам О.Э. Собр. соч. в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 509.

167

Катаев В.П. Растратчики // Собр. соч. в 10 т. Т. 2. М., 1983. С. 26, 58, 64, 107.

168

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 146.

169

Неточность Н.Я. Мандельштам: А.А. Мандельштам родился в ноябре 1931 года.

170

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. // С. 245–246.

171

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 545.

172

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 777.

173

Липкин С.И. Угль, пылающий огнем // Квадрига. М., 1997. С. 389.

174

Лекманов О.А. Указ. соч. С. 204–206.

175

Черашняя Д.И. Поэтика Осипа Мандельштама. Субъектный подход // Записки Мандельштамовского общества. Ижевск, 2004. Вып. 12. С. 214–215.

176

Ходасевич В.Ф. Отплытие на остров Цитеру // Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991. С. 605.

177

Гаспаров М.Л. Примечания С. 778.

178

Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Новое собрание. М., 1999. С. 138.

179

Пастернак Б.Л. Собр. соч. в 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 401.

180

Тиртей – греческий поэт VII в. до н. э., певец воинской доблести.

181

Городецкий Л.Р. Текст и мир на листе Мебиуса: языковая геометрия Осипа Мандельштама versus еврейская цивилизация. М., 2008. С. 308.

182

Там же. С. 306.

183

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 253.

184

Сегал Р.С. Указ. соч. С. 27–28.

185

«Вся Москва» на 1929 г. Алфавитный указатель лиц, упомянутых в справочнике. С. 225.

186

Архив Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Ф. 726, оп. 305, д. 3945.

187

Липкин С.И. Указ. соч. С. 393–394.

188

Черашняя Д.И. Автор и герой: кто и что играл наизусть в стихотворении «Жил Александр Герцович...»? [статья написана в соавторстве с Ю. Толкачем] // Поэтика Осипа Мандельштама. Субъектный подход; Кац Б.А. В сторону музыки. Из музыковедческих примечаний к стихам О.Э. Мандельштама // Литературное обозрение. 1991. № 1; Кац Б.А. Песенка о еврейском музыканте: шутка или кредо? К подтекстам и интерпретациям стихотворения «Жил Александр Герцович...» // Музыкальные ключи к русской поэзии. СПб., 1997; Фэвр-Дюпэгр А. Осип Мандельштам – поэт-музыкант: представление новой книги [доклад на Мандельштамовских чтениях во Владивостоке, проходивших 18–20 сентября 2006 г.]; Faivre Dupaigne A. Poïtes-musiciens. Cendrars, Mandelstam, Pasternak. Rennes, 2006.

189

Тютчев Ф.И. Указ. соч. С. 106.

190

Полонский Я.П. Лирика. Проза. М., 1984. С. 54–55.

191

Маяковский В.В. Собр. соч. в 12 т. М., 1978. Т. 10. С. 23.

192

Сошкин Е.П. Жил Александр Герцович... Материалы для комментария // «Сохрани мою речь...». Записки Мандельштамовского общества. Выпуск 5. Полутом 2. М., 2011. С. 423–424.

193

Лекманов О.А. Указ. соч. С. 163.

194

Villon Francois. Poésies complètes. Paris, 1964. P. 188.

195

Вийон Ф. Полн. собр. поэтических соч. М., 1998. С. 416.

196

Фрейдин Г. Осип Мандельштам: история и миф (1930–1938) // Русская литература XX века. Исследования американских ученых. СПб., 1993. С. 354 (примеч. 31).

197

Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем в 3 т. Т. 2. С. 465.

198

Кац Б.А. Песенка о еврейском музыканте: шутка или кредо? С. 224–250.

199

Липкин С.И. Указ. соч. С. 376–377.

200

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 780.

201

Баратынский Е.А. Стихотворения и поэмы. М., 1982. С. 154.

202

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 780.

203

Ronen O. A Beam upon the Axe: Some Antecedents of Osip Mandel'stam's "Umyvalsja noc'ju na dvore..." // Slavica Hierosolimitana. 1977. Vol. 1. P. 176.

204

В этом месте «Жития», заметим, «струб» соседствует с плахой, как в стихотворении Мандельштама.

205

Житие протопopa Аввакума // Пустозерская проза. М., 1989. С. 47 и 75–76.

206

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 779.

207

Липкин С.И. Указ. соч. С. 381.

208

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 259–260.

209

Мандельштам Н.Я. Комментарии к стихам 1930–1937 гг. // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воспоминания. Материалы к биографии... С. 210 (примеч. 1).

210

Врата молитвы (сидур [молитвенник]). Иерусалим; М., 5754–1993. С. 52, 33.

211

Липкин С.И. Указ. соч. С. 397.

212

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. М., 1995. С. 577–578.

213

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме // Наше наследие. 1989. Вып. V. С. 112.

214

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 272.

215

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 775.

216

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 107.

217

Мец А.Г. Комментарии. С. 601–602.

218

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 546.

219

Нерлер П.М. Даты жизни и творчества [О.Э. Мандельштама]. С. 453.

220

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 548.

221

Мец А.Г. Комментарии. С. 605.

222

Дутли Р. 1. Еще раз о Франсуа Вийоне. 2. Хлеб, икра и божественный лед: о значении еды и питья в творче-

стве Мандельштама // «Сохрани мою речь...». Сборник Мандельштамовского общества. Вып. 2. С. 77–80.

223

Липкин С.И. Указ. соч. С. 378 и 385.

224

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 547.

225

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 107.

226

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 93. Л. 51. Цит. по ст.: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа // Вопросы литературы. 1990. № 4. С. 241.

227

Лесков Н.С. Повести и рассказы. М., 1981. С. 121.

228

Лекманов О.А. Указ. соч. С. 209.

229

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 278.

230

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 107.

231

Предлагаемое С. Василенко прочтение стиха 54:  
«Есть блуд труда, как есть и блуд крови...»

232

Черашняя Д.И. Московские белые стихи как смысловое единство // Поэтика Осипа Мандельштама. Субъектный подход. С. 148.

233

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 107.

234

Алымов С.Я. В кругу Москвы // Красная нива. 1927. № 33. С. 8.

235

Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920–1930-е годы. М., 2003. С. 16.

236

Черашняя Д.И. Московские белые стихи как смысловое единство. С. 166.

237

Левин И.И. Арбат. Один километр России. М., 1997. С. 132–133.

238

Фрейдин Ю.Л. Мандельштам (Хазина) Н.Я. // Осип Мандельштам, его предшественники и современники. Сб. материалов к Мандельштамовской энциклопедии (Записки Мандельштамовского общества). М., 2007. Вып. 11. С. 100.

239

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 109.

240

Мец А.Г. Комментарии. С. 600.

241

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 109.

242

Там же. С. 110.

243

Слово и судьба. Осип Мандельштам: исследования и материалы. М., 1991. С. 84.

244

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 109.

245

Горнунг Б.В. Заметки к биографии О. Мандельштама // «Сохрани мою речь...». Вып. 3. Ч. 2. С. 157–158.

246

В томе 3 собрания сочинений О. Мандельштама в четырех томах (М., 1993–1997) после посвящения Б.С. Кузину следует эпиграф:

*Denn die Jahre fliehn,  
Und es wird der Saft der Reben  
Uns nicht lange glühn!*

*Ewald Christian Kleist*

(«Друг! Не упusti [в суете] самое жизнь. / Ибо годы летят /И сок винограда / Недолго еще будет нас горячить!» Эвальд Христиан Клейст; нем.)

247

Киршбаум Г. «Валгаллы белое вино...». Немецкая тема в поэзии О. Мандельштама. М., 2009. С. 279.

248

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 298.

249

Липкин С.И. Указ. соч. С. 390–391.

250

Мец А.Г. Комментарии С. 608–609.

251

Алымов С.Я. Указ. соч. С. 8.

252

Н. Мандельштам отсылает читателя к строке из стихотворения 1918 года «Все чуждо нам в столице непотребной»: «Удельной речки мутная водица».

253

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 280–281.

254

Милицейских.

255

Там же. С. 291, 295.

256

Цит. по кн.: Вострышев. М.И. Москва сталинская. Большая иллюстрированная летопись. М., 2008. С. 305. Связь между газетной заметкой в «Вечерней Москве» и стихами Мандельштама отмечена в книге О.А. Лекманова «Осип Мандельштам: жизнь поэта» (с. 217).

257

Успенский Ф.Б. *Habent sua fata libellulae* («Дайте Тютчеву стрекозу...») // Три догадки о стихах Осипа Мандельштама. М., 2008.

258

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 787.

259

Баратынский Е.А. Указ. соч. С. 36–37, 62, 101, 226, 146.

260

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 786.

261

Батюшков К.Н. Прогулка по Москве // Очерки московской жизни. М., 1962. С. 9, 13–14.

262

Там же. С. 13.

263

Имеется в виду В.В. Гиппиус, поэт и литературный критик, преподаватель Тенишевского училища в Петербурге, в котором Осип Мандельштам учился в 1899–1907 годах.

264

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 295.

265

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 111.

266

Горнунг Л.В. Встреча за встречей // Литературное обозрение. 1989. № 6. С. 71.

267

Жолковский А.К. Еще раз о мандельштамовском «Ламарке». Так как же он сделан? // Вопросы литературы. 2010. Вып. 2 (март – апрель). С. 150–182.

268

Игошева Т.В. Ламарк // Осип Мандельштам, его предшественники и современники. С. 86.

269

Иванов Г.В. Петербургские зимы // Осип Мандельштам и его время. М., 1995. С. 70.

270

Игошева Т.В. Указ. соч.; Корецкая И.В. Об одном стихотворении Мандельштама // Над страницами русской поэзии и прозы начала века. М., 1995.

271

Гаспаров Б.М. Ламарк, Шеллинг, Марр (стихотворение «Ламарк» в контексте переломной эпохи) // Литературные лейтмотивы. Очерки по русской литературе XX века. М., 1993. С. 190.

272

Игошева Т.В. Указ. соч. С. 87.

273

Так иронически переименовывает Белинский имя Гегеля: Георг Вильгельм Фридрих.

274

Белинский В.Г. Полн. собр. соч. в 13 т. М., 1956. Т. 12. С. 22–23.

275

Кузин Б.С. Об О.Э. Мандельштаме. С. 155.

276

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 106.

277

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников // Сост. О.С. Фигурнова, М.В. Фигурнова. М., 2002. С. 72.

278

Липкин С.И. Указ. соч. С. 380.

279

Там же. С. 380–381.

280

С. Бородин стал членом партии в 1943 году.

281

Саргиджан.

282

Имеется в виду Саргиджан.

283

Волькенштейн Ф.Ф. Товарищеский суд по иску Осипа Мандельштама // «Сохрани мою речь...». Вып. 1. М., 1991. С. 55–56.

284

Тагер Е.М. Из воспоминаний // Наше наследие. 1988. Вып. VI. С. 104.

285

Цит. по кн.: Михайлов А.Д., Нерлер П.М. Комментарии. С. 502.

286

Имеется в виду стихотворение «К немецкой речи».

287

Гладков А.К. Указ. соч. С. 321.

288

Попова Е.Е. Дневник и другие записи // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 130, 149.

289

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 428–429.

290

О том, что Мандельштам писал Сталину, нет сведений.

291

Цит. по кн.: Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. СПб., 2005. С. 184–185.

292

Это явная описка, стихи написаны летом 1933-го.

293

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 47.

294

Так у С. Липкина.

295

Липкин С.И. Указ. соч. С. 398.

296

В это время В.Н. Яхонтов трудился над композицией «Петербург» по произведениям Пушкина, Гоголя и Достоевского.

297

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440, Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 7. С. 239–240.

298

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 133.

299

В комнату Мандельштамов на Покровке.

300

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 108.

301

Портной Петрович – персонаж повести Гоголя «Шинель».

302

В четырехтомнике О. Мандельштама, т. 2 (1993), с. 461: «удаётся».

303

Новый мир. 1995. № 1. С. 207.

304

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 325.

305

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 106.

306

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 285.

307

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 46.

308

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 82. Л. 1.

309

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 199.

310

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 93. Л. 51. Цит. по: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа. С. 241–242.

311

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 150. Цит. по кн.: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа. С. 241.

312

Очевидно, имеются в виду стихи из «армянского» цикла.

313

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 151. Цит. по кн.: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа. С. 240.

314

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 476. Л. 21.

315

Имеется в виду Союз писателей.

316

Так в рукописи; видимо, имеется в виду «голосом» или «с голоса».

317

В скобках примечание Поповой.

318

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 158. Л. 9–10. Цит. по кн.: Швейцер В. А. Мандельштам после Воронежа. С. 236–237. Частично текст письма Е. Поповой цитируется по архивной записи. Знаки препинания в приводимом в письме стихотворении Мандельштама расставлены публикатором, В.А. Швейцер.

319

Имеется в виду дом № 3–5 по ул. Фурманова – см. «Список адресов».

320

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 158. Л. 9–10.

321

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 143.

322

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 262.

323

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 428.

324

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1, Ед. хр. 58.

325

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1, Ед. хр. 58.

326

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 348–349.

327

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 166. Цит. по кн.: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа. С. 252.

328

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 166. Цит. по кн.: Швейцер В.А. Мандельштам после Воронежа. С. 252.

329

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 158–159, 200–201.

330

Близится двадцатилетие Октябрьской революции.

331

Намек на повесть Мандельштама «Египетская марка».

332

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 154–155.

333

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 154–155.

334

Липкин С.И. Указ. соч. С. 398.

335

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме // Наше наследие. 1989. Вып. V. С. 108.

336

Намек на евангельский эпизод с отречением апостола Петра.

337

Филолог Д. Благой и веревка повесившегося Есенина.

338

Мец А.Г., Лоэст Ф., Добрицын А.А., Нерлер П.М., Степанова Л.Г., Левинтон Г.А. Комментарии // Мандельштам О.Э. Полн. собр. соч. и писем в 3 т. Т. 2. С. 697.

339

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 103.

340

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка... С. 166.

341

Лекманов О.А. Указ. соч. С. 275.

342

Художественная выставка XV лет РККА. Специальный выпуск Центрального органа Революционного Военного Совета СССР «Красная Звезда». М., 1933; XV лет Р.К. К.А. Художественная выставка. Русский музей. Л., 1933; Художественная выставка 15 лет РККА. Харьков, 1935.

343

[Рогачевский В.] Леонид Владимирович Шервуд. М., 1955. С. 23.

344

Фрейдин Ю.Л. Долгое эхо: поэтическое пространство Урала и воронежские стихи О. Мандельштама // Осип Мандельштам и Урал. М., 2009. С. 87.

345

Имеется в виду воронежское стихотворение «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...».

346

Гаспаров М.Л. О.Мандельштам: гражданская лирика 1937 года. М., 1996. С. 17–18.

347

Октябрьской революции.

348

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 425.

349

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 114.

350

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 611. Л. 58.

351

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 612. Л. 2.

352

Лурье А.С. Чешуя в неводе // Осип Мандельштам и его время. С. 196.

353

Аверинцев С.С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Аверинцев и Мандельштам. Статьи и материалы... С. 70.

354

Лахути Д.Г. Образ Сталина в стихах и прозе Мандельштама. Попытка внимательного чтения (с картинками). М., 2008. С. 131–132.

355

Тютчев Ф.И. Указ. соч. С. 166.

356

Тименчик Р.Д. Текст в тексте у акмеистов // Труды по знаковым системам. XIV. Тарту, 1981; Тименчик Р.Д. Руки брадобрея, или Шесть подтекстов в поисках утра-

ченного смысла // Новое литературное обозрение. 2004. № 67.

357

Киршбаум Г. Указ. соч. С. 319.

358

Там же.

359

Мандельштам.

360

Так Б. Кузин именуется мандельштамовского соседа.

361

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка... С. 170–171.

362

Надежда Яковлевна Мандельштам.

363

Палинодия – стихотворение, в котором автор отрекается от сказанного в другом стихотворении.

364

Гаспаров М.Л. Метрическое соседство «Оды» Сталину // Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. Tenaflы, 1994. С. 106–107.

365

Следователя.

366

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама.  
С. 47.

367

Лахути Д.Г. Указ. соч. С. 22–39.

368

Левинтон Г.А. Мандельштам и Гумилев. Предварительные заметки // Столетие Мандельштама. С. 40.

369

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 812.

370

Мец А.Г. Комментарии. С. 663.

371

Как не вспомнить вождя и «бугры голов» из «Оды»? – Л.В.

372

Шелли П.Б. К жаворонку // Странники мира: произведения П.Б. Шелли в переводах К. Бальмонта. М., 2006.  
С. 47.

373

Ахматова А.А. Поэма без героя. М., 1989. С. 57.

374

Рогинский Я.Я. Указ. соч. С. 43.

375

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 137.

376

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 122.

377

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 425. Л. 20.

378

То есть к 12 декабря 1937 года.

379

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 133.

380

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 476. Л. 25.

381

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 134.

382

Штемпель Н.Е. Указ. соч. С. 20–21.

383

Ахматова А.А. Requiem. С. 143–144.

384

Там же. С. 144–145.

385

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 108.

386

Либединская Л.Б. Зеленая лампа. М., 1966. С. 104.

387

Бруни Л.А. Натан Альтман // Новый журнал для всех. 1915. № 4. С. 37.

388

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 111.

389

Литературовед Б.М. Эйхенбаум произнес вступительное слово на вечере Мандельштама.

390

Мандельштаму показалось, что в своем вступительном слове Эйхенбаум оценил значение Маяковского в современной русской поэзии недостаточно высоко.

391

Розенталь Л.В. Бородатый Мандельштам // «Сохрани мою речь...». Вып. 1. С. 36–38.

392

Соколова Н.В. Кое-что вокруг Мандельштама // «Сохрани мою речь...» Вып. 3. Ч. 2. С. 89–92.

393

Цит. по ст.: Лямкина Е.И. Вдохновение, мастерство, труд (записные книжки Анны Ахматовой) // Встречи с прошлым. М., 1978. Вып. 3. С. 414.

394

Некрасова В.Б. О семье Бруни // «Сохрани мою речь...». Вып. 3. Ч. 2. С. 195.

395

Устные воспоминания Н.К. Бруни // Архив фондоментов МГУ. Кассета № 84. Запись от 3.4.1969. Запись

опубликована в книге: Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 68–74.

396

Либединская Л.Б. Указ. соч. С. 101.

397

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 380.

398

Рейн Т.М. Годы учения. Воспоминания // Панорама искусств. М., 1988. Вып. 11. С. 159.

399

Либединская Л.Б. Указ. соч. С. 101.

400

Некрасова В.Б. Указ. соч. С. 200.

401

Цит. по кн.: Некрасова В.Б. Указ. соч. С. 199.

402

Либединская Л.Б. Указ. соч. С. 102.

403

Архив В.Н. Яхонтова и Е.Е. Поповой // РГАЛИ. Ф. 2440. Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 43.

404

Лурье А.С. Осип Мандельштам // Осип Мандельштам и его время. С. 198.

405

Мандельштам, по свидетельству Н.Е. Штемпель, восхищался иллюстрациями Делакура к «Фаусту» Гете.

406

Горнунг Л.В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме. С. 32.

407

Вероятно, в комнате флигеля на Тверском бульваре, где стихи и написаны.

408

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 287.

409

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 262.

410

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 498.

411

1937 года.

412

Штемпель Н.Е. Указ. соч. С. 18.

413

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 107.

414

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 154.

415

Герштейн Э.Г. О гражданской поэзии Мандельштама // Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Воспоминания. Материалы к биографии... С. 348.

416

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 155.

417

Там же. С. 156.

418

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 262.

419

Там же. С. 380.

420

Романюк С.К. Из истории московских переулков. М., 1988. С. 203.

421

Петровых Е.С. Мои воспоминания // Моя родина – Норский посад. Ярославль, 2005. С. 60–66, 114–115.

422

Красильников Г.В., Рутман А.М. Комментарии // Петровых Е.С. Указ. соч. С. 350.

423

Ахматова А.А. Requiem. С. 128.

424

Ссылки на устные воспоминания Е.С. Петровых содержатся в изданиях: Видгоф Л.М. О.Э. Мандельштам в Москве: новые материалы // «Отдай меня, Воронеж...». Третьи Международные Мандельштамовские чтения. Воронеж, 1995; Видгоф Л.М. «...В переулке Гранатном...»: Осип Мандельштам и Мария Петровых // Грани. 1996.

№ 182; Видгоф Л.М. Москва Мандельштама. Полностью воспоминания Е.С. Петровых («Мои воспоминания») напечатаны в книге: Моя родина – Норский посад. Ярославль, 2005; фрагмент воспоминаний, относящийся к О. Мандельштаму, вошел в сборник: Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. М., 2002.

425

Петровых Е.С. Указ. соч. С. 145–146.

426

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 116.

427

Это неточность, глаза у Марии Сергеевны были карие (по свидетельству ее сестры Екатерины Сергеевны и дочери поэтессы, А.В. Головачевой).

428

Хелемский Я.А. Ветви одного ствола // Петровых М. С. Черта горизонта. Стихи и переводы. Воспоминания о Марии Петровых. Ереван, 1986. С. 227.

429

Нейман Ю.М. Маруся // Там же. С. 286–287.

430

Озеров Л.А. Чистый голос // Там же. С. 316.

431

Нейман Ю.М. Указ. соч. С. 291.

432

М.С. Петровых занималась переводами.

433

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 116.

434

Élevé – «возвышенный» (*фр.*)

435

Так было в цитируемом тексте.

436

Петровых Е.С. Указ. соч. С. 150–151.

437

Там же. С. 150.

438

Из дневника М. Петровых 1967 г. // Петровых М.С. Избранное. М., 1991. С. 350.

439

Безродный М.В. Конец Цитаты. СПб., 1996. С. 129–135.

440

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 793.

441

На этот байроновский подтекст обратил внимание и Л.Ф. Кацис в книге «Смена парадигм и смена Парадигмы: очерки русской литературы, искусства и науки XX века» (М., 2012).

442

Байрон Дж. Г. Дон Жуан / Пер. Г.А. Шенгели. М., 1947. С. 205, 219.

443

Пушкин А.С. Избр. соч. в 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 278.

444

Маяковский В.В. Облако в штанах // Собр. соч. в 12 т. Т. 1. М., 1978. С. 246.

445

Черашняя Д.И. Поэтика Осипа Мандельштама. С. 231–232.

446

Кузмин М.А. Стихотворения. Переписка. М., 2006. С. 33.

447

Гильдебрандт-Арбенина О.Н. Девочка, катящая серсо... Мемуарные записи. Дневники. М., 2007. С. 159.

448

Мец А.Г., Тименчик Р.Д. Комментарии // Там же. С. 283.

449

Гильдебрандт-Арбенина О.Н. Указ. соч. С. 163.

450

Фрейдин Ю.Л. Михаил Кузмин и Осип Мандельштам: влияние и отклики // Михаил Кузмин и русская культура XX века. Тезисы и материалы конференции 15–17 мая 1990 г. Л., 1990. С. 28–30.

451

Галушкин А.Ю. Указ. соч. С. 175.

452

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 116–117.

453

Лекманов О.А. Указ. соч. С. 255.

454

Гильдебрандт-Арбенина О.Н. Указ. соч. С. 162.

455

Левин Ю.И. Разбор шести стихотворений // Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 38.

456

Лекманов О.А. Указ. соч. С. 160–162, С. 255.

457

Левин Ю.И. Указ. соч. С. 39.

458

Ронен О. Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама // Поэтика Осипа Мандельштама. С. 18.

459

Нейман Ю.М. Указ. соч. С. 291.

460

Левин Ю.И. Указ. соч. С. 44.

461

Кузмин М.А. Плавающие путешественники. Романы, повести, рассказ. М., 2000. С. 345.

462

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 128.

463

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. С. 337–338.

464

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 30.

465

Там же. С. 45.

466

Там же. С. 31.

467

Петровых Е.С. Указ. соч. С. 152–153.

468

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 31.

469

Герштейн Э.Г. Мемуары. СПб., 1998. С. 433.

470

Петровых М.С. Черта горизонта. Стихи и переводы... С. 100.

471

Липкин С.И. Указ. соч. С. 393.

472

Петровых М.С. Прикосновение ветра. М., 2000. С. 166.

473

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 142.

474

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 72.

475

Тарковский А.А. Земле – земное. М., 1966. С. 15–17.

476

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 142.

477

Гинзбург Л.Я. Из старых записей. С. 275–276.

478

Гладков А.К. Указ. соч. С. 324.

479

Мягков Б.С. Булгаковская Москва. М., 1993. С. 197.

480

Маркиш Э. Столь долгое возвращение... Тель-Авив, 1989. Цит. по: [http://www.belousenko.com/books/markish/markish\\_dolgoe\\_vozvr.htm#09](http://www.belousenko.com/books/markish/markish_dolgoe_vozvr.htm#09)

481

М.А. – Михаил Афанасьевич Булгаков, Сережка – сын Елены Сергеевны, приемный сын Булгакова.

482

Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С. 38, 41–44, 47, 52.

483

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 160.

484

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 422.

485

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 113.

486

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 136.

487

М.В. Талов с женой.

488

Талов М.В. Воспоминания. Стихи. Переводы / Сост. и комментарии М.А. Таловой, Т.М. Таловой, А.Д. Чулковой; предисл. Рене Герра. М.; Париж, 2006. С. 71.

489

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 113.

490

Там же. С. 113.

491

Государственное издательство художественной литературы.

492

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 134–160.

493

Там же. С. 268.

494

Там же. С. 337.

495

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 422.

496

Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии. Т. 1. 1925 – июнь 1941 г. М., 2010. С. 255.

497

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 113–115.

498

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 152–153.

499

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 113.

500

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка... С. 167.

501

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 113.

502

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка... С. 170.

503

Там же. С. 168.

504

Нарбут В.И. Стихотворения. М., 1990. С. 322–323, 353–355.

505

Бялосинская Н.С., Панченко Н.В. Примечания // Нарбут В.И. Указ. соч. С. 433.

506

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 315. (В примечании к этому эпизоду из мемуаров Н. Мандельштам А.А. Морозов высказывает предположение, что упомянутое собрание происходило в декабре 1932 года. – Там же. С. 682.)

507

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 136.

508

Шумихин С.В. Судьба архива О.Э. Мандельштама // Вопросы литературы. 1988. № 3. С. 277.

509

Сергей Клычков: переписка, сочинения, материалы к биографии // Новый мир. 1989. № 9. С. 215.

510

Гонта М.П. Из воспоминаний о Пастернаке // Громова Н.А. Узел. Поэты: дружбы и разрывы. М., 2006. С. 538.

511

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 136.

512

Там же. С. 132.

513

Липкин С.И. Указ. соч. С. 392.

514

«Мы живем, под собою не чуя страны...» было впервые опубликовано в Мюнхене: «Мосты», книга 10, 1963.

515

Мец А.Г. Осип Мандельштам и его время. Анализ текстов. С. 186–187.

516

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 31.

517

Пушкин А.С. Избр. соч. Т. 2. С. 85–86.

518

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 39–40.

519

Тоддес Е.А. Антисталинское стихотворение Мандельштама (к 60-летию текста) // Тыняновский сборник. Пятые Тыняновские чтения. Рига, 1994. С. 208.

520

В «сатире» на Сталина.

521

Ронен О. О «русском голосе» Осипа Мандельштама / Поэтика Осипа Мандельштама. С. 63.

522

Толстой А.К. Полн. собр. стихотворений в 2 т. Л., 1984. Т. 1. Стихотворения и поэмы. С. 173–174.

523

Илья Муромец и Идолище в Киеве; Алеша и Тугарин в Киеве // Пламенное слово. Проза и поэзия Древней Руси. М., 1978. С. 24–26; 38–39.

524

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 791.

525

Неточная цитата из стихотворения Пушкина; в оригинале: «На холмах Грузии лежит ночная мгла...».

526

У Лермонтова в стихотворении «Спор»: «Пену сладких вин / На узорные шальвары / Сонный льет грузин».

527

Сурат И.З. Превращения имени // Мандельштам и Пушкин. М., 2009. С. 116.

528

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 153.

529

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка... С. 176–177.

530

А.П. Квятковский – литературовед, стиховед.

531

Мандельштамовские материалы в архиве М. Талова / Публикация М. Таловой при участии А. Чулковой; предисл. и коммент. Л. Видгофа // Вопросы литературы. 2007. № 6 (ноябрь-декабрь). С. 336–337.

532

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 136.

533

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 176–177.

534

Гинзбург Л.Я. Записные книжки. С. 138.

535

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 137.

536

Ронен О. Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама. С. 40–42; Гаспаров М.Л. Примечания. С. 790; Кушнер А.С. Мандельштам и Ходасевич // Столетие Мандельштама. Материалы симпозиума. С. 44–55.

537

Видгоф Л.М. О «долгополой» шинели и «садовнике и палаче» в стихотворении О. Мандельштама «Стансы» // Вопросы литературы. 2010. № 2 (март-апрель). С. 194–197.

538

Некрасов Н.А. Полн. собр. стихотворений: в 3 т. Л., 1967. Т. 2. С. 177; Т. 1. Л., 1967. С. 508.

539

Успенский Ф.Б. Молоток Некрасова и карандаш Фета. О гражданских стихах О.Э. Мандельштама 1933 года / / Цит. по электронному журналу Toronto Slavic Quarterly. № 28. Spring 2009.

540

Чуковский К.И. Дневник 1901–1969: в 2 т. М., 2003.  
Т. 2. С. 118.

541

Некрасов Н.А. Полн. собр. стихотворений. Т. 2. С.  
18–20.

542

Там же. Т. 1. С. 99–101.

543

Имеются в виду «У нашей святой молодежи...» и  
«Татары, узбеки и ненцы...».

544

Мандельштам Н.Я. Комментарий к стихам  
1930–1937 гг. С. 313.

545

Тургенев И.С. Письмо Я.П. Полонскому от 13(25) ян-  
варя 1868 г. // Полн. собр. соч. и писем в 28 т. Письма в  
13 т. Л., 1964. Т. VII. 1867–1869. С. 30.

546

В четырехтомнике Мандельштама 1993–1997 гг. (т.  
3): «чинить».

547

Успенский Ф.Б. Молоток Некрасова: «Квартира» О.  
Мандельштама между стихами о стихах и гражданской  
поэзией 1933 года // Дар и крест: памяти Натальи Трау-  
берг. СПб., 2010. С. 325.

548

Вайман Н., Рувин М. Шатры страха. Разговоры о  
Мандельштаме. М., 2011. С. 95.

549

Михайлов А.Д., Нерлер П.М. Комментарии С. 535.

550

Мандельштам О.Э. Собр. соч. в 4 т. Т. 3. М., 1994. С.  
404.

551

Там же. С. 82–83.

552

Спивак М.Л. О.Э. Мандельштам и П.Н. Зайцев (К во-  
просу об истории, текстологии и прочтении стихотворно-  
го цикла памяти Андрея Белого) // «Сохрани мою речь-  
...». Вып. 4. Полутом 2. С. 528–529.

553

Там же. С. 540.

554

Цит. по кн.: Русская поэзия XIX века. Т. 2. М., 1974.  
С. 571.

555

Блок А.А. Стихотворения и поэмы. М., 1958. С. 269.

556

Андрей Белый. Золото в лазури. Репринтное вос-  
произведение издания 1904 г. М., 2004. С. 5, 20, 236.

557

Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии. Т. 1. 1925 – июнь 1941 г. М., 2010. С. 255.

558

Спивак М.Л. Указ. соч. С. 524.

559

Так у П.Н. Зайцева.

560

Г.А. Гуковский.

561

Цит. по ст.: там же. С. 517–518.

562

В четырехтомнике Мандельштама 1993–1997 (т. 3): «человечеству».

563

Там же. С. 530–532.

564

Видгоф Л.М. О стихотворении Осипа Мандельштама «Скажи мне, чертежник пустыни...» // Статьи о Мандельштаме. М., 2010.

565

Пушкин А.С. Езерский // Полн. собр. соч. в 10 т. Изд. 4-е. Л., 1977. Т. 4. С. 250.

566

Тарановский К.Ф. Черно-желтый свет. Еврейская тема в поэзии Мандельштама // О поэзии и поэтике. С. 96.

567

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 255.

568

«Долина, что жалобами моими полна...» *Петрарка.*

569

«Тот соловей, что так нежно оплакивает...» *Петрарка.*

570

«Когда небо, и земля, и ветер умолкают...» *Петрарка.*

571

«Дни мои легче любого оленя...» *Петрарка.*

572

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 789.

573

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 136.

574

Стихотворение «За гремучую доблесть грядущих веков...».

575

Там же. С. 137.

576

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 22, 27.

577

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 118.

578

Серое конструктивистское здание «Известий» на бывшей Страстной (с 1931 года Пушкинской) площади.

579

Гыдов В.Н., Нерлер П.М. Последние годы Осипа Мандельштама. Хроника. 1934 // Филологические записки. Воронеж, 1994. Вып. 2. С. 95–96.

580

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 45.

581

Там же.

582

Первоначально предполагалось, что задержание могло быть связано с пощечиной, которую незадолго до этого Мандельштам дал в Ленинграде А. Толстому.

583

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 118.

584

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 95.

585

Знающих стихотворение было, несомненно, больше.

586

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 118–119.

587

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама.  
С. 48.

588

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 29–30.

589

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 139.

590

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама.  
С. 40.

591

Гыдов В.Н. Указ. соч. С. 99.

592

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама.  
С. 39.

593

Максименков Л.В. Очерки номенклатурной истории советской литературы (1932–1946). Сталин, Бухарин, Жданов, Щербаков и другие // Вопросы литературы. 2003. № 4. С. 250.

594

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама.  
С. 63.

595

Флейшман Л. Указ. соч. С. 241–242.

596

По его словам, во время допросов Мандельштаму направляли в глаза яркий свет лампы, от которого, воз-

можно, воспалились веки. Он говорил также Надежде Яковлевне, что ему в глаза впускали какую-то едкую жидкость.

597

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 120.

598

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 137.

599

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 247.

600

Гаспаров М.Л. Примечания. С. 795.

601

Тоддес Е.А. Антисталинское стихотворение Мандельштама. С. 203–204.

602

«Коммуна». Воронеж. 1934. № 158 от 8 июля.

603

Лахути Д.Г. Указ. соч. С. 123–124.

604

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 122–123.

605

Сергей Клычков: переписка, сочинения, материалы к биографии. С. 216.

606

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 80. В книге воспроизведена фотокопия просьбы В.

Ставского к Н. Мандельштам о сдаче Н. Костареву комнаты в квартире Мандельштамов на оговоренный срок.

607

Ахматова А.А. Листки из дневника. С. 143–144.

608

Там же. С. 144.

609

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 360.

610

После возвращения из Воронежа.

611

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 122.

612

В. Шкловского и его жену.

613

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 409–411.

614

Штемпель Н.Е. Указ. соч. С. 18.

615

Е.Я. Хазина, брата Надежды Яковлевны.

616

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 414.

617

Н.Я. Мандельштам должна была уехать из Москвы в Ташкент, где в то время преподавала в университете.

618

Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 157–158.

619

Богатырева С.И. Завещание // Вопросы литературы. 1992. № 2.

620

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 98–99.

621

Там же. С. 97–98.

622

Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 150.

623

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама. С. 102.

624

Там же. С. 105.

625

Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь; точнее, пересыльный лагерь УСВИТЛ – Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей.

626

Видимо, ошибка в дате.

627

Соколов Б.В. Булгаковская энциклопедия. М., 1997. С. 17.

628

Нерлер П.М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама.  
С. 149.

629

Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 422.

630

Ходасевич В.Ф. Кровавая пицца // Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991. С. 466.

631

Е.Я. Хазин.

632

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка... С. 550, 555, 564.

633

Курсив в цитируемом тексте.

634

Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 73.

635

Герштейн Э.Г. Новое о Мандельштаме. С. 124.

636

Поливанов М.К. Предисловие к публикации отрывка из воспоминаний Н.Я. Мандельштам // Юность. 1988. № 8. С. 35.

637

Мандельштам Н.Я. Третья книга. С. 475.

638

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 123–124.

639

Нерлер П.М. Даты жизни и творчества. С. 438.

640

Эфрос Н.Д. Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 135.

641

Там же. С. 136; Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 128.

642

Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь // Собр. соч. в 9 т. М., 1988. Т. 8. Кн. 1. С. 119.

643

Вольпин Н.Д. Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. С. 90.

644

Никулин Л.В. Годы нашей жизни // Лариса Рейснер в воспоминаниях современников. М., 1969.

645

Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 131.

646

Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. С. 329.

647

Фейнберг И.Л. О Мандельштаме // Вопросы литературы. 1991. № 1.

648

Мандельштам Е.Э. Воспоминания. С. 154.

649

Парнис А.Е. Штрихи к футуристическому портрету О. Э. Мандельштама // Слово и судьба. Осип Мандельштам. М., 1991. С. 192.

650

Галушкин А.Ю. Указ. соч. С. 174.

651

Катаев В.П. Алмазный мой венец. Повести. М., 1994. С. 232–233.

652

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 468; Андреевский Г.В. Москва. 20-е – 30-е годы. С. 222.

653

«Мы оказались в невероятном одиночестве». Письмо З.Н. Райх А.М. Горькому 20 июня 1928 года / Публикация, вступительный текст и примечания В.В. Гудковой / / Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Вып. 3. М., 2004. С. 209.

654

Зайцев П.Н. Первая московская литературная газета «Московский понедельник» // Минувшее. Т. 13. М.; СПб., 1993. С. 59–60, 66.

655

Миндлин Э.Л. Указ. соч. 1979. С. 106.

656

Там же. С. 247–248.

657

Там же. С. 216–218.

658

Мандельштам Н.Я. Вторая книга. С. 40.

659

Там же. С. 100.

660

Там же. С. 128.

661

Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка... СПб, 1999. С. 747.

662

Материалы к биографии О.Э. Мандельштама в архиве Б.В. Горнунга // «Сохрани мою речь...». Вып. 3. Ч. 2. С. 155.

663

Там же. С. 157.

664

Горнунг Л.В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме; Материалы к биографии О.Э. Мандельштама в архиве Б.В. Горнунга; Горнунг Б.В. Поход времени. В 2 т. Статьи и эссе, стихи и переводы. М., 2001. Т. 2.

665

Материалы к биографии О.Э. Мандельштама в архиве Б.В. Горнунга. С. 159.

666

Там же. С. 158.

667

Фейнберг И.Л. Указ. соч. С. 71.

668

Герштейн Э.Г. Перечень обид // Мемуары. СПб., 1998. С. 396.

669

Штемпель Н.Е. Указ. соч. С. 15.

670

Фотография дарственной надписи воспроизведена в книге: Талов М.В. Воспоминания. Стихи. Переводы.

671

Мандельштамовские материалы в архиве М. Талова. С. 332.

672

Горнунг Л.В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме.

673

Герштейн Э.Г. Мемуары. С. 14.

674

Мандельштам О.Э. Собр. соч. Т. 3. С. 442.

675

Смирнов Н.П. Первые годы «Нового мира» // Новый мир. 1964. № 7. С. 191.

676

Фейнберг И.Л. С. 71.

677

Поступальский И.С. Встречи с Мандельштамом // Тыняновский сборник. М., 1998. Вып. 10. Шестые – Седьмые – Восьмые Тыняновские чтения.

678

Румянцева В.Н. «От сырой простыни...». Осип Мандельштам и кино // «Отдай меня, Воронеж...»: сб. материалов Третьих международных мандельштамовских чтений. Воронеж, 1995.

679

Горнунг Л.В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме.

680

См. также: Шумихин С.В. Рудин из Брюсовского института (письма Г.А. Шенгели М.М. Шкапской. 1923–1932) // Минувшее. Т. 15. М.; СПб., 1994.

681

Липкин С.И. Указ. соч. С. 353.

682

Поступальский И.С. Указ. соч. С. 564: примеч. А.Г. Меца.

683

Бялосинская Н.С. Косой дождь [вступ. статья] / Н.С. Бялосинская, Н.В. Панченко // Нарбут В.И. С. 40–41.

684

См.: Пирожкова А.Н. Бабель в 1932–1939 годах (Из воспоминаний) // И. Бабель. Воспоминания современников. М., 1972.

685

Нерлер П.М. «С гурьбой и гуртом...». Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама // Записки Мандельштамовского общества. Т. 5. М., 1994. С. 67.

686

Штемпель Н.Е. Указ. соч. С. 17.

687

«Ясная Наташа». Осип Мандельштам и Наталья Штемпель. М.; Воронеж, 2008. С. 119.